100 великих романов

Джонатан СВИФТ

ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА



Путешествия Гулливера
Джонатан Свифт

Аннотация
Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера
Философская сказка Свифта
Письмо. капитана Гулливера к своему родственнику Ричарду Симпсону
Часть первая. Путешествие в Лилипутию
  Глава I
  Глава II
  Глава III
  Глава IV
  Глава V
  Глава VI
  Глава VII
  Глава VIII
Часть вторая. Путешествие в Бробдингнег
  Глава I
  Глава II
  Глава III
  Глава IV
  Глава V
  Глава VI
  Глава VII

Глава VIII
Часть третья. Путешествие в Лапуту, Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб и Японию
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X
Глава XI
Часть четвертая. Путешествие в страну Гуигнгнмов
Глава I
Глава II
Глава III
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава IX
Глава X

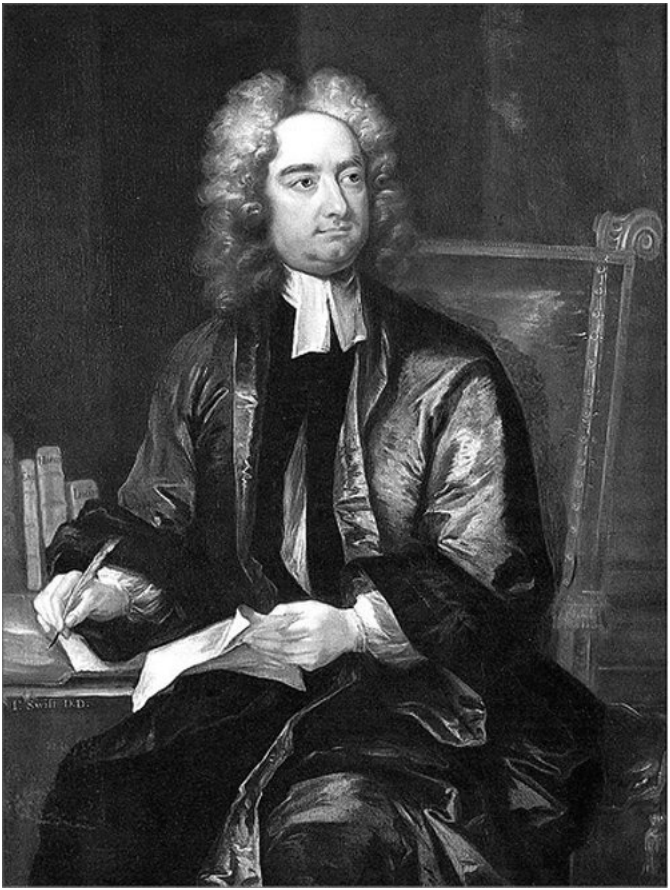
Глава XI
Глава XII

Аннотация

Роман Джонатана Свифта (1667—1745) о путешествиях корабельного врача в страны маленьких человечков и великанов, умных говорящих лошадей и первобытных еху стал одним из самых читаемых в мире. С детства мы помним потрепанные книжки с черно-белыми иллюстрациями из старых английских и французских изданий, вместе с которыми и отправлялись в придуманные автором далекие страны.

Джонатан Свифт
Путешествие Гулливера

Философская сказка Свифта


D. Swift D.D.

Английская литература покоится на спинах трех «китов» — Шекспира, Дефо и Свифта. Два последних, создатели бессмертных книг о Робинзоне и Гулливере, стали родоначальниками и учредителями богатейшей английской романистики.

Предпринятые ими литературные путешествия предельно разновекторны: одно центростремительное — внутрь, на необитаемый остров, другое центробежное — наружу, вокруг света. В обеих знаменитых книгах говорится о природе человека, а точнее — мужчины. Причем герой в них изначально один и тот же — гонимый беспредельным мальчишеским любопытством странник-авантюрист. От первобытных охотников он унаследовал лишь голый инстинкт, немотивированность и иррациональность которого смущает самих Робинзона с Гулливером, первых в мировой литературе исследователей и естествоиспытателей Нового времени. Их «добыча» и трофеи — это познание на практике определяющих свойств окружающего мира и своих собственных, в разыгравшемся воображении создавших их авторов. Книги Дефо и Свифта очень живописны и умны, но чересчур рассудочны и похожи на лабораторный опыт. В них

нет полноты исследования природы человека и всего спектра его страстей, как у Шекспира. Этот Богом созданный «левиафан» среди «китов» не лезет ни в какие ворота, ну так и оставим его за рамками предисловия с чистой совестью, тем более что живший столетием ранее Шекспир романов не писал.

Джонатан Свифт (1667–1745) соперничал с Даниэлем Дефо и шел с ним почти ноздря в ноздрю. Его Гулливер, появившийся через несколько лет после Робинзона, был альтернативой ему — ответом и вызовом Свифта Дефо. Самодостаточному хозяйственному микрокосму Робинзона Свифт противопоставил несравненно более драматичный и разомкнутый универсум Гулливера. Его герой не деятельный, предусмотрительный и бережливый индивидуум-предприниматель, а смятенный скиталец, стремящийся определить свои место и масштаб в мироздании. Писатель словно раз за разом переворачивает подзорную трубу, и Гулливер предстает то великаном, то лилипутом (словечко это изобрел автор, обожавший всякие словесные игры, имеющие в английском языке огромную традицию — до и после Свифта), то единственным здравомыслящим среди сбрендивших ученых, то растерянным ходячим

недоразумением в зазоре между грязными еху и мудрыми гуингнмами.

Свифт был священником-интеллектуалом, деканом самого крупного в Ирландии дублинского собора англиканской церкви, и реабилитация прав человеческого тела в результате антиклерикальной революции стала для него незаживающей раной (хочешь смейся, хочешь плачь, но сама инфантильная мысль, что любимая им женщина — его воспитанница и адресат писем «Дневника для Стеллы», — тоже ходит на горшок, представлялась ему сокрушительной и совершенно неприемлемой; хорошо же, что он не дожил до теории Дарвина!) Притом что в области общественно-культурно-политической Свифт был абсолютно гениальным сатириком и прозорливым мыслителем.

Чего стоит только карикатурная история вражды остроконечников с тупоконечниками или же описание лапутянской Академии прожектёров, пестовавшей «революционные» идеи добывать солнечный свет из неизвестного тогдашней науке хлорофилла огурцов или общаться с помощью предметов, а не слов («означаемых», а не «означающих» на языке лингвистики XX века), отчего в стране ученых воцаряется разруха (тогда как

индивидуальное хозяйство «куркуля» Робинзона растет и процветает).

И какое воображение было у этого человека! Обследование лилипутами содержимого карманов Человека-Горы, его раблезианские обеды и примененный им бойскаутский способ тушения пожара во дворце; похищение флота Блефуску в очках, защитивших глаза Гулливера от вражеских стрел; его фехтовальный поединок с великанскими осами и злые проказы гигантского придворного карлика; слуги-«хлопальщики» лапутян и бессмертные струльдбруги. Великолепная экспозиция картинок и игрушек для детей и пиршество остроумия для взрослых. Для последних еще рефлексия над механизмом чуда и алчностью борющихся за обладание им корыстолюбцев и политиканов всех мастей.

Как у Гулливера развились в итоге аберрация восприятия и потеря ориентации в мире, так у самого Свифта — мизантропия, профессиональное заболевание сатириков, и антропологический релятивизм. Его сомнения и критицизм были подхвачены и проросли в творчестве Г. Уэллса, П. Буля и других фантастов. В аналогичном направлении двинулась наука — теоретическая и прикладная, пожелавшая понять, объяснить и

изменить человека: генетики, этологи, кибернетики, современные биоинженеры, пластические хирурги (ум возмущен, сердце трепещет, глаза боятся, руки делают).

В Античности философ Протагор объявил человека «мерой всех вещей», когда боги Олимпа уже отыграли свою роль, а Бог Отец еще не послал на заклание людям Бога Сына. После этого столько всего произошло и многажды переменилось, что писатель-священник Свифт задумался об этой самой «мере» всего на свете и был немало озадачен. В итоге получилось так, что его «Путешествия Гулливера» стали одной из основополагающих, базовых и «детских», в некотором смысле, книг не только для британских читателей, но для всей европейской цивилизации, и очень может быть, что не только для европейской.

Вот и сегодня кто-то «робинзонствует», а кто-то «гулливерствует» (по выражению писателя Битова), еще кто-то в космос летает, а кто-то на печи лежит с книжкой, — так и живем. А Свифт что — сошел с ума в конце жизни (если не был хорошо замаскировавшимся сумасшедшим изначально). Очень непросто быть великаном и лилипутом одновременно, да еще при этом чувствовать себя то еху, то гуингнмом.

Игорь Клех

Письмо капитана Гулливера к своему родственнику Ричарду Симпсону

Вы не откажетесь, надеюсь, признать публично, когда бы вам это ни предложили, что своими настойчивыми и частыми просьбами вы убедили меня опубликовать очень небрежный и неточный рассказ о моих путешествиях, посоветовав нанять нескольких молодых людей из которого-нибудь университета для приведения моей рукописи в порядок и исправления слога, как поступил, по моему совету, мой родственник Дампир со своей книгой Путешествие вокруг света. Но я не помню, чтобы предоставил вам право соглашаться на какие-либо пропуски и тем менее на какие-либо вставки. Поэтому, что касается последних, то настоящим заявлением я отказываюсь от них совершенно; особенно от вставки, касающейся блаженной и славной памяти ее величества покойной королевы Анны, хотя я уважал и ценил ее больше, чем всякого другого представителя человеческой породы. Ведь вы, или тот, кто это сделал, должны были

принять во внимание, что мне несвойственно, да и было неприлично, хвалить какое-либо животное нашей породы перед моим хозяином гуигнгнмом. Кроме того, самый факт совершенно неверен; насколько мне известно (в царствование ее величества я жил некоторое время в Англии), она управляла при посредстве первого министра, даже двух последовательно: сначала первым министром был лорд Годольфин, а затем лорд Оксфорд. Таким образом, вы заставили меня говорить то, чего не было. Точно так же в рассказе об Академии Прожектеров и в некоторых частях моей речи к моему хозяину гуигнгнму вы либо опустили некоторые существенные обстоятельства, либо смягчили и изменили их таким образом, что я с трудом узнаю собственное произведение. Когда же я намекнул вам об этом в одном из своих прежних писем, то вам угодно было ответить, что вы боялись нанести оскорбление; что власть имущие весьма зорко следят за прессой и готовы не только истолковать по-своему все, что кажется им намеком (так, помнится, выразились вы), но даже подвергнуть за это наказанию. Но позвольте, каким образом то, что я говорил столько лет тому назад на расстоянии пяти тысяч миль отсюда, в другом государстве,

можно отнести к кому-либо из еху, управляющих теперь, как говорят, нашим стадом; особенно в то время, когда я совсем не думал и не опасался, что мне выпадет несчастье жить под их властью? Разве не достаточно у меня оснований сокрушаться при виде того, как эти самые еху разъезжают на гунгнгнмах, как если бы они были разумными существами, а гуигнгнмы — бессмысленными тварями? И в самом деле, главной причиной моего удаления сюда было желание избежать столь чудовищного и омерзительного зрелища.

Вот что почел я своим долгом сказать вам о вашем поступке и о доверии, оказанном мною вам.

Затем мне приходится пожалеть о собственной большой оплошности, выразившейся в том, что я поддался просьбам и неосновательным доводам как вашим, так и других лиц, и, вопреки собственному убеждению, согласился на издание моих *Путешествий*. Благоволите вспомнить, сколько раз просил я вас, когда вы настаивали на издании *Путешествий* в интересах общественного блага, принять во внимание, что *еху* представляют породу животных, совершенно неспособных к исправлению путем наставлений или примеров. Ведь так и вышло. Уже шесть месяцев, как книга моя служит предостережением,

а я не только не вижу, чтобы она положила конец всевозможным злоупотреблениям и порокам — по крайней мере, на нашем маленьком острове, как я имел основание ожидать, — но и не слыхал, чтобы она произвела хотя бы одно действие, соответствующее моим намерениям. Я просил вас известить меня письмом, когда прекратятся партийные распри и интриги; судьи станут просвещенными и справедливыми; стряпчие — честными, умеренными и приобретут хоть капельку здравого смысла; Смитсфильд озарится пламенем пирамид собрания законов; в корне изменится система воспитания знатной молодежи; будут изгнаны врачи; самки *ehu* украсятся добродетелью, честью, правдивостью и здравым смыслом; будут основательно вычищены и выметены дворцы и министерские приемные; вознаграждены ум, заслуги и знание; все, позорящие печатное слово в прозе или в стихах, осуждены на то, чтобы питаться только бумагой и утолять жажду чернилами. На эти и на тысячу других преобразований я твердо рассчитывал, слушая ваши уговоры; ведь они прямо вытекали из наставлений, преподанных в моей книге. И должно признать, что семь месяцев — достаточный срок, чтобы избавиться от всех пороков и

безрассудств, которым подвержены *еху*, если бы только они имели малейшее расположение к добродетели и мудрости. Однако на эти ожидания не было никакого ответа в ваших письмах; напротив, каждую неделю вы обременяли нашего разносчика писем пасквилями, ключами, размышлениями, замечаниями и вторыми частями; из них я вижу, что меня обвиняют в поношении сановников, в унижении человеческой природы (ибо у авторов хватает еще дерзости величать ее так) и в оскорблении женского пола. При этом я нахожу, что сочинители этого хлама даже не столковались между собой: одни из них не желают признавать меня автором моих *Путешествий*, другие же приписывают мне книги, к которым я совершенно непричастен.

Далее, я обращаю внимание на крайнюю небрежность вашего типографа, допустившего большую путаницу в хронологии и ошибки в датах моих путешествий и возвращений и нигде не проставившего правильно ни год, ни месяц, ни число. Между тем я слышал, что оригинал совершенно уничтожен по отпечатании книги, а копии у меня не осталось. Тем не менее я посылаю вам несколько исправлений, которыми вы можете воспользоваться, если когда-либо

понадобится второе издание книги. Впрочем, я не буду настаивать на них и отдаю вопрос на суд рассудительных и беспристрастных читателей; пусть они поступают, как им угодно.

Слышал я, что некоторые из наших *еху*-моряков находят ошибки в моем морском языке, считая его во многих случаях неправильным и в настоящее время устаревшим. Ничего не могу поделать. Во время моих первых путешествий, когда я был молод, я прошел выучку у старшего поколения моряков и усвоил их язык. Но впоследствии я убедился, что морские *еху* так же склонны выдумывать новые слова, как и сухопутные *еху,* которые чуть ли не ежегодно настолько меняют свой язык, что при каждом возвращении на родину я, помнится, находил большие перемены в прежнем диалекте и едва мог понимать его. Равным образом, когда какой-нибудь *еху* любопытства ради приезжает ко мне из Лондона, я замечаю, что мы не способны излагать друг другу наши мысли в выражениях, понятных для нас обоих.

Если бы суждения *еху* способны были сколько-нибудь задевать меня, то я имел бы достаточно оснований жаловаться на дерзость некоторых моих критиков, полагающих, что книга моя

представляет только плод моей фантазии, и даже позволяющих себе высказывать предположение, будто *гуигнгнмы* и *еху* обладают не больше реальностью, чем обитатели Утопии.

Правда, что касается *лилипутов, бробдингрежцев* (ибо следует произносить *Бробдингрег*, а не *Бробдингнег*, как ошибочно напечатано) и *лапутян*, то я должен признаться, что мне еще не приходилось встречать ни одного *еху*, как бы он ни был самоуверен, который решился бы отрицать их существование или оспаривать факты, рассказанные мной относительно этих народов, ибо истина тут настолько очевидна, что сразу же убеждает всякого читателя. Неужели же мой рассказ о *гуигнгнмах* и *еху* менее правдоподобен? Ведь что касается *еху*, то очевидно, что даже в нашем отечестве их существуют тысячи и они отличаются от своих диких братьев из *Гуигнгнмии* только тем, что обладают способностью к бессвязному лепету и не ходят голыми. Я писал с целью их исправления, а не с тем, чтобы получить их одобрение. Единодушные похвалы всей их породы значили бы для меня меньше, чем ржание тех двух выродившихся *гуигнгнмов*, которых я держу у себя на конюшне; как они ни выродились, я не нахожу в них никаких пороков и могу еще кое-

что позаимствовать у них по части добродетели.

Уж не дерзают ли эти жалкие животные думать, будто я настолько пал, что выступлю на защиту своей правдивости? Хоть я и *еху*, но во всей *Гуигнгнмии* отлично известно, что благодаря наставлениям и примеру моего досточтимого хозяина я в течение двух лет оказался способным (хоть это и стоило мне огромного труда) отделаться от адской привычки лгать, лукавить, обманывать и кривить душой — привычки, которая так глубоко коренится в самом естестве всей нашей породы, особенно у европейцев.

Я мог бы высказать еще и другие жалобы по поводу этого досадного обстоятельства, но не хочу больше докучать ни себе, ни вам. Должен откровенно признаться, что по моем возвращении из последнего путешествия некоторые пороки, свойственные моей натуре *еху*, ожили во мне благодаря совершенно неизбежному для меня общению с немногими представителями вашей породы, особенно с членами моей семьи. Иначе я бы никогда не предпринял нелепой затеи реформировать породу *еху* в нашем королевстве. Но теперь я навсегда покончил с этими химерическими планами.

2 апреля 1727 года

Часть первая. Путешествие в Лилипутию

Глава I

Автор сообщает кое-какие сведения о себе и о своем семействе.

Первые побуждения к путешествиям.

Он терпит кораблекрушение, спасается вплавь и благополучно достигает берега страны лилипутов.

Его берут в плен и увозят внутрь страны

Мой отец имел небольшое поместье в Ноттингемшире; я был третий из его пяти сыновей. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, он послал меня в колледж Эммануила в Кембридже, где я пробыл три года, прилежно отдаваясь своим занятиям; однако издержки на мое содержание (хотя я получал очень скудное довольствие) были непосильны для скромного состояния отца, и поэтому меня отдали в учение к мистеру Джемсу Бетсу, выдающемуся хирургу в Лондоне, у которого я провел четыре года. Небольшие деньги, присылаемые мне по временам отцом, я тра-

тил на изучение навигации и других отраслей математики, полезных людям, собирающимся путешествовать, так как я всегда думал, что рано или поздно мне выпадет эта доля. Покинув мистера Бетса, я возвратился к отцу и дома раздобыл у него, у дяди Джона и у других родственников сорок фунтов стерлингов и заручился обещанием, что мне будут ежегодно посылать в Лейден тридцать фунтов. В этом городе в течение двух лет и семи месяцев я изучал медицину, зная, что она мне пригодится в дальних путешествиях.

Вскоре по возвращении из Лейдена я, по рекомендации моего почтенного учителя мистера Бетса, поступил хирургом на судно *Ласточка*, ходившее под командой капитана Авраама Паннеля. У него я прослужил три с половиной года, совершив несколько путешествий в Левант и другие страны. По возвращении в Англию я решил поселиться в Лондоне, к чему поощрял меня мистер Бетс, мой учитель, который порекомендовал меня нескольким своим пациентам. Я снял часть небольшого дома на Олд-Джюри и по совету друзей женился на мисс Мери Бертон, второй дочери мистера Эдмунда Бертона, чулочного торговца на Ньюгет-стрит, за которой получил четыреста фунтов приданого.

Но так как спустя два года мой добрый учитель Бетс умер, а друзей у меня было немного, то дела мои пошатнулись: ибо совесть не позволяла мне подражать нехорошим приемам многих моих собратьев. Вот почему, посоветовавшись с женой и некоторыми знакомыми, я решил снова стать моряком. В течение шести лет я был хирургом на двух кораблях и совершил несколько путешествий в Ост- и Вест-Индию, что несколько улучшило мое материальное положение. Часы досуга я посвящал чтению лучших авторов, древних и новых, так как всегда запасался в дорогу книгами; на берегу же наблюдал нравы и обычаи туземцев и изучал их язык, что благодаря хорошей памяти давалось мне очень легко.

Последнее из этих путешествий вышло не очень удачным, и я, утомленный морскою жизнью, решил сидеть дома с женой и детьми. Я перебрался с Олд-Джюри на Феттер-Лейн, а оттуда в Уоппин, надеясь иметь практику между моряками, но эта надежда не оправдалась. Прождав три года улучшения моего положения, я принял выгодное предложение капитана Вильяма Причарда, владельца судна *Антилопа*, отправиться с ним в Южное море. 4 мая 1699 года мы снялись с якоря в Бристоле, и наше путешествие было

сначала очень удачно.

По некоторым причинам было бы неуместно утруждать читателя подробным описанием наших приключений в этих морях; довольно будет сказать, что при переходе в Ост-Индию мы были отнесены страшной бурей к северо-западу от Вандименовой Земли. Согласно наблюдениям, мы находились на 30°2′ южной широты. Двенадцать человек нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи; остальные были крайне обессилены. 5 ноября (начало лета в этих местах) стоял густой туман, так что матросы только на расстоянии полукабельтова от корабля заметили скалу; но ветер был такой сильный, что нас понесло прямо на нее, и корабль мгновенно разбился. Шестерым из экипажа, в том числе и мне, удалось спустить лодку и отойти от корабля и скалы. По моим расчетам, мы шли на веслах около трех лиг, пока совсем не выбились из сил, так как были переутомлены уже на корабле. Поэтому мы отдались на волю волн, и через полчаса лодка была опрокинута внезапно налетевшим с севера порывом ветра. Что сталось с моими товарищами по лодке, а равно и с теми, которые нашли убежище на скале или остались на корабле, не могу сказать; думаю, что все они погибли.

Что касается меня самого, то я поплыл куда глаза глядят, подгоняемый ветром и приливом. Я часто опускал ноги, но не мог нащупать дно; когда я совсем уже выбился из сил и неспособен был больше бороться с волнами, я почувствовал под ногами землю, а буря тем временем значительно утихла. Дно в этом месте было так покато, что мне пришлось пройти около мили, прежде чем я добрался до берега; по моим предположениям, это случилось около восьми часов вечера. Я прошел еще с полмили, но не мог открыть никаких признаков жилья и населения; или, по крайней мере, я был слишком слаб, чтобы различить что-нибудь. Я чувствовал крайнюю усталость; от усталости, жары, а также от выпитой еще на корабле полупинты коньяку меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, которая была здесь очень низкая и мягкая, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни. По моему расчету, сон мой продолжался около девяти часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я попробовал встать, но не мог шевельнуться; я лежал на спине и обнаружил, что мои руки и ноги с обеих сторон крепко привязаны к земле и точно так же прикреплены к земле мои длинные и густые волосы. Равным образом я почувство-

вал, что мое тело, от подмышек до бедер, опутано целой сетью тонких бечевок. Я мог смотреть только вверх; солнце начинало жечь, и свет его ослеплял глаза. Кругом меня слышался какой-то глухой шум, но положение, в котором я лежал, не позволяло мне видеть ничего, кроме неба. Вскоре я почувствовал, как что-то живое задвигалось у меня по левой ноге, мягко поползло по груди и остановилось у самого подбородка. Опустив глаза как можно ниже, я различил перед собою человеческое существо, ростом не более шести дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной. В то же время я почувствовал, как вслед за ним на меня взбирается, по крайней мере, еще около сорока подобных же (как мне показалось) созданий. От изумления я так громко вскрикнул, что они все в ужасе побежали назад; причем некоторые из них, как я узнал потом, соскакивая и падая с моего туловища на землю, получили сильные ушибы. Однако скоро они возвратились, и один из них, отважившийся подойти так близко, что ему было видно все мое лицо, в знак удивления поднял кверху руки и глаза и тоненьким, но отчетливым голосом прокричал: *Гекина дегуль*; остальные несколько раз повторили эти слова, но я не знал тогда, что они значат.

Читатель может себе представить, в каком неудобном положении я лежал все это время. Наконец после большого усилия мне посчастливилось порвать веревочки и выдернуть колышки, к которым была привязана моя левая рука; поднеся ее к лицу, я понял, каким способом они связали меня. В то же время, рванувшись изо всей силы и причинив себе нестерпимую боль, я немного ослабил шнурки, прикреплявшие мои волосы к земле с левой стороны, что позволило мне повернуть голову на два дюйма. Но созданьица вторично спаслись бегством, прежде чем я успел изловить кого-нибудь из них. Затем раздался пронзительный вопль, и, когда он затих, я услышал, как кто-то из них громко повторил: *Толго фонак*. В то же мгновение я почувствовал, что на мою левую руку посыпались сотни стрел, которые кололи меня, как иголки; после этого последовал второй залп в воздух, вроде того как у нас в Европе стреляют из мортир, причем, я полагаю, много стрел упало на мое тело (хотя я не почувствовал этого) и несколько на лицо, которое я поспешил прикрыть левой рукой. Когда этот град прошел, я застонал от обиды и боли и снова попробовал освободиться, но тогда последовал третий залп, сильнее первого, причем некоторые

из этих существ пытались колоть меня копьями в бока, но, к счастью, на мне была кожаная куртка, которую они не могли пробить. Я рассудил, что самое благоразумное — пролежать спокойно до наступления ночи, когда мне нетрудно будет освободиться при помощи уже отвязанной левой руки; что же касается туземцев, то я имел основание надеяться, что справлюсь с какими угодно армиями, которые они могут выставить против меня, если только они будут состоять из существ такого же роста, как то, которое я видел. Однако судьба распорядилась мной иначе. Когда эти люди заметили, что я лежу спокойно, они перестали метать стрелы, но в то же время по усилившемуся шуму я заключил, что число их возросло. На расстоянии четырех ярдов от меня напротив моего правого уха я услышал стук, продолжавшийся больше часа, точно возводилась какая-то постройка. Повернув голову, насколько позволяли державшие ее веревочки и колышки, я увидел деревянный помост, возвышавшийся над землей на полтора фута, на котором могло уместиться четверо туземцев, и две или три лестницы, чтобы всходить на него. Оттуда один из них, по-видимому, знатная особа, обратился ко мне с длинной речью, из которой я

ни слова не понял. Но я должен упомянуть, что перед началом своей речи высокая особа трижды прокричала: *Лангро дегюль сан* (эти слова, равно как и предыдущие, впоследствии мне повторили и объяснили). Сейчас же после этого ко мне подошли человек пятьдесят туземцев и обрезали веревки, прикреплявшие левую сторону головы, что дало мне возможность повернуть ее направо и, таким образом, наблюдать лицо и жесты оратора. Он мне показался человеком средних лет, ростом выше трех других, сопровождавших его; один из последних, чуть побольше моего среднего пальца, вероятно паж, держал его шлейф, два других стояли по сторонам в качестве его свиты. Он по всем правилам разыграл роль оратора: некоторые периоды его речи выражали угрозу, другие — обещание, жалость и благосклонность. Я отвечал в немногих словах, но с видом покорности, воздев к солнцу глаза и левую руку и как бы призывая светило в свидетели; и так как я почти умирал от голода, — в последний раз я поел за несколько часов перед тем, как оставить корабль, — то требования природы были так повелительны, что я не мог сдержать своего нетерпения и (быть может, нарушая правила благопристойности) несколько раз поднес палец ко

рту, желая показать, что хочу есть. *Гурго* (так они называют важного сановника, как я узнал потом) отлично понял меня. Он сошел с помоста и приказал поставить к бокам моим несколько лестниц, по которым взобрались и направились к моему рту более ста туземцев, нагруженных корзинами с кушаньями, которые были приготовлены и присланы по повелению монарха, как только до него дошло известие о моем появлении. В кушанья эти входило мясо каких-то животных, но я не мог разобрать по вкусу, каких именно. Там были лопатки, окорока и филей, с виду напоминавшие баранину, очень хорошо приготовленные, но каждая часть едва равнялась крылу жаворонка. Я проглатывал разом по два и по три куска вместе с тремя караваями хлеба величиной не больше ружейной пули. Туземцы прислуживали мне весьма расторопно и тысячами знаков выражали свое удивление моему росту и аппетиту.

Потом я стал делать другие знаки, показывая, что хочу пить. По количеству съеденного они заключили, что малым меня удовлетворить нельзя, и, будучи народом весьма изобретательным, необычайно ловко втащили на меня, а затем подкатили к моей руке одну из самых больших бочек и вышибли из нее дно; я без труда осушил

ее одним духом, потому что она вмещала не более нашей полупинты. Вино по вкусу напоминало бургундское, но было гораздо приятнее. Затем они поднесли мне другую бочку, которую я выпил таким же манером, и сделал знак, чтобы дали еще, но у них больше не было. Когда я совершал все описанные чудеса, человечки кричали от радости и танцевали у меня на груди, много раз повторяя свое первое восклицание: *Гекина дегуль*. Знаками они попросили меня сбросить обе бочки на землю, но сначала приказали толпившимся внизу посторониться, громко крича: *Бора мивола*; а когда бочки взлетели в воздух, раздался единодушный возглас: *Гекина дегуль*. Признаюсь, меня не раз искушало желание схватить первых попавшихся под руку сорок или пятьдесят человечков, когда они разгуливали взад и вперед по моему телу, и швырнуть их оземь. Но сознание, что они могли причинить мне еще большие неприятности, чем те, что я уже испытал, а равно торжественное обещание, данное мною им, — ибо так толковал я свое покорное поведение, — скоро прогнали эти мысли. С другой стороны, я считал себя связанным законом гостеприимства с этим народцем, который не пожалел для меня издержек на великолепное

угощение. Вместе с тем я не мог достаточно надивиться неустрашимости крошечных созданий, отважившихся взбираться на мое тело и прогуливаться по нему, в то время как одна моя рука была свободна, и не испытывавших трепета при виде такой громадины, какой я должен был им представляться. Спустя некоторое время, когда они увидели, что я не прошу больше есть, ко мне явилась особа высокого чина от лица его императорского величества. Его превосходительство, взобравшись на нижнюю часть моей правой ноги, направился к моему лицу в сопровождении десятка человек свиты. Он предъявил свои верительные грамоты с королевской печатью, приблизя их к моим глазам, и обратился с речью, которая продолжалась около десяти минут и была произнесена без малейших признаков гнева, но твердо и решительно, причем он часто указывал пальцем вперед, как выяснилось потом, по направлению к столице, находившейся от нас на расстоянии полумили, куда, по постановлению его величества и государственного совета, меня должны были перевезти. Я ответил в нескольких словах, которые остались непонятыми, так что мне пришлось прибегнуть к помощи жестов: я показал своей свободной рукой на другую руку

(но сделал это движение высоко над головой его превосходительства, боясь задеть его или его свиту), затем на голову и тело, давая понять таким образом, чтобы меня освободили.

Вероятно, его превосходительство понял меня достаточно хорошо, потому что, покачав отрицательно головой, жестами пояснил, что я должен быть отвезен в столицу как пленник. Наряду с этим он делал и другие знаки, давая понять, что меня будут там кормить, поить и вообще обходиться со мной хорошо. Тут у меня снова возникло желание попытаться разорвать свои узы; но, чувствуя еще жгучую боль на лице и руках, покрывшихся волдырями, причем много стрел еще торчало в них, и заметив, что число моих неприятелей все время возрастает, я знаками дал понять, что они могут делать со мной все, что им угодно. Довольные моим согласием, *Гурго* и его свита любезно раскланялись и удалились с веселыми лицами. Вскоре после этого я услышал общее ликование, среди которого часто повторялись слова: *пеплом селян*, и почувствовал, что с левой стороны большая толпа ослабила веревки в такой степени, что я мог повернуться на правую сторону и всласть помочиться; потребность эта была отправлена мной в изобилии, повергшем

в великое изумление маленькие создания, которые, догадываясь по моим движениям, что я собираюсь делать, немедленно расступились в обе стороны, чтобы не попасть в поток, извергшийся из меня с большим шумом и силой. Еще раньше они помазали мое лицо и руки каким-то составом приятного запаха, который в несколько минут успокоил жгучую боль, причиненную их стрелами. Все это, в соединении с сытным завтраком и прекрасным вином, благотворно подействовало на меня и склонило ко сну. Я проспал, как мне сказали потом, около восьми часов; в этом нет ничего удивительного, так как врачи по приказанию императора подмешали сонного питья в бочки с вином.

По-видимому, как только туземцы нашли меня спящего на земле после кораблекрушения, они немедленно послали гонца к императору с известием об этом открытии. Тотчас был собран государственный совет и вынесено постановление связать меня вышеописанным способом (что было исполнено ночью, когда я спал), отправить мне в большом количестве еду и питье и приготовить машину для перевозки меня в столицу. Быть может, такое решение покажется слишком смелым и опасным, и я убежден, что в схожем

случае ни один европейский монарх не поступил бы так. Однако, по-моему, это решение было столь же благоразумно, как и великодушно. В самом деле, допустим, что эти люди попытались бы убить меня своими копьями и стрелами во время моего сна. Что же вышло бы? Почувствовав боль, я, наверное, сразу проснулся бы и в припадке ярости оборвал веревки, которыми был связан, после чего они не могли бы сопротивляться и ожидать от меня пощады.

Эти люди — превосходные математики и достигли большого совершенства в механике благодаря поощрениям и поддержке императора, известного покровителя наук. У этого монарха есть много машин на колесах для перевозки бревен и других больших тяжестей. Он часто строит громадные военные корабли, иногда достигающие девяти футов длины, в местах, где растет строевой лес, и оттуда перевозит их на этих машинах за триста или четыреста ярдов к морю. Пятистам плотникам и инженерам было поручено немедленно изготовить самую крупную телегу, какую только им приходилось делать. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на три дюйма от земли, около семи футов в длину и четырех в ширину, на двадцати двух

колесах. Услышанные мною восклицания были приветствием народа по случаю прибытия этой телеги, которая была отправлена за мною, кажется, спустя четыре часа после того, как я вышел на берег. Ее поставили возле меня, параллельно моему туловищу. Главная трудность состояла, однако, в том, чтобы поднять и уложить меня в описанную телегу. С этой целью были вбиты восемьдесят свай, вышиною в один фут каждая, и приготовлены очень крепкие канаты толщиной в нашу бечевку; канаты эти были прикреплены крючками к многочисленным повязкам, которыми рабочие обвили мою шею, руки, туловище и ноги. Девятьсот отборных силачей стали тащить за канаты при помощи множества блоков, прикрепленных к сваям, и таким образом меньше чем за три часа меня подняли, положили в телегу и крепко привязали к ней. Все это рассказали мне потом, так как во время этой операции я спал глубоким сном, в который был погружен снотворной микстурой, примешанной к вину. Полторы тысячи самых крупных лошадей из придворных конюшен, вышиной около четырех с половиной дюймов каждая, понадобилось, чтобы привезти меня в столицу, расположенную, как уже было сказано, на расстоянии полумили от того места,

где я лежал.

Мы были в дороге уже часа четыре, когда я проснулся благодаря весьма забавному случаю. Телега остановилась для какой-то починки; воспользовавшись этим, два или три молодых человека полюбопытствовали посмотреть, каков я, когда сплю; они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему лицу; тут один из них, гвардейский офицер, засунул мне в левую ноздрю острие своей пики; оно защекотало, как соломинка, и я громко чихнул. Испуганные храбрецы мгновенно скрылись, и только через три недели я узнал причину моего внезапного пробуждения. Весь остаток дня мы провели в дороге; ночью расположились на отдых, и подле меня было поставлено на страже по пятисот гвардейцев с обеих сторон, половина с факелами, а другая половина с луками наготове, чтобы стрелять при первой моей попытке пошевелиться. С восходом солнца мы снова тронулись в путь и к полудню находились в двухстах ярдах от городских ворот. Навстречу вышли император и весь его двор, но высшие сановники решительно воспротивились намерению его величества подняться на мое тело, боясь подвергнуть опасности его особу.

На площади, где остановилась телега, воз-

вышался древний храм, считавшийся самым обширным во всем королевстве. Несколько лет тому назад храм этот был осквернен зверским убийством, и с тех пор здешнее население, отличающееся большой набожностью, стало смотреть на него как на место, недостойное святыни; вследствие этого он был обращен в общественное здание, из него были вынесены все убранства и утварь. Это здание и было назначено для моего жительства. Большая дверь, обращенная на север, имела около четырех футов в вышину и почти два фута в ширину, так что я мог довольно свободно проползать через нее. По обеим сторонам двери, на расстоянии каких-нибудь шести дюймов от земли, были расположены два маленьких окна; в левое окно придворные кузнецы провели девяносто одну цепочку, вроде тех, что носят с часами наши европейские дамы, и почти такой же величины; цепочки эти были закреплены на моей левой ноге тридцатью шестью висячими замками. Против храма, по другую сторону большой дороги, на расстоянии двадцати футов, стояла башня, не менее пяти футов вышины. На эту башню взошел император с множеством придворных, чтобы лучше видеть меня, как мне передавали, потому что сам я не

обратил на них внимания. По произведенным подсчетам, около ста тысяч народа с той же целью покинуло город, и я полагаю, что, невзирая на стражу, не менее десяти тысяч любопытных перебывало на мне в разное время, взбираясь на мое тело по лестницам. Скоро, однако, был издан указ, запрещавший это под страхом смертной казни. Когда кузнецы нашли, что вырваться мне невозможно, они обрезали связывавшие меня веревки, и я поднялся в таком сумрачном расположении, как никогда в жизни. Шум и изумление толпы, увидевшей, как я встал и хожу, не поддаются описанию. Цепи, приковывавшие мою левую ногу, были около двух ярдов длины и не только давали мне возможность гулять взад и вперед, описывая полукруг, но, будучи укреплены на расстоянии четырех дюймов от двери, позволяли также вползать в храм и ложиться в нем, вытянувшись во весь рост.

Глава II

Император Лилипутии в сопровождении многочисленных вельмож приходит навестить автора в его заключении.

Описание наружности и одежды императора.

Автору назначают учителей для обучения языку лилипутов.

Своим кротким поведением он добивается благосклонности императора.

Обыскивают карманы автора и отбирают у него саблю и пистолеты

Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не приходилось видеть более привлекательный пейзаж. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом, а огороженные поля, из которых каждое занимало не более сорока квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесом, вышиной в полстанга, где самые высокие деревья, насколько я мог судить,

были не более семи футов. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации.

Уже несколько часов меня крайне беспокоила одна естественная потребность, что и неудивительно, так как в последний раз я облегчался почти два дня тому назад. Чувство стыда сменялось жесточайшими позывами. Самое лучшее, что я мог придумать, было вползти в мой дом; так я и сделал; закрыв за собою двери, я забрался в глубину, насколько позволяли цепочки, и освободил свое тело от беспокоившей его тяжести. Но это был единственный случай, который может послужить поводом для обвинения меня в нечистоплотности, и я надеюсь на снисхождение беспристрастного читателя, особенно если он зрело и непредубежденно обсудит бедственное положение, в котором я находился. Впоследствии я отправлял означенную потребность рано утром на открытом воздухе, отойдя от храма, насколько позволяли цепочки, причем были приняты должные меры, чтобы двое назначенных для этой цели слуг увозили в тачках зловонное вещество до прихода ко мне гостей. Я бы не останавливался так долго на предмете, с первого взгляда как будто неважном, если бы не считал необходимым публично оправдаться по части чистоплотности,

которую, как мне известно, некоторым моим недоброжелателям угодно было, ссылаясь на этот и другие случаи, подвергать сомнению.

Покончив с этим делом, я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Император уже спустился с башни и направлялся ко мне верхом на лошади. Эта смелость едва не обошлась ему очень дорого. Дело в том, что хотя его лошадь была прекрасно тренирована, но при таком необычайном зрелище — как если бы гора двинулась перед ней — взвилась на дыбы. Однако император, будучи превосходным наездником, удержался в седле, пока не подоспели слуги, которые, схватив коня под уздцы, помогли его величеству сойти. Сойдя с лошади, он с большим удивлением осмотрел меня со всех сторон, держась, однако, за пределами длины приковывавших меня цепочек. Он приказал своим поварам и дворецким, стоявшим наготове, подать мне есть и пить, и те подкатили ко мне провизию и вино в особых тележках на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял; в двадцати таких тележках находились кушанья, а в десяти напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в два или три глотка, а что касается вина, то я вылил содержимое десяти глиняных фляжек в одну

повозочку и разом осушил ее; так же я поступил и с остальным вином. Императрица, молодые принцы и принцессы крови вместе с придворными дамами сидели в креслах на некотором расстоянии, но после приключения с лошадью императора все они встали и подошли к его особе, которую я хочу теперь описать. Ростом он почти на мой ноготь выше всех своих придворных; одного этого совершенно достаточно, чтобы внушать почтительный страх. Черты лица его резкие и мужественные, губы австрийские, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, туловище, руки и ноги пропорциональные, движения грациозные, осанка величественная. Он уже не первой молодости — ему двадцать восемь лет и девять месяцев, и семь из них он царствует, окруженный благополучием, и большей частью победоносно. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так чтобы мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего трех ярдов от меня; кроме того, впоследствии я несколько раз брал его на руки и потому не могу ошибиться в его описании. Одежда императора была очень скромная и простая, фасон — нечто среднее между азиатским и европейским, но на голове надет был легкий золотой шлем, укра-

шенный драгоценными камнями и пером на верхушке. Он держал в руке обнаженную шпагу для защиты, на случай если бы я разорвал цепь; шпага эта была длиною около трех дюймов, ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные все были великолепно одеты, так что занимаемое ими место было похоже на разостланную юбку, вышитую золотыми и серебряными узорами. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами, на которые я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Здесь же находились священники и юристы (как я заключил по их костюму), которым было приказано вступить со мною в разговор; я, в свою очередь, заговаривал с ними на разных языках, с которыми был хотя бы немного знаком: по-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски и на лингва франка, но все это не привело ни к чему. Спустя два часа двор удалился, и я был оставлен под сильным караулом — для охраны от дерзких и, может быть, даже злобных выходок черни, которая настойчиво стремилась

протискаться поближе ко мне, насколько у ней хватало смелости; у некоторых достало даже бесстыдства пустить в меня несколько стрел в то время, как я сидел на земле у дверей моего дома; одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Однако полковник приказал схватить шестерых зачинщиков и решил, что самым лучшим наказанием для них будет связать и отдать в мои руки. Солдаты так и сделали, подталкивая ко мне озорников тупыми концами пик; я сгреб их всех в правую руку и пятерых положил в карман камзола; что же касается шестого, то я сделал вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры пришли в сильное беспокойство, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро я успокоил их: ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю; он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по одному из кармана. И я увидел, что солдаты и народ остались очень довольны моим милосердием, о котором в очень выгодном для меня свете было доложено при дворе.

С наступлением ночи я не без затруднений вошел в свой дом и лег спать на голой земле. Таким

образом я проводил ночи около двух недель, в течение которых по приказанию императора для меня была изготовлена постель. Были привезены шестьсот матрасов обыкновенной величины, и в моем доме началась работа: сто пятьдесят штук были сшиты вместе, и так образовался один матрас, подходящий для меня в длину и ширину; четыре таких матраса положили один на другой, но твердый пол из гладкого камня, на котором я спал, стал от этого ненамного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяла и покрывала, достаточно сносные для человека, давно привыкшего к лишениям.

Едва весть о моем прибытии разнеслась по королевству, как отовсюду начали стекаться, чтобы посмотреть на меня, толпы богатых, досужих и любопытных людей. Деревни почти опустели, отчего последовал бы большой ущерб для земледелия и домашнего хозяйства, если бы своевременные распоряжения его величества не предупредили бедствия. Он повелел тем, кто меня уже видел, возвратиться домой и не приближаться к моему помещению ближе чем на пятьдесят ярдов без особенного на то разрешения двора, что принесло министрам большой доход.

Между тем император держал частые советы,

на которых обсуждался вопрос, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного моего близкого друга, особы весьма знатной и достаточно посвященной в государственные тайны, что двор находился в большом затруднении относительно меня. С одной стороны, боялись, чтобы я не разорвал цепи; с другой — возникло опасение, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Иногда останавливались на мысли уморить меня или, по крайней мере, засыпать мое лицо и руки отравленными стрелами, чтобы скорее отправить на тот свет; но потом принимали в расчет, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве. В разгар этих совещаний у дверей большой залы совета собралось несколько офицеров, и двое из них, будучи допущены в собрание, представили подробный доклад о моем поступке с шестью упомянутыми озорниками. Это произвело такое благоприятное впечатление на его величество и весь государственный совет, что немедленно был издан указ императора, обязывавший все деревни, находящиеся в пределах девятисот ярдов от столицы, доставлять каждое утро по шести быков, сорока баранов и другой провизии для моего стола,

вместе с соответствующим количеством хлеба, вина и других напитков, по установленной таксе и за счет сумм, ассигнованных с этой целью из собственной казны его величества. Нужно заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих личных имений и весьма редко, в самых исключительных случаях, обращается за субсидией к подданным, которые зато обязаны по его требованию являться на войну в собственном вооружении. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в шестьсот человек, для которого были отпущены харчевые деньги и построены по обеим сторонам моей двери удобные палатки. Равным образом отдан был приказ, чтобы триста портных сшили для меня костюм местного фасона; чтобы шестеро величайших ученых его величества занялись обучением меня местному языку и, наконец, чтобы возможно чаще производились в моем присутствии упражнения на лошадях, принадлежащих императору, придворным и гвардии, с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были должным образом исполнены, и спустя три недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своим посещением и милостиво помогал моим

наставникам обучать меня. Мы уже могли объясняться друг с другом, и первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы его величество соизволил даровать мне свободу; слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. В ответ на мою просьбу император, насколько я мог понять его, говорил, что освобождение есть дело времени, что оно не может быть даровано без согласия государственного совета и что прежде я должен *люмоз келъмин пессо деемарлон эмпозо*, то есть дать клятву сохранять мир с ним и его империей. Впрочем, обхождение со мной будет самое любезное; и император советовал терпением и скромностью заслужить доброе к себе отношение как его, так и его подданных. Он просил меня не обижаться, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня, так как он полагает, что на мне есть оружие, которое должно быть очень опасным, если соответствует огромным размерам моего тела. Я просил его величество быть спокойным на этот счет, заявив, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен двумя его чиновниками; что понимает, что это

требование закона не может быть осуществлено без моего согласия и моей помощи; что, будучи высокого мнения о моем великодушии и справедливости, он спокойно передаст этих чиновников в мои руки; что вещи, отобранные ими, будут возвращены мне, если я покину эту страну, или же мне будет за них заплачено, сколько я сам назначу. Я взял обоих чиновников в руки и положил их сначала в карманы камзола, а потом во все другие, кроме двух часовых и одного потайного, которого я не хотел показывать, потому что в нем было несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали: в одном серебряные часы, а в другом кошелек с несколькими золотыми. Господа эти имели при себе бумагу, перо и чернила и составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю, чтобы они могли представить ее императору. Позднее я перевел эту опись на английский язык. Вот она слово в слово:

Во-первых, в правом кармане камзола великого Человека Торы (так я передаю слова Куинбус Флестрин), после тщательнейшего осмотра, мы нашли только

большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца Вашего Величества. В левом кармане мы увидели громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять.

Когда, по нашему требованию, сундук был открыт и один из нас вошел туда, то он по колени погрузился в какую-то пыль, часть которой, поднявшись до наших лиц, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых субстанций, сложенных одна на другую; кипа эта, толщиною в три человека, перевязана прочными канатами и испещрена черными знаками, которые, по скромному нашему предположению, суть не что иное, как письмена, каждая буква которых равняется половине нашей ладони.

В левом жилетном кармане оказался инструмент, к спинке которого прикреплены двадцать длинных жердей, напоминающих частокол перед двором

Вашего Величества; по нашему предположению, этим инструментом Человек Гора расчесывает свои волосы, но это только предположение: мы не всегда тревожим его расспросами, потому что нам было очень трудно объясняться с ним.

В большом кармане с правой стороны среднего чехла (как я перевожу слово ранфуло, под которым они разумели штаны) мы увидели полый железный столб, длиною в рост человека, прикрепленный к крепкому куску дерева, более крупному по размерам, чем сам столб; с одной стороны столба торчат большие куски железа, весьма странной формы, назначения которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена нами и в левом кармане. В меньшем кармане с правой стороны казалось несколько плоских дисков из белого и красного металла, различной величины; некоторые белые диски, по-видимому серебряные, так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. В левом кармане мы нашли две черные колонны неправильной формы; стоя на дне кармана, мы только с боль-

шим трудом могли достать их верхушку. Одна из колонн заключена в покрышке и состоит из цельного материала, но на верхнем конце другой есть какое-то круглое белое тело, вдвое больше нашей головы. В каждой колонне заключена огромная стальная пластина; полагая, что это опасные орудия, мы потребовали у Человека Горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляра, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на Человеке Горе мы нашли еще два кармана, куда не могли войти. Эти карманы он называет часовыми; они представляют две широких щели, прорезанных в верхней части его среднего чехла, а потому сильно сжатых давлением его брюха. Из правого кармана спускается большая серебряная цепь с диковинной машиной, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть все, что было прикреплено к этой цепи; вынутый предмет оказался похожим на шар, одна половина которого сделана из серебра, а другая из какого-то прозрачного металла; когда

мы, заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, расположенные по окружности, попробовали прикоснуться к ним, то пальцы наши уперлись в это прозрачное вещество. Человек Гора приблизил эту машину к нашим ушам; тогда мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Но мы более склоняемся к последнему мнению, потому что, по его уверениям (если мы правильно поняли объяснение Человека Горы, который очень плохо говорит на нашем языке), он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана Человек Гора вынул сеть почти такой же величины, как рыболовная, но устроенную так, что она может закрываться и открываться наподобие кошелька, чем она и служит ему; в сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла, и если это настоящее

золото, то оно должно представлять огромную ценность.

Таким образом, во исполнение повеления Вашего Величества, тщательно осмотрев все карманы Человека Горы, мы перешли к дальнейшему обследованию и открыли на нем пояс, сделанный из кожи какого-то громадного животного; на этом поясе с левой стороны висит сабля, длиною в пять раз более среднего человеческого роста, а с правой – сумка или мешок, разделенный на два отделения, из коих в каждом можно поместить трех подданных Вашего Величества.

Мы нашли в одном отделении сумки множество шаров из крайне тяжелого металла; каждый шар, будучи величиной почти с нашу голову, требует большой силы, чтобы поднять его; в другом отделении лежала кучка каких-то черных зерен не очень большого объема и веса: мы могли поместить на ладони до пятидесяти таких зерен.

Такова точная опись найденного нами при обыске Человека Горы, который держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний Вашего Величества. Скреплено подписью и приложением печати в четвертый день восемьдесят девятой луны благополучного царствования Вашего Величества.

Клефрин Фрелок,
Марси Фрелок

Когда эта опись была прочитана императору, его величество потребовал, хотя и в самой деликатной форме, чтобы я отдал некоторые перечисленные в ней предметы. Прежде всего он предложил вручить ему саблю, которую я снял вместе с ножнами и со всем, что было при ней. Тем временем император приказал трем тысячам отборных войск (которые в этот день несли охрану его величества) окружить меня на известном расстоянии и держать на прицеле лука, чего я, впрочем, не заметил, так как глаза мои были устремлены на его величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю, которая хотя местами и заржавела от морской воды, но все-таки ярко блестела. Я повиновался, и в тот

же момент все солдаты испустили крик ужаса и удивления: отражавшиеся на стали лучи солнца ослепляли их, когда я размахивал саблей из стороны в сторону. Его величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить оружие в ножны и возможно осторожнее бросить его на землю футов на шесть от конца моей цепи. Затем он потребовал показать один из полых железных столбов, под которыми он разумел мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и, по просьбе императора, растолковал, как мог, его употребление; затем, зарядив его только порохом, который благодаря герметически закрытой пороховнице оказался совершенно сухим (все предусмотрительные моряки принимают на этот счет особые меры предосторожности), я предупредил императора, чтобы он не испугался, и выстрелил в воздух. На этот раз удивление было гораздо сильнее, чем при виде моей сабли. Сотни человек попадали, как бы пораженные насмерть, и даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал оба пистолета тем же способом, что и саблю, и так же поступил с пулями и порохом, но просил его величество держать последний подальше от огня, так как

от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Равным образом я отдал часы, которые император осмотрел с большим любопытством и приказал двум самым дюжим гвардейцам унести их, надев на шест и положив шест на плечи, вроде того как носильщики в Англии таскают бочонки с элем. Всего более поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки, которое ему было хорошо видно, потому что лилипуты обладают более острым зрением, чем мы. Он предложил ученым высказать свое мнение относительно этой машины, но читатель и сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению, и все их предположения, которых, впрочем, я хорошенько не понял, были весьма далеки от истины; затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с десятью крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Сабля, пистолеты и сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал его величества, остальные вещи возвращены мне.

Я уже сказал выше, что у меня был секретный карман, которого не обнаружили мои сыщики;

в нем лежали очки (благодаря слабому зрению я иногда пользуюсь ими), карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Так как эти вещи не представляли никакого интереса для императора, то я не считал долгом чести заявлять о них, тем более что боялся, как бы они не были потеряны или попорчены, если бы попали в чужие руки.

Глава III

Автор весьма оригинально развлекает императора, придворных дам и кавалеров.

Описание развлечений при дворе в Лилипутии.

Автору на определенных условиях даруется свобода

Моя кротость и доброе поведение до такой степени примирили со мной императора, двор, армию и вообще весь народ, что я начал питать надежду на скорое получение свободы. Я всячески старался укрепить это благоприятное расположение. Население постепенно привыкло ко мне и стало меньше меня бояться. Иногда я ложился на землю и позволял пятерым или шестерым лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическими представлениями, в которых лилипуты своею

ловкостью и великолепием превосходят другие известные мне народы. Но ничто меня так не позабавило, как упражнения канатных плясунов, совершаемые на тонких белых нитках длиною в два фута, натянутых на высоте двенадцати дюймов от земли. На этом предмете я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения.

Эти упражнения производятся только лицами, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволения двора. Они смолоду тренированы в этом искусстве и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на высокую должность вследствие смерти или опалы (что случается часто), пять или шесть таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате; и кто прыгнет выше всех, не упавши, получает вакантную должность. Весьма часто даже первые министры получают приказ показать свою ловкость и засвидетельствовать перед императором, что они не утратили своих способностей. Флимнап, канцлер казначейства, пользуется известностью человека, совершившего прыжок на туго натяну-

том канате, по крайней мере, на дюйм выше, чем какой удавался когда-нибудь другому сановнику во всей империи. Мне пришлось видеть, как он кувыркался несколько раз сряду на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиною не более обыкновенной английской бечевки. Мой друг Рельдресель, главный секретарь тайного совета, по моему мнению, — если только моя дружба к нему не ослепляет меня, — может занять в этом отношении второе место после канцлера казначейства. Остальные сановники стоят почти на одном уровне в означенном искусстве.

Эти развлечения часто сопровождаются несчастьями, память о которых сохраняет история. Я сам видел, как два или три соискателя причинили себе увечья. Но опасность увеличивается еще более, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Ибо, стремясь превзойти самих себя и своих соперников, они проявляют такое усердие, что редко кто из них не срывается и не падает, иногда даже раза по два и по три. Меня уверяли, что за год или за два до моего прибытия Флимнап непременно сломал бы себе шею, если бы одна из королевских подушек, случайно лежавшая на полу, не смягчила удара от его падения.

Кроме того, в особых случаях здесь устраивается еще одно развлечение, которое дается в присутствии только императора, императрицы и первого министра. Император кладет на стол три тонких шелковых нити — синюю, красную и зеленую, в шесть дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в большом тронном зале его величества, где соискатели подвергаются испытанию в ловкости, весьма отличному от предыдущего и не имеющему ни малейшего сходства с теми, что мне доводилось наблюдать в странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели, подходя друг за другом, то перепрыгивают через палку, то ползают под ней взад и вперед несколько раз, смотря по тому, поднята палка или опущена; иногда один конец палки держит император, а другой — его первый министр, иногда же палку держит только последний. Кто проделает все описанные упражнения с наибольшей легкостью и проворством и наиболее отличится в прыганье и ползанье, тот награждается синей нитью; красная дается второму по ловкости, а зеленая

— третьему. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее дважды вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу, у которой бы не было такого пояса.

Каждый день мимо меня проводили лошадей из полковых и королевских конюшен, так что они скоро перестали пугаться меня и подходили к самым моим ногам, не кидаясь в сторону. Всадники заставляли лошадей перескакивать через мою положенную на землю руку, а раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак; это был поистине удивительный прыжок. Однажды я имел счастье позабавить императора самым необыкновенным образом. Я попросил достать несколько палок длиною в два фута и толщиной в обыкновенную трость; его величество приказал главному лесничему сделать соответствующие распоряжения, и на следующее утро семь лесников привезли требуемое на семи телегах, из которых каждая была запряжена восемью лошадьми. Я взял девять палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиною в два с половиной фута; на высоте около двух футов я привязал к четырем углам этого квадрата другие четыре палки параллельно

земле; затем на девяти кольях я натянул носовой платок туго, как барабан; четыре горизонтальные палки, возвышаясь над платком приблизительно на пять дюймов, образовали с каждой стороны нечто вроде перил. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить двадцать четыре лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его величество одобрил мое предложение, и, когда кавалеристы прибыли, я поднял их поочередно на лошадях и в полном вооружении вместе с офицерами, которые ими командовали. Построившись, они разделились на два отряда и начали маневры: пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращаясь в бегство, то преследуя, то ведя атаку, то отступая, — словом, показывая лучшую военную выучку, какую мне когда-либо доводилось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня повторить это развлечение несколько дней сряду и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. Хотя и с большим трудом, ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в закрытом кресле

на расстоянии двух ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно; раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока, но я немедленно выручил обоих и, прикрыв одной рукой дыру, спустил другой рукой всю кавалерию на землю тем же способом, каким поднял ее. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности в подобных опасных упражнениях.

За два или за три дня до моего освобождения, как раз в то время, когда я развлекал двор своими выдумками, к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько его подданных, проезжая возле того места, где я был найден, увидели на земле какое-то громадное черное тело, весьма странной формы, с широкими плоскими краями кругом, занимающими пространство, равное спальне его величества, и с приподнятой над землей на высоту человеческого роста серединой; что это не какое-нибудь живое существо, как они первоначально опасались, ибо оно ле-

жало на траве неподвижно, и некоторые из них несколько раз обошли его кругом; что, становясь на плечи друг другу, они взобрались на вершину загадочного тела, которая оказалась плоской поверхностью, а само тело внутри полым, в чем они убедились, топая по нему ногами; что они смиренно высказывают предположение, не есть ли это какая-нибудь принадлежность Человека Горы; и если будет угодно его величеству, то они берутся доставить его всего только на пяти лошадях. Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как по дороге к месту моего ночлега у меня слетела шляпа, которую я привязал к подбородку шнурком, когда греб в лодке, и плотно надвинул на уши, когда плыл по морю. Вероятно, я не обратил внимания, как разорвался шнурок, и решил, что шляпа потерялась в море. Описав свойства и назначение этого предмета, я умолял его величество отдать распоряжение, чтобы он как можно скорее был мне доставлен. На другой день шляпа была привезена мне, но в не блестящем состоянии. Возчики пробили в полях две дыры на расстоянии полутора дюймов от края, зацепили

за них крючками, крючки привязали длинной веревкой к упряжи и волокли таким образом мой головной убор добрых полмили. Но благодаря тому, что почва в этой стране необыкновенно ровная и гладкая, шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал.

Спустя два или три дня после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к выступлению. Его величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу Колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире. Потом он приказал главнокомандующему (старому опытному военачальнику и моему большому покровителю) построить войска сомкнутыми рядами и провести их церемониальным маршем между моими ногами — пехоту по двадцать четыре человека в ряд, а кавалерию по шестнадцати — с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками. Весь корпус состоял из трех тысяч пехоты и тысячи кавалерии. Его величество отдал приказ, чтобы солдаты, под страхом смертной казни, вели себя вполне благопристойно по отношению к моей особе во время церемониального марша,

что, однако, не помешало некоторым молодым офицерам, проходя подо мною, поднимать глаза вверх; и сказать правду, мои панталоны находились в то время в таком плохом состоянии, что давали некоторый повод посмеяться и прийти в изумление.

Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что наконец его величество поставил этот вопрос на обсуждение сперва своего кабинета, а потом государственного совета, где никто не высказал возражений за исключением Скайреша Болголама, которому угодно было, без всякого повода с моей стороны, стать моим смертельным врагом. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено всем советом и утверждено императором в мою пользу. Болголам занимал пост гальбета, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. Однако и его наконец убедили дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я получу свободу, после того как мной будет дана торжественная клятва свято соблюдать их. Условия эти Скайреш Болголам доставил мне лично, в сопровождении

двух помощников-секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, я должен был присягнуть, что я не нарушу их, причем обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по способу, предписанному местными законами, заключавшемуся в том, что я должен был держать правую ногу в левой руке, положа в то же время средний палец правой руки на темя, а большой на верхушку правого уха. Но, быть может, читателю любопытно будет составить себе некоторое представление о стиле и характерных выражениях этого народа, а также познакомиться с условиями, на которых я получил свободу; поэтому я приведу здесь полный буквальный перевод означенного документа, сделанный мною самым тщательным образом.

Гольбасто Момарен Эвлем Гердайло Шефинмоллиоллигу, могущественнейший император Лилипутии, отрада и ужас вселенной, коего владения, занимая пять тысяч блестрегов (около двенадцати миль в окружности), распространяются до крайних пределов земного шара; монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, нога-

ми своими упирающийся в центр земли, а головою касающийся солнца; при одном мановении которого трясутся колени у земных царей; приятный как весна, благодетельный как лето; обильный как осень и суровый как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наши небесные владения Человеку Горе следующие пункты, которые Человек Гора под торжественной присягой обязуется исполнять:

1.

Человек Гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати.

2.

Он не имеет права входить в нашу столицу без нашего особого повеления, причем жители должны быть предупреждены за два часа, чтобы успеть укрыться в своих домах.

3.

Названный Человек Гора должен ограничивать свои прогулки нашими главными

большими дорогами и не смеет гулять или ложиться на лугах и полях.

4.

Во время прогулок по названным дорогам он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег; он не должен брать в руки названных подданных без их на то согласия.

5.

Если потребуется быстрое доставление гонца к месту его назначения, то Человек Гора обязуется раз в луну относить в своем кармане гонца вместе с лошадью на расстояние шести дней пути и (если потребуется) доставлять названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству.

6.

Он должен быть нашим союзником против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в

настоящее время снаряжается для нападения на нас.

7.

Упомянутый Человек Гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены нашего главного парка, а также при постройке других наших зданий.

8.

Упомянутый Человек Гора в течение двух лун должен точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережье и сосчитав число пройденных шагов.

Наконец, под торжественной присягой названный Человек Гора обязуется в точности соблюдать означенные условия, и тогда он, Человек Гора, будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших подданных, и будет пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками Нашего благоволения. Дано в Бельфабораке, в нашем дворце, в двенадцатый день девя-

ностo первой луны нашего царствования.

Я с большой радостью и удовлетворением дал присягу и подписал эти пункты, хотя некоторые из них не были так почетны, как я бы желал; они продиктованы были исключительно злобой Скайреша Болголама, верховного адмирала. После принесения присяги мои цепи были немедленно сняты, и я получил полную свободу; сам император удостоил меня своим присутствием на церемонии моего освобождения. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества, но император велел мне встать и после многих милостивых слов, которых я — во избежание упреков в тщеславии — не стану повторять, прибавил, что надеется найти во мне полезного слугу и человека вполне достойного тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем.

Пусть читатель благоволит обратить внимание на то, что в последнем пункте условий возвращения мне свободы император постановляет выдавать мне еду и питье в количестве достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Спустя некоторое время я спросил у одного моего Друга придворного, каким образом была установлена

такая точная цифра. На это он ответил, что математики его величества, определив высоту моего роста при помощи квадранта и найдя, что высота эта находится в таком отношении к высоте лилипута, как двенадцать к единице, заключили, на основании сходства наших тел, что объем моего тела равен, по крайней мере, объему 1728 тел лилипутов, а следовательно, оно требует во столько же раз больше пищи. Из этого читатель может составить понятие как о смышлености этого народа, так и о мудрой расчетливости великого его государя.

Глава IV

Описание Мильдендо, столицы Лилипутии, и императорского дворца.

Беседа автора с первым секретарем о государственных делах.

Автор предлагает свои услуги императору в его войнах

Получив свободу, я прежде всего попросил разрешения осмотреть Мильдендо, столицу государства. Император без труда мне его дал, но строго наказал не причинять никакого вреда ни жителям, ни их домам. О моем намерении посетить город население было оповещено особой прокламацией. Столица окружена стеной вышиною в два с половиной фута и толщиною не менее одиннадцати дюймов, так что по ней совершенно безопасно может проехать карета, запряженная парой лошадей; стена эта прикрыта крепкими башнями, возвышающимися на расстоянии десяти футов одна от другой. Перешагнув через большие Западные Ворота, я

очень медленно, боком, прошел по двум главным улицам в одном жилете, из боязни повредить крыши и карнизы домов полами своего кафтана. Подвигался я крайне осмотрительно, чтобы не растоптать беспечных прохожих, оставшихся на улице вопреки отданному жителям столицы строгому приказу не выходить для безопасности из дому. Окна верхних этажей и крыши домов были покрыты таким множеством зрителей, что, я думаю, ни в одно из моих путешествий мне не случалось видеть более людного места. Город имеет форму правильного четырехугольника, и каждая сторона городской стены равна пятистам футам. Две главные улицы, шириною в пять футов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на четыре квартала. Боковые улицы и переулки, куда я не мог войти и только видел их, имеют в ширину от двенадцати до восемнадцати дюймов. Город может вместить до пятисот тысяч душ. Дома трех- и пятиэтажные. Лавки и рынки полны товаров.

Императорский дворец находится в центре города на пересечении двух главных улиц. Он окружен стеною в два фута вышины, отстоящей от построек на двадцать футов. Я имел позволение его величества перешагнуть через стену,

и так как расстояние, отделявшее ее от дворца, было достаточно велико, то легко мог осмотреть последний со всех сторон. Внешний двор представляет собою квадрат со стороной в сорок футов и вмещает два других двора, из которых во внутреннем расположены императорские покои. Мне очень хотелось их осмотреть, но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие один двор с другим, имели только восемнадцать дюймов в вышину и семь дюймов в ширину. С другой стороны здания внешнего двора достигают вышины не менее пяти футов, и потому я не мог перешагнуть через них, не нанеся значительных повреждений постройкам, несмотря на то, что стены у них прочные, из тесаного камня, и в толщину четыре дюйма. В то же время и император очень желал показать мне великолепие своего дворца. Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя три дня, которые я употребил на подготовительные работы. В императорском парке, в ста ярдах от города, я срезал своим перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них два табурета вышиною около трех футов и достаточно прочных, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем после второго

объявления, предостерегающего жителей, я снова прошел ко дворцу через город с двумя табуретами в руках. Подойдя со стороны внешнего двора, я стал на один табурет, поднял другой над крышей и осторожно поставил его на площадку шириною в восемь футов, отделявшую первый двор от второго. Затем я свободно перешагнул через здания с одного табурета на другой и поднял к себе первый длинной палкой с крючком. При помощи таких ухищрений я достиг самого внутреннего двора; там я лег на землю и приблизил лицо к окнам среднего этажа, которые нарочно были оставлены открытыми: таким образом я получил возможность осмотреть роскошнейшие палаты, какие только можно себе представить. Я увидел императрицу и молодых принцев в их покоях, окруженных свитой. Ее императорское величество милостиво соизволила улыбнуться мне и грациозно протянула через окно свою ручку, которую я поцеловал.

Однако я не буду останавливаться на дальнейших подробностях, потому что приберегаю их для почти готового уже к печати более обширного труда, который будет заключать в себе общее описание этой империи со времени ее основания, историю ее монархов в течение длинного ряда

веков, наблюдения относительно их войн и политики, законов, науки и религии этой страны; ее растений и животных; нравов и обычаев ее обитателей и других весьма любопытных и поучительных материй. В настоящее же время моя главная цель заключается в изложении событий, которые произошли в этом государстве во время почти девятимесячного моего пребывания в нем.

Однажды утром, спустя две недели после моего освобождения, ко мне приехал, в сопровождении только одного лакея, Рельдресель, главный секретарь (как его титулуют здесь) по тайным делам. Приказав кучеру ожидать в сторонке, он попросил меня уделить ему один час и выслушать его. Я охотно согласился на это из уважения к его сану и личным достоинствам, а также принимая во внимание многочисленные услуги, оказанные им мне при дворе. Я изъявил готовность лечь на землю, чтобы его слова могли легче достигать моего уха, но он предпочел, чтобы во время нашего разговора я держал его в руке. Прежде всего он поздравил меня с освобождением, заметив, что в этом деле и ему принадлежит некоторая заслуга; он прибавил, однако, что если бы не теперешнее положение вещей при дворе, я, пожалуй, не получил бы так скоро свободы. Каким бы блестящим

ни казалось иностранцу наше положение, сказал секретарь, однако над нами тяготеют два страшных зла: жесточайшие раздоры партий внутри страны и угроза нашествия могущественного внешнего врага. Что касается первого зла, то надо вам сказать, что около семидесяти лун тому назад в империи образовались две враждующие партии, известные под названием *Тремексенов* и *Слемексенов*, от высоких и низких каблуков на башмаках, при помощи которых они отличаются друг от друга. Утверждают, что высокие каблуки всего более согласуются с нашим древним государственным укладом, однако, как бы там ни было, его величество постановил, чтобы в правительственных должностях, а также во всех должностях, раздаваемых короной, употреблялись только низкие каблуки, на что вы, наверное, обратили внимание. Вы, должно быть, заметили также, что каблуки на башмаках его величества на один *дрерр* ниже, чем у всех придворных (*дрерр* равняется четырнадцатой части дюйма). Ненависть между этими двумя партиями доходит до того, что члены одной не станут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что *тремексены*, или Высокие Каблуки, превосходят нас числом, хотя власть всецело

принадлежит нам. Но мы опасаемся, что его императорское высочество, наследник престола, имеет некоторое расположение к Высоким Каблукам; по крайней мере, не трудно заметить, что один каблук у него выше другого, вследствие чего походка его высочества прихрамывающая. И вот, среди этих междоусобиц, в настоящее время нам грозит нашествие с острова Блефуску — другой великой империи во вселенной, почти такой же обширной и могущественной, как империя его величества. И хотя вы утверждаете, что на свете существуют другие королевства и государства, населенные такими же громадными людьми, как вы, однако наши философы сильно сомневаются в этом: они скорее готовы допустить, что вы упали с луны или с какой-нибудь звезды, так как несомненно, что сто смертных вашего роста в самое короткое время могли бы истребить все плоды и весь скот владений его величества. Кроме того, наши летописи за шесть тысяч лун не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй — Лилипутии и Блефуску. Итак, эти две могущественные державы ведут между собой ожесточеннейшую войну в продолжение тридцати шести лун. Поводом к войне послужили следующие обстоятельства.

Всеми разделяется убеждение, что вареные яйца при употреблении их в пищу испокон веков разбивались с тупого конца; но дед нынешнего императора, будучи ребенком, порезал себе палец за завтраком, разбивая яйцо означенным древним способом. Тогда император, отец ребенка, обнародовал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот закон до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной шести восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой — корону. Мятежи эти постоянно разжигались монархами Блефуску, а после их подавления изгнанники всегда находили приют в этой империи. Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы не разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвященных этой полемике, но книги *Тупоконечников* давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих смут императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережения, обвиняя нас в церковном расколе путем нарушения основного догмата

великого нашего пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят четвертой главе Блундекраля (являющегося их Алькораном). Между тем это просто насильственное толкование текста, подлинные слова которого гласят: все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее. Решение же вопроса: какой конец признать более удобным, по моему скромному суждению, должно быть предоставлено совести каждого или, в крайнем случае, власти верховного судьи империи. Изгнанные Тупоконечники возымели такую силу при дворе императора Блефуску и нашли такую поддержку и поощрение со стороны своих единомышленников внутри нашей страны, что в течение тридцати шести лун оба императора ведут кровавую войну с переменным успехом. За это время мы потеряли сорок линейных кораблей и огромное число мелких судов с тридцатью тысячами лучших моряков и солдат; полагают, что потери неприятеля еще значительнее. Но, несмотря на это, неприятель снарядил новый многочисленный флот и готовится высадить десант на нашу территорию. Вот почему его императорское величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне сделать настоящее изложение наших государственных дел.

Я просил секретаря засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что, хотя мне, как иностранцу, не следовало бы вмешиваться в раздоры партий, тем не менее я готов, не щадя своей жизни, защищать его особу и государство от всякого иноземного вторжения.

Глава V

Автор благодаря чрезвычайно остроумной выдумке предупреждает нашествие неприятеля.

Его жалуют высоким титулом.

Являются послы императора Блефуску и просят мира.

Пожар в покоях императрицы вследствие неосторожности и придуманный автором способ спасти остальную часть дворца

Империя Блефуску есть остров, расположенный на северо-северо-восток от Лилипутии и отделенный от нее лишь проливом, шириною в восемьсот ярдов. Я еще не видел этого острова; узнав же о предполагаемом нашествии, старался не показываться в той части берега из опасения быть замеченным с кораблей неприятеля, который не имел никаких сведений о моем присутствии, так как во время войны всякие сношения между двумя империями были строго запрещены под страхом смертной казни и наш император нало-

жил эмбарго на выход всех без исключения судов из гаваней. Я сообщил его величеству составленный мною план захвата всего неприятельского флота, который, как мы узнали от наших разведчиков, стоял на якоре, готовый поднять паруса при первом попутном ветре. Я осведомился у самых опытных моряков относительно глубины пролива, часто ими измерявшейся, и они сообщили мне, что при высокой воде глубина эта в средней части пролива равняется семидесяти глюмглеффам, — что составляет около шести европейских футов, — во всех же остальных местах она не превышает пятидесяти глюмглеффов. Я отправился на северо-восточный берег, расположенный напротив Блефуску, лег за бугорком и направил свою подзорную трубу на стоявший на якоре неприятельский флот, в котором насчитал до пятидесяти боевых кораблей и большое число транспортов. Возвратившись домой, я приказал (у меня было на то полномочие) доставить мне как можно больше самого крепкого каната и железных брусьев. Канат оказался толщиною в бечевку, а брусья величиной в нашу вязальную иголку. Чтобы придать этому канату большую прочность, я свил его втрое и с тою же целью скрутил вместе по три железных бруска, загнув

их концы в виде крючков. Прикрепив пятьдесят таких крючков к такому же числу веревок, я возвратился на северо-восточный берег и, сняв с себя кафтан, башмаки и чулки, в кожаной куртке вошел в воду за полчаса до прилива. Сначала я быстро двинулся вброд, а у середины проплыл около тридцати ярдов, пока снова не почувствовал под собою дно; таким образом, меньше чем через полчаса я достиг флота. Увидев меня, неприятель пришел в такой ужас, что попрыгал с кораблей и поплыл к берегу, где его собралось не менее тридцати тысяч. Тогда, вынув свои снаряды и зацепив нос каждого корабля крючком, я связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел, и многие из них вонзились мне в руки и лицо. Помимо ужасной боли, они сильно мешали моей работе. Больше всего я боялся за глаза и наверное лишился бы их, если бы не придумал тотчас же средства для защиты. Среди других необходимых мне мелочей у меня сохранились очки, которые я держал в секретном кармане, ускользнувшем, как я уже заметил выше, от внимания императорских досмотрщиков. Я надел эти очки и крепко привязал их. Вооружась таким образом, я смело продолжал работу, несмотря на стрелы неприя-

теля, которые хотя и попадали в стекла очков, но не причиняли им особого вреда. Когда все крючки были прилажены, я взял узел в руку и начал тащить; однако ни один из кораблей не тронулся с места, потому что все они крепко держались на якорях. Таким образом, мне оставалось совершить самую опасную часть моего предприятия. Я выпустил веревки и, оставя крючки в кораблях, смело обрезал ножом якорные канаты, причем более двухсот стрел угодило мне в лицо и руки. После этого я схватил связанные в узел веревки, к которым были прикреплены мои крючки, и легко потащил за собою пятьдесят самых крупных неприятельских военных кораблей.

Блефускуанцы, не имевшие ни малейшего представления о моих намерениях, сначала от изумления растерялись. Увидя, как я обрезываю якорные канаты, они подумали, что я собираюсь пустить корабли на волю ветра и волн или столкнуть их друг с другом; но когда весь флот двинулся в порядке, увлекаемый моими веревками, они пришли в неописуемое отчаяние и стали оглашать воздух горестными воплями. Оказавшись вне опасности, я остановился, чтобы вынуть из рук и лица стрелы и натереть пораненные места упомянутой ранее мазью, которую лилипуты

дали мне при моем прибытии в страну. Потом я снял очки и, обождав около часа, пока спадет вода, перешел вброд середину пролива и благополучно прибыл с моим грузом в императорский порт Лилипутии.

Император и весь его двор стояли на берегу в ожидании исхода этого великого предприятия. Они видели корабли, приближавшиеся широким полумесяцем, но меня не замечали, так как я по грудь был в воде. Когда я проходил середину пролива, их беспокойство еще более увеличилось, потому что я погрузился в воду по шею. Император решил, что я утонул и что неприятельский флот приближается с враждебными намерениями. Но скоро его опасения исчезли. С каждым шагом пролив становился мельче, и меня можно было даже слышать с берега. Тогда, подняв вверх конец веревок, к которым был привязан флот, я громко закричал: *Да здравствует могущественнейший император Лилипутии*! Когда я ступил на берег, великий монарх осыпал меня всяческими похвалами и тут же пожаловал мне титул *нардака*, самый высокий в государстве.

Его величество выразил желание, чтобы я нашел случай захватить и привести в его гавани все остальные корабли неприятеля. Честолюбие

монархов так безмерно, что император задумал, по-видимому, не больше не меньше, как обратить всю империю Блефуску в собственную провинцию и управлять ею через своего наместника, истребив укрывающихся там Тупоконечников и принудив всех блефускуанцев разбивать яйца с острого конца, вследствие чего он стал бы единственным властителем вселенной. Но я всячески старался отклонить императора от этого намерения, приводя многочисленные доводы, подсказанные мне как политическими соображениями, так и чувством справедливости; в заключение я решительно заявил, что никогда не соглашусь быть орудием порабощения храброго и свободного народа. Когда этот вопрос поступил на обсуждение государственного совета, то самые мудрые министры оказались на моей стороне.

Мое смелое и откровенное заявление до такой степени противоречило политическим планам его императорского величества, что он никогда не мог простить мне его. Его величество очень искусно дал понять это в совете, где, как я узнал, мудрейшие его члены были, по-видимому, моего мнения, хотя и выражали это только молчанием; другие же, мои тайные враги, не могли удержать-

ся от некоторых замечаний, косвенным образом направленных против меня. С этого времени со стороны его величества и злобствующей против меня группы министров начались происки, которые менее чем через два месяца едва не погубили меня окончательно. Так, величайшие услуги, оказываемые монархам, не в силах перетянуть на свою сторону чашу весов, если на другую бывает положен отказ в потворстве их страстям.

Спустя три недели после описанного подвига от императора Блефуску прибыло торжественное посольство с покорным предложением мира, каковой вскоре был заключен на условиях, в высшей степени выгодных для нашего императора, но я не буду утомлять ими внимание читателя. Посольство состояло из шести посланников и около пятисот человек свиты; кортеж отличался большим великолепием и вполне соответствовал величию монарха и важности миссии. По окончании мирных переговоров, в которых я благодаря моему тогдашнему действительному или, по крайней мере, кажущемуся влиянию при дворе оказал немало услуг посольству, их превосходительства, частным образом осведомленные о моих дружественных чувствах, удостоили меня официальным посещением. Они начали с любез-

ностей по поводу моих храбрости и великодушия, затем от имени императора пригласили посетить их страну и, наконец, попросили показать им несколько примеров моей удивительной силы, о которой они наслышались столько чудесного. Я с готовностью согласился исполнить их желание, но не стану утомлять читателя описанием подробностей.

Позабавив в течение некоторого времени их превосходительства к большому их удовольствию и удивлению, я попросил послов засвидетельствовать мое глубокое почтение его величеству, их повелителю, слава о доблестях которого по справедливости наполняла весь мир восхищением, и передать мое твердое решение лично посетить его перед возвращением в мое отечество. Вследствие этого в первой же аудиенции у нашего императора я попросил его соизволения на посещение блефускуанского монарха; император хотя и дал свое согласие, но высказал при этом явную ко мне холодность, причину которой я не мог понять до тех пор, пока одно лицо не сказало мне по секрету, что Флимнап и Болголам изобразили перед императором мои сношения с посольством как акт нелояльности, хотя я могу поручиться, что совесть моя

в этом отношении была совершенно чиста. Тут впервые у меня начало складываться некоторое представление о том, что такое министры и дворы.

Необходимо заметить, что послы разговаривали со мною при помощи переводчика. Язык блефускуанцев настолько же отличается от языка лилипутов, насколько разнятся между собою языки двух европейских народов. При этом каждая из этих наций гордится древностью, красотой и выразительностью своего языка, относясь с явным презрением к языку своего соседа. И наш император, пользуясь преимуществами своего положения, созданного захватом неприятельского флота, обязал посольство представить верительные грамоты и вести переговоры на лилипутском языке. Впрочем, надо заметить, что оживленные торговые сношения между двумя государствами, гостеприимство, оказываемое изгнанникам соседнего государства как Лилипутией, так и Блефуску, а также обычай посылать молодых людей из знати и богатых помещиков к соседям с целью отшлифоваться, посмотрев свет и ознакомившись с жизнью и нравами людей, приводят к тому, что здесь редко можно встретить образованного дворянина, моряка

или купца из приморского города, который бы не говорил на обоих языках. В этом я убедился через несколько недель, когда отправился засвидетельствовать свое почтение императору Блефуску. Среди великих несчастий, постигших меня благодаря злобе моих врагов, это посещение оказалось для меня очень благодетельным, о чем я расскажу в своем месте.

Читатель, может быть, помнит, что в числе условий, на которых мне была дарована свобода, были очень для меня унизительные и неприятные, и только крайняя необходимость заставила меня принять их. Но теперь, когда я носил титул *нардака*, самый высокий в империи, взятые мной обязательства роняли бы мое достоинство, и, надо отдать справедливость императору, он ни разу мне о них не напомнил. Однако незадолго перед тем мне представился случай оказать его величеству, как, по крайней мере, мне тогда казалось, выдающуюся услугу. Раз в полночь у дверей моего жилья раздались крики тысячной толпы; я в ужасе проснулся и услышал непрестанно повторяемое слово борглум. Несколько придворных, пробившись сквозь толпу, умоляли меня явиться немедленно во дворец, так как покои ее императорского величества были объяты пламе-

нем по небрежности одной фрейлины, которая заснула за чтением романа, не погасив свечи. В один миг я был на ногах. Согласно отданному приказу, дорогу для меня очистили; кроме того, ночь была лунная, так что мне удалось добраться до дворца, никого не растоптав по пути. К стенам горевших покоев уже были приставлены лестницы и было принесено много ведер, но вода была далеко. Ведра эти были величиной с большой наперсток, и бедные лилипуты с большим усердием подавали их мне; однако пламя было так сильно, что это усердие приносило мало пользы. Я мог бы легко потушить пожар, накрыв дворец своим кафтаном, но к несчастью, я второпях успел надеть только кожаную куртку. Дело казалось в самом плачевном и безнадежном положении, и этот великолепный дворец, несомненно, сгорел бы дотла, если бы благодаря необычному для меня присутствию духа я внезапно не придумал средства спасти его. Накануне вечером я выпил много превосходнейшего вина, известного под названием *лимигрим* (блефускуанцы называют его *флюнек*, но наши сорта выше), которое отличается сильным мочегонным действием. По счастливейшей случайности я еще ни разу не облегчился от выпитого. Между тем жар от

пламени и усиленная работа по его тушению подействовали на меня и обратили вино в мочу; я выпустил ее в таком изобилии и так метко, что в какие-нибудь три минуты огонь был совершенно потушен, и остальные части величественного здания, воздвигавшегося трудом нескольких поколений, были спасены от разрушения.

Между тем стало совсем светло, и я возвратился домой, не ожидая благодарности от императора, потому что хотя я оказал ему услугу великой важности, но не знал, как его величество отнесется к способу, каким она была оказана, особенно если принять во внимание основные законы государства, по которым никто, в том числе и самые высокопоставленные особы, не имел права мочиться в ограде дворца, под страхом тяжелого наказания. Однако меня немного успокоило сообщение его величества, что он прикажет великому юстициарию вынести официальное постановление о моем помиловании, которого, впрочем, я никогда не добился. С другой стороны, меня конфиденциально уведомили, что императрица, страшно возмущенная моим поступком, переселилась в самую отдаленную часть дворца, твердо решив не отстраивать прежнего своего помещения; при этом она в присутствии своих

приближенных поклялась отомстить мне.

Глава VI

О жителях Лилипутии; их наука, законы и обычаи; система воспитания детей.

Образ жижи автора в этой стране.

Реабилитирование им одной знатной дамы

Хотя подробному описанию этой империи я намерен посвятить особое исследование, тем не менее для удовлетворения любознательного читателя я уже теперь выскажу о ней несколько общих замечаний. Средний рост туземцев немного выше шести дюймов, и ему точно соответствует величина как животных, так и растений: например, лошади и быки не бывают там выше четырех или пяти дюймов, а овцы выше полутора дюймов; гуси равняются нашему воробью, и так далее вплоть до самых крохотных созданий, которые были для меня почти невидимы. Но природа приспособила зрение лилипутов к окружающим их предметам: они хорошо видят, но на небольшом расстоянии. Вот представление об остроте их зрения по отношению к близким

предметам: большое удовольствие доставило мне наблюдать повара, ощипывавшего жаворонка, величиной не больше нашей мухи, и девушку, вдевавшую шелковинку в ушко невидимой иголки. Самые высокие деревья в Лилипутии не больше семи футов; я имею в виду деревья в большом королевском парке, верхушки которых я едва мог достать, протянув руку. Вся остальная растительность имеет соответственные размеры; но я предоставляю самому читателю произвести расчеты.

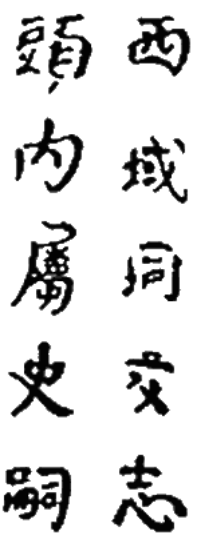
Сейчас я ограничусь лишь самыми беглыми замечаниями об их науке, которая в течение веков процветает у этого народа во всех отраслях. Обращу только внимание на весьма оригинальную манеру их письма: лилипуты пишут не так. как европейцы — слева направо.

Inimitablement, Incomparablement.

не так, как арабы — справа налево,

لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن
ظهورهم ولا هم ينصرون

не так, как китайцы — сверху вниз,



но как английские дамы — наискось страницы, от одного ее угла к другому.

Лилипуты хоронят умерших, кладя тело го-

ловою вниз, ибо держатся мнения, что через одиннадцать тысяч лун мертвые воскреснут; и так как в это время земля (которую лилипуты считают плоской) перевернется вверх дном, то мертвые при своем воскресении окажутся стоящими прямо на ногах. Ученые признают нелепость этого верования; тем не менее в угоду простому народу обычай сохраняется и до сих пор.

В этой империи существуют весьма своеобразные законы и обычаи, и, не будь они полной противоположностью законам и обычаям моего любезного отечества, я попытался бы выступить их защитником. Желательно только, чтобы они строго применялись на деле. Прежде всего укажу на закон о доносчиках. Все государственные преступления караются здесь чрезвычайно строго; но если обвиняемый докажет во время процесса свою невиновность, то обвинитель немедленно подвергается позорной казни, и с его движимого и недвижимого имущества взыскивается в четырехкратном размере в пользу невинного за потерю времени, за опасность, которой он подвергался, за лишения, испытанные им во время тюремного заключения, и за все расходы, которых ему стоила защита. Если этих средств

окажется недостаточно, они щедро дополняются за счет короны. Кроме того, император жалует освобожденного каким-нибудь публичным знаком своего благоволения, и по всему государству объявляется о его невиновности.

Лилипуты считают мошенничество более тяжким преступлением, чем воровство, и потому только в редких случаях оно не наказывается смертью. При известней осторожности, бдительности и небольшой дозе здравого смысла, рассуждают они, всегда можно уберечь имущество от вора, но у честного человека нет защиты от ловкого мошенника; и так как при купле и продаже постоянно необходимы торговые сделки, основанные на кредите и доверии, то в условиях, когда существует попустительство обману и он не наказывается законом, честный коммерсант всегда страдает, а плут окажется в выигрыше. Я вспоминаю, что однажды я ходатайствовал перед монархом за одного преступника, который обвинялся в хищении большой суммы денег, полученной им по поручению хозяина, и в побеге с этими деньгами; когда я выставил перед его величеством как смягчающее вину обстоятельство то, что в данном случае было только злоупотребление доверием, император нашел чудовищным,

что я привожу в защиту обвиняемого довод, как раз отягчающий его преступление; на это, говоря правду, мне нечего было возразить, и я ограничился шаблонным замечанием, что у различных народов различные обычаи; надо признаться, я был сильно сконфужен.

Хотя мы и называем обыкновенно награду и наказание двумя шарнирами, на которых вращается вся правительственная машина, но нигде, кроме Лилипутии, я не встречал применения этого принципа на практике. Всякий представивший достаточное доказательство того, что он в точности соблюдал законы страны в течение семи лун, получает там право на известные привилегии, соответствующие его званию и общественному положению, и ему определяется соразмерная денежная сумма из фондов, специально на этот предмет назначенных; вместе с тем такое лицо получает титул *снильпела*, то есть блюстителя законов; этот титул прибавляется к его фамилии, но не переходит в потомство. И когда я рассказал лилипутам, что исполнение наших законов гарантируется только страхом наказания и нигде не упоминается о награде за их соблюдение, лилипуты сочли это огромным недостатком нашего управления. Вот почему в

здешних судебных учреждениях справедливость изображается в виде женщины с шестью глазами — два спереди, два сзади и по одному с боков, — что означает ее бдительность; в правой руке она держит открытый мешок золота, а в левой — меч в ножнах в знак того, что она готова скорее награждать, чем карать.

При выборе кандидатов на любую должность больше внимания обращается на нравственные качества, чем на умственные дарования. Лилипуты думают, что раз уж человечеству необходимы правительства, то все люди, обладающие средним умственным развитием, способны занимать ту или другую должность, и что провидение никогда не имело в виду создать из управления общественными делами тайну, в которую способны проникнуть только весьма немногие великие гении, рождающиеся не более трех в столетие. Напротив, они полагают, что правдивость, умеренность и подобные качества доступны всем и что упражнение в этих добродетелях вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему отечеству в той или другой должности, за исключением тех, которые требуют специальных знаний. По их мнению, самые высокие умствен-

ные дарования не могут заменить нравственных достоинств, и нет ничего опаснее поручения должностей даровитым людям, ибо ошибка, совершенная по невежеству человеком, исполненным добрых намерений, не может иметь таких роковых последствий для общественного блага, как деятельность человека с порочными наклонностями, одаренного уменьем скрывать свои пороки, умножать их и безнаказанно предаваться им.

Точно так же неверие в божественное провидение делает человека непригодным к занятию общественной должности. И в самом деле, лилипуты думают, что раз монархи называют себя посланниками провидения, то было бы в высшей степени нелепо назначать на правительственные места людей, отрицающих авторитет, на основании которого действует монарх.

Описывая как эти, так и другие законы империи, о которых будет речь дальше, я хочу предупредить читателя, что мое описание касается только исконных установлений страны, не имеющих ничего общего с современною испорченностью нравов, являющейся результатом глубокого вырождения. Так, например, известный уже читателю позорный обычай назначать

на высшие государственные должности людей, искусно танцующих на канате, и давать знаки отличия тем, кто перепрыгнет через палку или проползет под нею, впервые был введен дедом ныне царствующего императора и теперешнего своего развития достиг благодаря непрестанному росту партий и группировок.

Неблагодарность считается у них уголовным преступлением (из истории мы знаем, что такой взгляд существовал и у других народов), и лилипуты по этому поводу рассуждают так: раз человек способен платить злом своему благодетелю, то он необходимо является врагом всех других людей, от которых он не получил никакого одолжения, и потому он достоин смерти.

Их взгляды на обязанности родителей и детей глубоко отличаются от наших. Исходя из того, что связь самца и самки основана на великом законе природы, имеющем цель размножение и продолжение вида, лилипуты полагают, что мужчины и женщины сходятся, как и остальные животные, руководясь вожделением, и что любовь родителей к детям проистекает из такой же естественной склонности; вследствие этого они не признают никаких обязательств ребенка ни к отцу за то, что тот произвел его, ни к мате-

ри за то, что та родила его, ибо, по их мнению, принимая во внимание бедствия человека на земле, жизнь сама по себе небольшое благо, да к тому же родители при создании ребенка вовсе не руководствуются намерением дать ему жизнь, и мысли их направлены в другую сторону. Опираясь на эти и подобные им рассуждения, лилипуты полагают, что воспитание детей менее всего может быть доверено их родителям, вследствие чего в каждом городе существуют общественные воспитательные заведения, куда обязаны отдавать своих детей обоего пола все, кроме крестьян и рабочих, и где они взращиваются и воспитываются с двадцатилунного возраста, то есть с того времени, когда, по предположению лилипутов, у ребенка проявляются первые зачатки понятливости. Школы эти нескольких типов, соответственно общественному положению и полу детей. Воспитание и образование ведутся опытными педагогами, которые готовят детей к роду жизни, соответствующей положению их родителей и их собственным наклонностям и способностям. Сначала я скажу несколько слов о воспитательных заведениях для мальчиков, а потом о воспитательных заведениях для девочек.

Воспитательные заведения для мальчиков

благородного или знатного происхождения находятся под руководством солидных и образованных педагогов и их многочисленных помощников. Одежда и пища детей отличаются скромностью и простотой. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости; в них развивают скромность, милосердие, религиозные чувства и любовь к отечеству. Они всегда за делом, кроме времени, потребного на еду и сон, очень непродолжительного, и двух рекреационных часов, которые посвящаются телесным упражнениям. До четырех лет детей одевает и раздевает прислуга, но начиная с этого возраста, то и другое они делают сами, каким бы знатным ни было их происхождение. Служанки, которых берут не моложе пятидесяти лет (переводя на наши годы), исполняют только самые низкие работы. Детям никогда не позволяют разговаривать с прислугой, и во время отдыха они играют группами, всегда в присутствии воспитателя или его помощника. Таким образом, они ограждены от ранних впечатлений глупости и порока, которым предоставлены наши дети. Родителям разрешают свидания со своими детьми только два раза в год, каждое свидание продолжается не более часа. Им позволяется целовать ребенка

только при встрече и прощанье; но воспитатель, неотлучно присутствующий в таких случаях, не позволяет им шептать на ухо, говорить ласковые слова и приносить в подарок игрушки, лакомства и тому подобное.

Если родители не вносят своевременно платы за содержание и воспитание своих детей, то эта плата взыскивается с них правительственными чиновниками.

Воспитательные заведения для детей рядового дворянства, купцов и ремесленников устроены по тому же образцу, с тою разницею, что дети, предназначенные быть ремесленниками, с одиннадцати лет обучаются мастерству, между тем как дети знатных особ продолжают общее образование до пятнадцати лет, что соответствует нашему двадцати одному году. Однако строгости школьной жизни постепенно ослабляются в последние три года.

В женских воспитательных заведениях девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики, только вместо слуг их одевают и раздевают благонравные няни, но всегда в присутствии воспитательницы или ее помощницы; по достижении пяти лет девочки одеваются сами. Если бывает замечено,

что няня позволила себе рассказать девочкам какую-нибудь страшную или нелепую сказку или позабавить их какой-нибудь глупой выходкой, которые так обыкновенны у наших горничных, то виновная троекратно подвергается публичной порке кнутом, заключается на год в тюрьму и затем навсегда ссылается в самую безлюдную часть страны. Благодаря такой системе воспитания молодые дамы в Лилипутии так же стыдятся трусости и глупости, как и мужчины, и относятся с презрением ко всяким украшениям, за исключением благопристойности и опрятности. Я не заметил никакой разницы в их воспитании, обусловленной различием пола; только физические упражнения для девочек более легкие да курс наук для них менее обширен, но зато им преподаются правила ведения домашнего хозяйства. Ибо там принято думать, что и в высших классах жена должна быть разумной и милой подругой мужа, так как ее молодость не вечна. Когда девице исполняется двенадцать лет, то есть наступает по-тамошнему пора замужества, в школу являются ее родители или опекуны и, принеся глубокую благодарность воспитателям, берут ее домой, причем прощание молодой девушки с подругами редко обходится без слез.

В воспитательных заведениях для девочек низших классов детей обучают всякого рода работам, подобающим их полу и общественному положению. Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до семи лет, а остальные до одиннадцати.

Семьи низших классов вносят казначею, кроме годовой платы, крайне незначительной, небольшую часть своего месячного заработка; из этих взносов образуется приданое для дочери. Таким образом, расходы родителей ограничены здесь законом, ибо лилипуты думают, что было бы крайне несправедливо позволить человеку, в угождение своим инстинктам, производить на свет детей и потом возложить на общество бремя их содержания. Что же касается знатных лиц, то они дают обязательство положить на каждого ребенка известный капитал, соответственно своему общественному положению; этот капитал всегда сохраняется бережно и в полной неприкосновенности.

Крестьяне и рабочие держат своих детей дома; так как они занимаются лишь возделыванием и обработкой земли, то их образование не имеет особенного значения для общества. Но больные и старики содержатся в богадельнях, ибо про-

шение милостыни есть занятие, неизвестное в империи.

Но, быть может, любознательному читателю будут интересны некоторые подробности относительно моих занятий и образа жизни в этой стране, где я пробыл девять месяцев и тринадцать дней. Принужденный обстоятельствами, я нашел применение своей склонности к механике и сделал себе довольно удобные стол и стул из самых больших деревьев королевского парка. Двум сотням швей было поручено изготовление для меня рубах, постельного и столового белья из самого прочного и грубого полотна, какое только они могли достать; но и его им пришлось стегать, сложив в несколько раз, потому что самое толстое тамошнее полотно тоньше нашей кисеи. Куски этого полотна бывают обыкновенно в три дюйма ширины и три фута длины. Белошвейки сняли с меня мерку, когда я лежал на земле; одна из них стала у моей шеи, другая у колена, и они протянули между собою веревку, взяв каждая за ее конец, третья же смерила длину веревки линейкой в один дюйм. Затем они смерили большой палец правой руки, чем и ограничились; посредством математического расчета, основанного на том, что окружность кисти вдвое больше окружности

пальца, окружность шеи вдвое больше окружности кисти, а окружность талии вдвое больше окружности шеи, и при помощи моей старой рубахи, которую я разостлал на земле перед ними как образец, они сшили мне белье как раз по росту. Точно так же тремстам портным было поручено сшить мне костюм, но для снятия мерки они прибегли к другому приему. Я стал на колени, и они приставили к моему туловищу лестницу; по этой лестнице один из них взобрался до моей шеи и опустил отвес от воротника до полу, что и составило длину моего кафтана; рукава и талию я смерил сам. Когда костюм был готов (а шили его в моем замке, так как самый большой их дом не вместил бы его), то своим видом он очень напоминал одеяла, изготовляемые английскими дамами из лоскутков материи, с той только разницей, что не пестрел разными цветами.

Стряпали мне триста поваров в маленьких удобных бараках, построенных вокруг моего дома, где они и жили со своими семьями, и обязаны были готовить мне по два блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал в руку двадцать лакеев и ставил их себе на стол; сотня их товарищей прислуживала внизу на полу: одни носили кушанья, другие таскали на плечах бочонки с вином и всевозмож-

ными напитками: лакеи, стоявшие на столе, по мере надобности очень искусно поднимали все это на особых блоках, вроде того как у нас в Европе поднимают ведра воды из колодца. Каждое их блюдо я проглатывал в один прием, каждый бочонок вина осушал одним глотком. Их баранина по вкусу уступает нашей, но зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филея, что пришлось разрезать его на три части, но это исключительный случай. Слуги бывали очень изумлены, видя, что я ем говядину с костями, как у нас едят жаворонков. Здешних гусей и индеек я проглатывал обыкновенно в один прием, и, надо отдать справедливость, птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по двадцати или тридцати штук зараз.

Его величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что он будет счастлив (так было угодно ему выразиться) отобедать со мною, в сопровождении августейшей супруги и молодых принцев и принцесс. Когда они прибыли, я поместил их на столе против себя в парадных креслах, с личной охраной по сторонам. В числе гостей был также лорд-канцлер казначейства Флимнап, с белым жезлом в руке; я часто ловил

его недоброжелательные взгляды, но делал вид, что не замечаю их, и ел более обыкновенного во славу моей дорогой родины и на удивление двору. У меня есть некоторые основания думать, что это посещение его величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах своего государя. Означенный министр всегда был тайным моим врагом, хотя наружно обходился со мною гораздо ласковее, чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава. Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства, сказав, что вынужден был прибегнуть к займу за большие проценты; что курс банковых билетов упал на девять процентов ниже альпари; что мое содержание обошлось его величеству более чем в полтора миллиона *спругов* (самая крупная золотая монета у лилипутов, величиною в маленькую блестку) и, наконец, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы воспользовался первым благоприятным случаем для высылки меня за пределы империи.

На мне лежит обязанность обелить честь одной невинно пострадавшей из-за меня почтенной дамы. Канцлеру казначейства пришла в голову фантазия приревновать ко мне свою супругу на основании сплетен, пущенных в ход злыми язы-

ками, которые говорили ему, будто ее светлость воспылала безумной страстью к моей особе; много скандального шума наделал при дворе слух, будто раз она тайно приезжала ко мне. Я торжественно заявляю, что все это самая бесчестная клевета, единственным поводом к которой послужило невинное изъявление дружеских чувств со стороны ее светлости. Она действительно часто подъезжала к моему дому, но это делалось всегда открыто, причем с ней в карете сидели еще три особы: сестра, дочь и подруга; таким же образом ко мне приезжали и другие придворные дамы. В качестве свидетелей призываю моих многочисленных слуг: пусть кто-нибудь из них скажет, видел ли он у моих дверей карету, не зная, кто находится в ней. Обыкновенно в подобных случаях я немедленно выходил к двери после доклада моего слуги; засвидетельствовав свое почтение прибывшим, я осторожно брал в руки карету с парой лошадей (если она была запряжена шестеркой, форейтор всегда отпрягал четырех) и ставил ее на стол, который я окружил передвижными перилами вышиной в пять дюймов для предупреждения несчастных случайностей. Часто на моем столе стояли разом четыре запряженные кареты, наполненные элегантными дамами. Сам

я садился в свое кресло и наклонялся к ним. В то время, как я разговаривал таким образом с одной каретой, другие тихонько кружились по моему столу. Много послеобеденных часов провел я очень приятно в таких разговорах, однако ни канцлеру казначейства, ни двум его соглядатаям Клестрилю и Дренло (пусть они делают что угодно, а я назову их имена) никогда не удастся доказать, чтобы ко мне являлся кто-нибудь инкогнито, кроме государственного секретаря Рельдреселя, посетившего меня раз по специальному повелению его императорского величества, как рассказано об этом выше.

Я бы не останавливался так долго на этих подробностях, если бы вопрос не касался так близко доброго имени высокопоставленной дамы, не говоря уже о моем собственном, хотя я и имел честь носить титул нардака, которого не имел сам канцлер казначейства, ибо всем известно, что он только глюм-глюм, а этот титул в такой же степени ниже моего, в какой титул маркиза в Англии ниже титула герцога; впрочем, я согласен признать, что занимаемый им пост ставит его выше меня. Эти наветы, о которых я узнал впоследствии по одному не стоящему упоминания случаю, на некоторое время озлобили канцлера

казначейства Флимнапа против его жены и еще пуще против меня. Хотя он вскоре и примирился с женой, убедившись в своем заблуждении, однако я навсегда потерял его уважение и вскоре увидел, что положение мое пошатнулось также в глазах самого императора, который находился под сильным влиянием своего фаворита.

Глава VII

Автор, будучи осведомлен о замысле обвинить его в государственной измене, предпринимает побег в Блефусху.

Прием, оказанный ему там

Прежде чем рассказать, каким образом я оставил это государство, пожалуй, уместно посвятить читателя в подробности тайных происков, которые в течение двух месяцев велись против меня.

Благодаря своему низкому положению я жил до сих пор вдали от королевских дворов. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов; но никогда не ожидал встретить такое ужасное действие их в столь отдаленной стране, управляемой, как я думал, в духе правил, совсем не похожих на те, которыми руководятся в Европе.

Как раз когда я готовился отправиться к императору Блефуску, одна значительная при дворе особа (которой я оказал очень существенную услугу в то время, когда она была в большой немилости у его императорского величества) тай-

но прибыла ко мне поздно вечером в закрытом портшезе и, не называя себя, просила принять ее. Носильщики были отосланы, и я положил портшез вместе с его превосходительством в карман своего кафтана, после чего, приказав одному верному слуге говорить каждому, что мне нездоровится и что я пошел спать, я запер за собою дверь, поставил портшез на стол и сел на стул против него.

Когда мы обменялись взаимными приветствиями, я заметил большую озабоченность на лице его превосходительства и пожелал узнать о ее причине. Тогда он попросил выслушать его терпеливо, так как дело касалось моей чести и жизни, и обратился ко мне со следующей речью, которую тотчас же по его уходе я в точности записал.

Надо вам сказать, начал он, что в последнее время относительно вас происходило в страшной тайне несколько совещаний особых комитетов, и два дня тому назад его величество принял окончательное решение.

Вы прекрасно знаете, что почти со дня вашего прибытия сюда Скайреш Болголам (гельбет, или верховный адмирал) стал вашим смертельным врагом. Мне неизвестна первоначальная причина этой вражды, но его ненависть особенно

усилилась после великой победы, одержанной вами над Блефуску, которая сильно помрачила его славу адмирала. Этот сановник, в сообществе с Флимнапом, канцлером казначейства, неприязнь которого к вам из-за жены всем известна, генералом Лимтоком, обер-гофмейстером Лелькеном и верховным судьей Бельмафом, приготовил акт, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях.

Это вступление настолько взволновало меня, что я, зная свои заслуги и свою невиновность, от нетерпения чуть было не прервал оратора, но он умолял меня сохранять молчание и продолжал так:

— Руководствуясь чувством глубокой благодарности за оказанные вами услуги, я добыл подробные сведения об этом деле и копию обвинительного акта, рискуя поплатиться за это своей головой.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АКТ ПРОТИВ

КУИНБУС ФЛЕСТРИНА ЧЕЛОВЕКА ГОРЫ

II. 1

Принимая во внимание, что, хотя законом, изданным в царствование его императорского величества Келина Де-

фара Плюне, постановлено, что всякий, кто будет мочиться в ограде королевского дворца, подлежит карам и наказаниям как за оскорбление величества; однако, невзирая на это, упомянутый Куинбус Флестрин, в явное нарушение упомянутого закона, под предлогом тушения пожара, охватившего покои любезной супруги его императорского величества, злобно, предательски и дьявольски выпустив мочу, погасил упомянутый пожар в упомянутых покоях, находящихся в ограде упомянутого королевского дворца, вопреки существующему на этот предмет закону, в нарушение долга и пр. и пр.

II. 2

Что упомянутый Куинбус Флестрин, приведя в императорский порт флот императора Блефуску и получив повеление от его императорского величества захватить все остальные корабли упомянутой империи Блефуску, с тем чтобы обратить эту империю в провинцию под управлением нашего наместника, уничтожить и казнить не только всех укрывающихся там Тупоконечников, но и

всех подданных этой империи, которые не отступятся немедленно от тупоконечной ереси, – упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, подал прошение его благосклоннейшему и светлейшему императорскому величеству избавить его, Флестрина, от исполнения упомянутого поручения под предлогом нежелания применять насилие в делах совести и уничтожать вольности невинного народа.

II. 3

Что, когда прибыло известное посольство от двора Блефуску ко двору его величества просить мира, он, упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, помогал, поощрял, одобрял и увеселял упомянутых послов, хорошо тая, что они слуги монарха, который так недавно был открытым врагом его императорского величества и вел открытую войну с упомянутым величеством.

II. 4

Что упомянутый Куинбус Флестрин, в противность долгу верноподданного, собирается теперь совершить путеше-

ствие ко двору и в империю Блефуску, на которое получил только лишь словесное соизволение его императорского величества, и что, под предлогом упомянутого соизволения, он имеет намерение вероломно и изменнически совершить упомянутое путешествие с целью оказать помощь, ободрить и поощрить императора Блефуску, так недавно бывшего врагом вышеупомянутого его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне.

В обвинительном акте есть еще пункты, но прочтенные мною в извлечении наиболее существенны.

Надо признаться, что во время долгих прений по поводу этого обвинения его величество проявил к вам большую снисходительность, весьма часто ссылаясь на ваши заслуги перед ним и стараясь смягчить ваши преступления. Канцлер казначейства и адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти. Они предложили поджечь ночью ваш дом, поручив генералу вывести двадцатитысячную армию, вооруженную отравленными

стрелами, предназначенными для вашего лица и рук. Возникла также мысль дать тайное повеление некоторым вашим слугам напитать ваши рубахи и простыни ядовитым соком, который скоро заставил бы вас разодрать ваше тело и причинил бы вам самую мучительную смерть. Генерал присоединился к этому мнению, так что в течение долгого времени большинство было против вас. Но его величество, решив по возможности щадить вашу жизнь, в заключение привлек на свою сторону обер-гофмейстера.

В разгар этих прений Рельдресель, главный секретарь по тайным делам, который всегда выказывал себя вашим истинным другом, получил повеление его императорского величества изложить свою точку зрения, что он и сделал, вполне оправдав ваше доброе о нем мнение. Он признал, что ваши преступления велики, но что они все же оставляют место для милосердия, этой величайшей добродетели монархов, которая так справедливо украшает его величество. Он сказал, что существующая между ним и вами дружба известна всякому, и потому высокопочтенное собрание, может быть, найдет его мнение пристрастным; однако, повинуясь полученному приказанию его величества, он

откровенно изложит свои мысли; что если его величеству благоугодно будет, во внимание к вашим заслугам и согласно свойственной ему доброте, пощадить вашу жизнь и удовольствоваться повелением выколоть вам оба глаза, то он смиренно полагает, что такая мера, удовлетворив в некоторой степени правосудие, в то же время приведет в восхищение весь мир, который будет приветствовать столько же кротость монарха, сколько благородство и великодушие лиц, имеющих честь быть его советниками; что потеря глаз не нанесет никакого ущерба вашей физической силе, благодаря которой вы еще можете быть полезны его величеству; что слепота, скрывая от вас опасность, только увеличит вашу храбрость; что боязнь потерять зрение была для вас главной помехой при захвате неприятельского флота и что вам достаточно будет смотреть на все глазами министров, раз этим довольствуются даже величайшие монархи.

Это предложение было встречено высоким собранием с крайним неодобрением. Адмирал Болголам не в силах был сохранить хладнокровие; в бешенстве вскочив с места, он сказал, что удивляется, как осмелился секретарь подать голос за сохранение жизни изменника; что оказанные

вами услуги, по соображениям государственной безопасности, еще более отягощают ваши преступления; что раз вы были способны простым мочеиспусканием (о чем он говорил с отвращением) потушить пожар в покоях ее величества, то в другое время вы будете способны таким же образом вызвать наводнение и затопить весь дворец; что та самая сила, которая позволила вам захватить неприятельский флот, при первом вашем неудовольствии послужит на то, что вы отведете этот флот обратно; что у него есть веские основания думать, что в глубине души вы — тупоконечник; и так как измена зарождается в сердце прежде, чем проявляет себя в действии, то он обвинил вас на этом основании в измене и настаивал, чтобы вы были казнены.

Канцлер казначейства был того же мнения: он показал, до какого оскудения доведена казна его величества благодаря лежащему на ней тяжелому бремени содержать вас, которое скоро станет невыносимым, и предложение секретаря выколоть вам глаза не только не вылечит от этого зла, но, по всей вероятности, усугубит его, ибо, как свидетельствует опыт, некоторые домашние птицы после ослепления едят больше и скорее жиреют; и если его священное величество

и члены совета, ваши судьи, обращаясь к своей совести, пришли к твердому убеждению в вашей виновности, то это является достаточным основанием приговорить вас к смерти, не затрудняясь подысканием формальных доказательств, требуемых буквой закона.

Но его императорское величество решительно высказался против смертной казни, милостиво изволив заметить, что если совет находит лишение вас зрения приговором слишком мягким, то всегда будет время вынести другой, более суровый. Тогда ваш друг секретарь, почтительно испросив позволение выслушать его возражения на замечания канцлера казначейства касательно тяжелого бремени, которым ложится ваше содержание на казну его величества, сказал: так как доходы его величества всецело находятся в распоряжении его превосходительства, то ему нетрудно будет принять меры против этого зла путем постепенного уменьшения расходов на ваше иждивение; таким образом, вследствие недостаточного количества пищи вы станете слабеть, худеть, потеряете аппетит и зачахнете в несколько месяцев; такая мера будет иметь еще и то преимущество, что разложение вашего трупа станет менее опасным, так как тело ваше

уменьшится в объеме больше чем наполовину, и немедленно после вашей смерти пять или шесть тысяч подданных его величества смогут в два или три дня отделить мясо от костей, сложить его в телеги, увезти и закопать за городом во избежание заразы, а скелет сохранить как памятник, на удивление потомству.

Таким образом, благодаря чрезвычайно дружескому расположению к вам секретаря, удалось прийти к компромиссному решению вашего дела. Было строго приказано сохранить в тайне план постепенно заморить вас голодом; приговор же о вашем ослеплении занесен в книги по единогласному решению членов совета, за исключением адмирала Болголама, креатуры императрицы, который, благодаря непрестанным подстрекательствам ее величества, настаивал на вашей смерти; императрица же затаила на вас злобу из-за гнусного и незаконного способа, которым вы потушили пожар в ее покоях.

Через три дня ваш друг секретарь получит повеление явиться к вам и прочитать все эти пункты обвинительного акта; при этом он объяснит, насколько велики снисходительность и благосклонность к вам его величества и государственного совета, благодаря которым вы

приговорены только к ослеплению, и его величество не сомневается, что вы покорно и с благодарностью подчинитесь этому приговору; двадцать хирургов его величества назначены наблюдать за надлежащим совершением операции при помощи очень тонко заостренных стрел, которые будут пущены в ваши глазные яблоки в то время, когда вы будете лежать на земле.

Засим, предоставляя вашему благоразумию позаботиться о принятии соответствующих мер, я должен, во избежание подозрений, немедленно удалиться так же тайно, как прибыл сюда.

С этими словами его превосходительство покинул меня, и я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями.

У лилипутов существует обычай, заведенный нынешним императором и его министрами (очень непохожий, как меня уверяли, на то, что практиковалось в прежние времена): если в угоду мстительности монарха или злобе фаворита суд приговаривает кого-либо к жестокому наказанию, то император произносит в заседании государственного совета речь, изображающую его великое милосердие и доброту как качества, всем известные и всеми признанные. Речь немедленно оглашается по всей империи; и ничто так

не устрашает народ, как эти панегирики императорскому милосердию: ибо установлено, что чем они пространнее и велеречивее, тем бесчеловечнее было наказание и невиннее жертва. Однако должен признаться, что, не предназначенный ни рождением, ни воспитанием к роли придворного, я был плохой судья в подобных вещах и никак не мог найти признаков кротости и милосердия в моем приговоре, а, напротив (хотя, быть может, и несправедливо), считал его скорее суровым, чем мягким. Иногда мне приходило на мысль предстать лично перед судом и защищаться, ибо если я и не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, то все-таки надеялся, что они допускают некоторое смягчение приговора. Но, с другой стороны, судя по описаниям многочисленных политических процессов, о которых приходилось мне читать, все они оканчивались в смысле, желательном для судей, и я не решился вверить свою участь в таких критических обстоятельствах столь могущественным врагам. Меня очень соблазнила было мысль оказать сопротивление; я отлично понимал, что, покуда я пользовался свободой, все силы этой империи не могли бы одолеть меня, и я легко мог бы забросать камнями и обратить в развалины всю столицу;

но, вспомнив присягу, данную мной императору, все его милости ко мне и высокий титул нардака, которым он меня пожаловал, я тотчас с отвращением отверг этот проект. Я с трудом усваивал придворные взгляды на благодарность и никак не мог убедить себя, что теперешняя суровость его величества освобождает меня от всяких обязательств по отношению к нему.

Наконец я остановился на решении, за которое, вероятно, многие не без основания меня осудят. Ведь, надо признаться, я обязан сохранением своего зрения, а стало быть, и свободы, моей великой опрометчивости и неопытности. В самом деле, если бы в то время я знал так же хорошо нрав монархов и министров и их обращение с преступниками, гораздо менее виновными, чем был я, как я узнал это потом, наблюдая придворную жизнь в других государствах, я бы с величайшей радостью и готовностью подчинился столь легкому наказанию. Но я был молод и горяч; воспользовавшись разрешением его величества посетить императора Блефуску, я еще до окончания трехдневного срока послал моему другу секретарю письмо, в котором уведомлял его о своем намерении отправиться в то же утро в Блефуску согласно полученному мной разре-

шению. Не дожидаясь ответа, я направился к морскому берегу, где стоял на якоре наш флот. Захватив большой военный корабль, я привязал к его носу веревку, поднял якоря, разделся и положил свое платье в корабль (вместе с одеялом, которое принес в руке), затем, ведя корабль за собою, частью вброд, частью вплавь, я добрался до королевского порта Блефуску, где население уже давно ожидало меня. Мне дали двух проводников показать дорогу в столице Блефуску, носящую то же название, что и государство. Я нес их в руках, пока не подошел на двести ярдов к городским воротам; тут я попросил их известить о моем прибытии одного из государственных секретарей и передать ему, что я ожидаю приказаний его величества. Через час я получил ответ, что его величество в сопровождении августейшей семьи и высших придворных чинов выехал встретить меня. Я приблизился на сто ярдов. Император и его свита соскочили с лошадей, императрица и придворные дамы вышли из карет, и я не заметил у них ни малейшего страха или беспокойства. Я лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы. Я объявил его величеству, что прибыл сюда согласно моему обещанию и с соизволения императора, моего повелителя,

чтобы иметь честь лицезреть могущественнейшего монарха и предложить ему зависящие от меня услуги, если они не будут противоречить обязанностям верноподданного моего государя; я ни словом не упомянул о постигшей меня немилости, потому что, не получив еще официального уведомления, я вполне мог и не знать о замыслах против меня. С другой стороны, у меня было полное основание предполагать, что император не пожелает предать огласке мою опалу, если узнает, что я нахожусь вне его власти; однако скоро выяснилось, что я сильно ошибся в своих предположениях.

Не буду утомлять внимание читателя подробным описанием приема, оказанного мне при дворе императора Блефуску, который вполне соответствовал щедрости столь могущественного монарха. Не буду также говорить о неудобствах, которые я испытывал благодаря отсутствию подходящего помещения и постели: мне пришлось спать на голой земле, укрывшись своим одеялом.

Глава VIII

Благодаря счастливому случаю автор находит средство оставить императора Блефуску и после некоторых затруднений благополучно возвращается в свое отечество

Через три дня после прибытия в Блефуску, отправившись из любопытства на северо-восточный берег острова, я заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки и, пройдя вброд около двухсот или трехсот ярдов, увидел, что благодаря приливу предмет приближается; тут уже не оставалось никаких сомнений, что это настоящая лодка, оторванная бурей от какого-нибудь корабля. Я тотчас возвратился в город и попросил его императорское величество дать в мое распоряжение двадцать самых больших кораблей, оставшихся после потери флота, и три тысячи матросов под командой вице-адмирала. Флот пошел кругом острова, а я кратчайшим путем возвратился к тому месту берега, где обнаружил лодку; за это время прилив еще больше пригнал ее. Все матросы были

снабжены веревками, которые я предварительно ссучил в несколько раз для большей прочности. Когда прибыли корабли, я разделся и отправился к лодке вброд, но в ста ярдах от нее принужден был пуститься вплавь. Матросы бросили мне веревку, один конец которой я привязал к отверстию в передней части лодки, а другой — к одному из военных кораблей, но от всего этого было мало пользы, потому что, не доставая ногами дна, я не мог работать как следует. Ввиду этого мне пришлось подплыть к лодке и по мере сил подталкивать ее вперед одной рукой. С помощью прилива я достиг наконец такого места, где мог стать на ноги, погрузившись в воду до подбородка. Отдохнув две или три минуты, я продолжал подталкивать лодку до тех пор, пока вода не дошла у меня до подмышек. Когда, таким образом, самая трудная часть предприятия была исполнена, я взял остальные веревки, сложенные на одном из кораблей, и привязал их сначала к лодке, а потом к девяти сопровождавшим меня кораблям. Ветер был попутный, матросы тянули лодку на буксире, я подталкивал ее, и мы скоро подошли на сорок ярдов к берегу. Подождав отлива, когда лодка оказалась на суше, я при помощи двух тысяч человек, снабженных веревками и

машинами, перевернул лодку и нашел, что повреждения ее незначительны.

Не буду докучать читателю описанием затруднений, которые пришлось преодолеть, чтобы на веслах (работа над которыми отняла у меня десять дней) привести лодку в императорский порт Блефуску, куда при моем прибытии стеклась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я добрался на ней до места, откуда мне можно будет вернуться на родину; и я попросил его величество снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать дозволение на отъезд. После некоторых попыток убедить меня остаться император соизволил дать свое согласие.

Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов обо мне от нашего императора. Однако позднее мне частным образом сообщили, что его императорское величество, ни минуты не подозревая, что мне известны его намерения, усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, согласно данному на то дозволению, о котором было хорошо

известно всему нашему двору; он был уверен, что я возвращусь через несколько дней, когда церемония приема будет закончена. Но через некоторое время мое долгое отсутствие начало его беспокоить; посоветовавшись с канцлером казначейства и другими членами враждебной мне клики, он послал ко двору Блефуску одну знатную особу с копией моего обвинительного акта. Этот посланец имел инструкции поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, удовольствовавшегося наложением на меня такого легкого наказания, как ослепление, и объявить, что я бежал от правосудия и если в течение двух часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и объявлен изменником. Посланный прибавил, что, в видах сохранения мира и дружбы между двумя империями, его повелитель питает надежду, что брат его, император Блефуску, даст повеление отправить меня в Лилипутию связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену.

Император Блефуску после трехдневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает всю невозможность отправить меня в Лилипутию связанного по рукам и ногам; что,

хотя я и лишил его флота, он считает себя обязанным мне за множество добрых услуг, оказанных мною во время мирных переговоров; что, впрочем, оба монарха скоро вздохнут свободнее, так как я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море; что он отдал приказ снарядить этот корабль с моей помощью и по моим указаниям и надеется, что через несколько недель обе империи избавятся наконец от столь невыносимого бремени.

С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло, предлагая мне в то же время (но под строжайшим секретом) свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, если есть возможность обойтись без их помощи, и потому, выразив императору благодарность за его милостивое внимание, я почтительнейше просил его величество извинить меня и сказал, что хотя неизвестно, к счастью или невзгодам судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между двумя столь могущественными монархами. И я не

нашел, что императору не понравился этот ответ; напротив, я случайно узнал, что он остался очень доволен моим решением, как и большинство его министров.

Эти обстоятельства заставили меня поспешить и уехать скорее, чем я предполагал. Двор, в нетерпеливом ожидании моего отъезда, оказывал мне всяческое содействие. Пятьсот человек под моим руководством сделали два паруса для моей лодки, простегав для этого сложенное в тринадцать раз самое прочное тамошнее полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя, скручивая вместе по десяти, двадцати и тридцати самых толстых и прочных тамошних веревок. Большой камень, случайно найденный на берегу после долгих поисков, послужил мне якорем. Мне дали жир трехсот коров для смазки лодки и других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на весла и мачты; в изготовлении их мне оказали, впрочем, большую помощь корабельные плотники его величества, которые выравнивали и обчищали то, что мною было сделано вчерне.

По прошествии месяца, когда все было готово, я отправился в столицу получить приказания его величества и попрощаться с ним. Император с

августейшей семьей вышли из дворца; я пал ниц, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне; то же сделали императрица и все принцы крови. Его величество подарил мне пятьдесят кошельков с двумястами *спругов* в каждом, свой портрет во весь рост, который я тотчас спрятал себе в перчатку для большей сохранности. Но весь церемониал моего отъезда был так сложен, что сейчас я не буду утомлять читателя его описанием.

Я погрузил в лодку сто воловьих и триста бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли приготовить четыреста поваров. Кроме того, я взял с собою шесть живых коров, двух быков и столько же овец с баранами, чтобы привезти их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собою большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увезти с собою с десяток туземцев, но император ни за что не согласился на это; не довольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, его величество обязал меня честным словом не брать с собою никого из его подданных даже с их согласия и по их желанию.

Приготовившись, таким образом, как можно

лучше к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в шесть часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около четырех лиг по направлению к северу, в шесть часов вечера я заметил на северо-западе, на расстоянии полулиги, небольшой островок. Я продолжал путь и бросил якорь с подветренной стороны острова, который был, по-видимому, необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо и, по моим предположениям, не меньше шести часов, потому что проснулся часа за два до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав до восхода солнца, я поднял якорь и при попутном ветре взял с помощью карманного компаса тот же курс, что и накануне. Моим намерением было достигнуть по возможности одного из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-восток от Вандименовой Земли. В этот день я ничего не открыл, но около трех часов пополудни следующего дня, находясь, согласно моим вычислениям, в двадцати четырех милях от Блефуску, я заметил парус, двигавшийся на юго-восток; сам же я направлялся прямо на восток. Я окликнул его, но ответа не получил. Однако скоро ветер ослабел, и я увидел, что могу догнать судно. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня,

выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и я пристал к нему в шестом часу вечера 26 сентября. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно, возвращавшееся из Японии северными и южными морями; капитан его, мистер Джон Бидль из Дептфорда, был человек в высшей степени любезный и превосходный моряк. Мы находились в это время под 30° южной широты. Экипаж корабля состоял из пятидесяти человек, и между ними я встретил одного моего старого товарища, Питера Вильямса, который дал капитану обо мне самый благоприятный отзыв. Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь. Когда я вкратце сказал ему это, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенные несчастья помутили мой рассудок. Тогда я вынул из кармана коров и овец; это привело его в крайнее изумление и убедило в моей правдивости. Затем я показал

ему золото, полученное от императора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану два кошелька с двумястами *спругов* в каждом и обещал ему подарить, по прибытии в Англию, стельную корову и овцу.

Но не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось очень благополучным. Мы прибыли в Даунс 13 апреля 1702 года. В пути у меня была только одна неприятность: корабельные крысы утащили одну мою овечку, и я нашел в щели ее обглоданные кости. Весь остальной скот я благополучно доставил на берег и в Гринвиче пустил его на лужайку для игры в шары; тонкая и нежная трава, сверх моего ожидания, послужила им прекрасным кормом. Я бы не мог сохранить этих животных в течение столь долгого путешествия, если бы капитан не давал мне своих лучших сухарей, которые я растирал в порошок, размачивал водою и в таком виде давал им. В продолжение моего недолгого пребывания в Англии я собрал значительную сумму денег, показывая этих животных многим знатным лицам и другим, а перед началом второго путешествия продал их за шестьсот фунтов. Возвратившись в Англию из последнего путешествия, я нашел уже довольно большое

стадо; особенно расплодились овцы, и я надеюсь, что они принесут значительную пользу суконной промышленности благодаря необыкновенной тонине своей шерсти.

Я оставался с женой и детьми не больше двух месяцев, потому что мое ненасытное желание видеть чужие страны не давало мне покоя и я не мог усидеть дома. Я оставил жене полторы тысячи фунтов и водворил ее в хорошем доме в Редрифе. Остальное свое имущество, частью в деньгах, частью в товарах, я увез с собою в надежде увеличить свое состояние. Старший мой дядя Джон завещал мне поместье недалеко от Эппинга, приносившее в год до тридцати фунтов дохода; столько же дохода я получал от бывшей у меня в долгосрочной аренде харчевни Черный Бык на Феттер-Лейн. Таким образом, я не боялся, что оставляю семью на попечение прихода. Мой сын Джонни, названный так в честь своего дяди, посещал грамматическую школу и был хорошим учеником. Моя дочь Бетти (которая теперь замужем и имеет детей) училась швейному мастерству. Я попрощался с женой, дочерью и сыном, причем дело не обошлось без слез с обеих сторон, и сел на купеческий корабль Адвенчер, вместимостью в триста тонн; назначение его бы-

ло Сурат, капитан — Джон Николес из Ливерпуля. Но отчет об этом путешествии составит вторую часть моих странствований.

Часть вторая. Путешествие в Бробдингнег

Глава I

Описание сильной бури. Посылка баркаса за пресной водой.

Автор отправляется на нем для исследования страны.

Он оставлен на берегу, его подбирает один туземец и относит к фермеру. Прием автора на ферме и различные происшествия, случившиеся там.

Описание жителей

Обреченный самой природой и судьбой вести деятельную и беспокойную жизнь, я через два месяца после возвращения домой, 20 июня 1702 года, снова оставил отечество и сел в Даунсе на корабль Адвенчер, отправлявшийся в Сурат под командой капитана Джона Николеса. Ветер был попутный до мыса Доброй Надежды, где мы бросили якорь, чтобы запастись свежей водой. Но на корабле открылась течь; мы выгрузили товары и зазимовали, потому что капитан заболел переме-

жающейся лихорадкой, и мы не могли покинуть мыс до конца марта, когда мы поставили наконец паруса и благополучно прошли Мадагаскарский пролив. Но когда мы вышли к северу от Мадагаскара и находились приблизительно на 5° южной широты, то умеренные северные и западные ветры, по наблюдениям моряков постоянно дующие в этом поясе с начала декабря и до начала мая, 19 апреля вдруг сменились гораздо более сильным ветром, налетевшим прямо с запада и продолжавшимся двадцать дней подряд. Нас занесло за это время немного восточнее Молуккских островов, на 3° к северу от экватора, как выходило по вычислениям капитана, сделанным 2 мая, когда ветер прекратился и наступил полный штиль, немало меня обрадовавший. Но капитан, человек опытный в плавании по этим морям, приказал всем нам приготовиться к буре, которая действительно и разразилась на следующий же день, когда поднялся южный ветер, известный под именем муссона.

Видя, что ветер сильно крепчает, мы убавили блинд и приготовились убрать фок-зейль. Но погода становилась хуже; осмотрев, прочно ли привязаны пушки, мы убрали бизань. Корабль находился в открытом море, и было решено

лучше идти под ветром, чем убрать все паруса и отдаться на волю волн. Мы взяли рифы от фок-зейля и поставили его, затем натянули шкот. Румпель лежал на полном ветре. Корабль бодро держался. Мы закрепили спереди нирал, но парус разорвался. Тогда мы спустили рею, сняли с нее парус и весь такелаж. Буря была ужасная, море сильно бушевало. Мы натянули тали у ручки румпеля, чтобы облегчить рулевого. Мы не думали спускать стеньги, но оставили всю оснастку, потому что корабль шел под ветром, а известно, что стеньги помогают управлению кораблем и увеличивают его ход, тем более что перед нами было открытое море. Когда буря стихла, поставили грот-фок-зейль и легли в дрейф. Затем мы поставили бизань, большой и малый марсели. Мы шли на северо-восток при юго-западном ветре. Мы укрепили швартовы к штирборту, ослабили брасы у рей за ветром, сбрасопили под ветер и крепко притянули булиня, закрепив их. Мы маневрировали бизанью, стараясь сохранить ветер и поставить столько парусов, сколько могли выдержать корабельные мачты. Во время этой бури, сопровождавшейся сильным ЗЮЗ ветром, нас отнесло, по моим вычислениям, по крайней мере, на пятьсот лиг к востоку, так что самые ста-

рые и опытные моряки не могли сказать, в какой части света мы находимся. Провианта у нас было вдоволь, корабль в хорошем состоянии, экипаж совершенно здоров, и только ограниченность запасов пресной воды внушала нам сильное беспокойство. Мы сочли за лучшее держаться прежнего направления, нежели отклоняться более к северу, так как при этом нас могли унести в северо-западные области Великой Татарии или к Ледовитому морю.

Шестнадцатого июня 1703 года стоявший на стеньге юнга увидел землю. Семнадцатого мы подошли к большому острову или континенту (мы не знали), на южной стороне которого выдавалась в море коса и виднелась бухта, но слишком мелкая, чтобы в нее мог войти корабль более ста тонн водоизмещением. Мы бросили якорь на расстоянии лиги от этой бухты, капитан послал баркас с десятком хорошо вооруженных людей, снабдив их сосудами для воды, если она будет ими найдена. Я попросил у капитана позволения присоединиться к ним, чтобы осмотреть страну и сделать открытия, какие будут в моих силах. Прибыв к берегу, мы не нашли ни реки, ни источника и никаких признаков населения. Поэтому матросы разбрелись по побережью в поисках

пресной воды, а я отправился один в противоположную сторону, но на расстоянии мили кругом тянулись все те же бесплодные и скалистые места. Почувствовав усталость и не находя ничего любопытного, я стал медленно возвращаться к бухте; море широко открывалось передо мною, и я увидел, что наши матросы уже сели в баркас и гребут что есть мочи по направлению к кораблю. Я уже собирался окликнуть их, хотя это было и бесполезно, как вдруг заметил, что их энергично преследует в море человек исполинского роста; вода едва доходила ему до колен, и он делал огромные шаги, но так как наши успели отъехать не меньше чем на пол-лиги от него и море кругом было покрыто острыми скалами, то чудовище не могло догнать лодку. Все это мне рассказали потом, потому что в ту минуту я не имел мужества наблюдать исход погони, но со всех ног пустился бежать по той самой дороге, по которой теперь возвращался. Запыхавшись, я взобрался на крутой холм, откуда мог обозреть окрестности. Земля кругом была хорошо возделана, но меня поразила высота травы на лугах, достигавшая двадцати футов.

Я вышел на большую дорогу — так, по крайней мере, мне казалось, хотя для туземцев это была

только тропинка, пересекавшая ячменное поле. В течение некоторого времени я почти ничего не мог видеть по сторонам, потому что приближалось время жатвы и ячмень был высотой футов сорок. Только через час я достиг конца этого поля, обнесенного изгородью не менее чем в сто двадцать футов вышины, а деревья были так велики, что я совсем не мог определить их высоту. Чтобы попасть с этого поля на соседнее, нужно было подняться на четыре ступени да еще перешагнуть сверху через огромный камень. Мне не по силам было взобраться на эту лестницу, потому что каждая ступень имела шесть футов вышины, а верхний камень — больше двадцати. Поэтому я старался найти какую-нибудь щель в изгороди, как вдруг увидел, что с соседнего поля к лестнице подходит исполин, такой же огромный, как и тот, который гнался за нашим баркасом. Ростом он был с колокольню, а каждый его шаг, насколько я мог прикинуть, равнялся десяти ярдам. Объятый ужасом и изумлением, я поспешно убежал и спрятался в ячмене, откуда увидел, как, взобравшись на ступеньки, великан оглянулся на соседнее поле направо и стал звать кого-то голосом, звучавшим во много раз громче, чем наш голос в рупор: он раздавался с

такой высоты, что сначала я принял его за раскаты грома. На зов к нему тотчас подошли семь таких же чудовищ с серпами в руках, величиной с шесть наших кос. Эти люди были одеты беднее первого и являлись, по-видимому, его слугами или работниками, потому что после нескольких его слов отправились жать на то поле, где я спрятался. Я старался держаться от них подальше, но мог двигаться лишь с большим трудом, так как в некоторых местах расстояние между стеблями было не больше фута и я едва мог протиснуться между ними. Тем не менее я кое-как добрался до части поля, где ячмень был повален дождем и ветром. Здесь я не в силах был сделать ни шагу дальше: стебли так переплелись, что не было никакой возможности пробраться между ними, а ости поваленных колосьев были так крепки и остры, что прокалывали мне платье и вонзались в тело. Между тем я слышал, что жнецы находятся от меня не дальше ста ярдов. Разбитый усталостью и совершенно подавленный горем и отчаянием, я лег в борозду и от всего сердца желал смерти. Я оплакивал овдовевшую жену и сирот-детей. Я горько сетовал на свои безрассудство и упрямство, толкнувшие меня на второе путешествие вопреки советам родных и друзей. В

этом расстроенном состоянии я невольно вспомнил Лилипутию, жители которой смотрели на меня как на величайшее чудо в свете, где я был способен тащить одной рукой весь императорский флот и совершить много других подвигов, которые будут увековечены в летописях этой империи и покажутся невероятными потомству, хотя они и засвидетельствованы миллионами очевидцев. Я представил себе унижение, ожидающее меня у этого народа, где я буду казаться таким же ничтожным существом, каким казался бы среди нас любой лилипут. Но, без сомнения, это было еще не самое худшее из несчастий, ожидавших меня; ведь если человеческая дикость и жестокость, как свидетельствует наблюдение, возрастают пропорционально росту, то чего мне было ожидать теперь, кроме печальной участи быть съеденным первым же огромным варваром, которому случится поймать меня. Несомненно, философы правы, утверждая, что понятия великого и малого суть понятия относительные. Быть может, судьбе угодно будет устроить так, что и лилипуты встретят людей, столь же малых сравнительно с ними, как они были малы по сравнению со мной. И кто знает, быть может, в какой-нибудь отдаленной части света существует

порода смертных, превосходящих своим ростом даже этих гигантов?

Таким размышлениям предавался я, несмотря на овладевшие мной страх и смятение, как вдруг один из жнецов подошел на десять ярдов к борозде, в которой я лежал; испугавшись, что при следующем его шаге я буду растоптан или разрезан пополам серпом, я в ужасе закричал благим матом. Великан остановился, внимательно всмотрелся под ноги и наконец заметил меня, лежащего на земле. С минуту он наблюдал меня с тем опасливым видом, какой бывает у нас, когда мы хотим ухватить какого-нибудь зверька так, чтобы он не оцарапал или не укусил нас; я сам хватал иногда таким образом хорьков в Англии. Наконец он отважился взять меня сзади за талию большим и указательным пальцами и поднести к глазам на расстояние трех ярдов, чтобы получше рассмотреть. Я угадал его намерение, и, к счастью, у меня достало столько самообладания, что я решил не сопротивляться, когда он держал меня в воздухе на высоте шестидесяти футов от земли, хотя он страшно сдавил мне ребра, боясь, чтобы я не выскользнул из его пальцев. Я позволил себе только поднять глаза к солнцу, умоляюще сложить руки и сказать несколько слов смиренным

и печальным тоном, подобающим положению, в котором я находился. Ибо я все время был в страхе, что великан швырнет меня о землю, как мы бросаем противное маленькое животное, собираясь раздавить его. Но, благодарение моей счастливой звезде, мой голос и жесты, по-видимому, понравились ему, и он начал рассматривать меня как диковинку, изумляясь моей членораздельной речи, смысл которой был ему непонятен. Однако я не мог больше удержаться от стона и слез и, повернув голову, старался повыразительнее показать ему, что своими пальцами он причиняет мне нестерпимую боль. По-видимому, он понял мою мимику, так как, подняв полу камзола, осторожно положил меня туда и бегом пустился со мной к своему хозяину — тому самому зажиточному фермеру, которого я прежде других увидел на поле.

Фермер, получив от своего работника (как я заключил из их разговора) все сведения обо мне, какие тот мог дать ему, взял соломинку, толщиною в трость, и стал поднимать ею полы моего кафтана: очевидно, он полагал, что природа одарила меня чем-то вроде оболочки. Затем он дунул на мои волосы, чтобы лучше рассмотреть лицо. Созвав своих батраков, он спросил их (как

я потом узнал), не случалось ли им находить когда-нибудь на полях других зверьков, похожих на меня. Затем он осторожно опустил меня на землю и поставил на четвереньки, но я тотчас поднялся на ноги и стал расхаживать взад и вперед, желая показать этим людям, что у меня нет ни малейшего намерения бежать. Они сели в кружок, чтобы лучше наблюдать за моими движениями. Я снял шляпу и сделал глубокий поклон фермеру. Затем, став на колени, я поднял к небу глаза и руки и как можно громче произнес несколько слов; я вынул из кармана кошелек с золотом и с видом полной покорности вручил его хозяину. Тот принял кошелек в ладонь, поднес его к самым глазам, чтобы увидеть, что это такое, затем несколько раз потыкал его кончиком булавки (которую вынул у себя из рукава), но так и не понял его назначения. Тогда я сделал знак, чтобы он положил руку на землю; затем, взяв кошелек и открыв его, высыпал к нему на ладонь все золото. Там было шесть испанских золотых, в четыре пистоли каждый, и двадцать или тридцать монет помельче. Послюнив кончик мизинца, он поднял им сперва одну большую монету, потом другую; но видно было, что он остался в полном неведении, что это за вещицы. Он знаком приказал мне

положить монеты обратно в кошелек и спрятать кошелек в карман, что я в конце концов и сделал после неоднократных бесплодных предложений принять от меня кошелек в подарок.

Мало-помалу фермер убедился, что имеет дело с разумным существом. Он часто заговаривал со мною, но шум его голоса отдавался у меня в ушах подобно шуму водяной мельницы, хотя слова произносились им достаточно внятно. Я отвечал на разных языках как можно громче, и он часто приближал свое ухо на два ярда ко мне, но все было напрасно, потому что мы совершенно не понимали друг друга. Наконец фермер приказал слугам вернуться к своей работе, вынул из кармана носовой платок, сложил его вдвое, покрыл им левую руку, которую положил на землю ладонью вверх, и сделал мне знак взойти на нее, что было не трудно исполнить, так как его рука была толщиною не более фута. Я счел благоразумным повиноваться и, чтобы не упасть, лег на платок; для большей безопасности фермер закутал меня в него, как в одеяло, и в таком виде понес к себе в дом. Придя туда, он кликнул свою жену и показал меня ей; но та завизжала и попятилась, точь-в-точь как английские дамы при виде жабы или паука. Однако, видя мое примерное поведение и

полное повиновение всем знакам ее мужа, она скоро привыкла ко мне и стала обходиться со мной очень ласково.

Был полдень, и слуга подал обед, который состоял (в соответствии со скромной обстановкой земледельца) только из одного большого куска говядины на блюде около двадцати четырех футов в диаметре. За стол сел фермер, его жена, трое детей и старуха бабушка. Фермер посадил меня около себя на стол, возвышавшийся на тридцать футов от пола. Боясь свалиться с такой высоты, я отодвинулся подальше от края. Фермерша отрезала ломтик говядины, накрошила хлеба на тарелку и поставила ее передо мною. Сделав ей глубокий поклон, я вынул свою вилку и нож и начал есть, что доставило им чрезвычайное удовольствие. Хозяйка велела служанке подать ликерную рюмочку, вместимостью около двух галлонов, и налила в нее какого-то питья. С большим трудом я взял рюмку обеими руками и самым почтительным образом выпил за здоровье хозяйки, громко произнеся тост по-английски; это до такой степени рассмешило присутствующих, что своим хохотом они едва не оглушили меня. Напиток, напоминавший слабый сидр, был довольно приятен на вкус. Затем хозяин знаками пригласил

меня подойти к его тарелке. Проходя по столу, я споткнулся о корку хлеба и шлепнулся носом, но не ушибся; благосклонный читатель легко поймет и извинит мою неловкость, если примет во внимание, в каком удивлении я пребывал все это время. Я тотчас же поднялся и, увидя, что мое падение сильно встревожило этих добрых людей, взял шляпу (которую, как подобает благовоспитанному человеку, держал под мышкой), помахал ею над головой и трижды прокричал ура в знак того, что все обошлось благополучно. Но когда я подходил к моему хозяину (так я буду называть впредь фермера), то сидевший подле него младший сын, десятилетний шалун, схватил меня за ноги и поднял так высоко, что у меня захватило дух. К счастью, отец выхватил меня из рук сына и дал ему такую оплеуху, которая, наверное, сбросила бы с лошадей целый эскадрон европейской кавалерии; он приказал мальчику выйти из-за стола. Но, не желая оставлять в ребенке злобное к себе чувство и вспомнив, как обыкновенно бывают жестоки наши дети к воробьям, кроликам, котятам и щенкам, я упал на колени и, указывая пальцем на мальчика, всеми силами старался дать понять моему хозяину, что прошу простить сына. Отец смягчился, и мальчишка снова занял

свое место. Тогда я подошел к нему и поцеловал его руку, которую хозяин мой взял и нежно погладил ею меня.

Во время обеда к хозяйке вскочила на колени ее любимая кошка. Я услышал позади себя сильный шум, точно десяток чулочных вязальщиков работали на станках. Обернувшись, я увидел, что это мурлычет кошка, которую кормила и ласкала хозяйка; судя по голове и лапе, она была, по-видимому, в три раза больше нашего быка. Свирепый вид этого животного совсем расстроил меня, несмотря на то что я находился на другом конце стола, на расстоянии пятидесяти футов от него, и хозяйка крепко держала кошку, боясь, как бы она не прыгнула и не схватила меня своими когтями. Однако мои опасения были напрасны; хозяин поднес меня к кошке на три ярда, и она не обратила на меня ни малейшего внимания. Мне часто приходилось слышать и во время путешествий убедиться на опыте, что бежать или выказывать страх перед хищным животным есть верный способ подвергнуться его преследованию или нападению, и потому в данном опасном положении я решил не проявлять ни малейшего беспокойства. Пять или шесть раз я бесстрашно подходил к самой морде кошки на расстояние

полуярда, и она пятилась назад, словно была больше испугана, чем я. Во время того же обеда, как это обыкновенно бывает в деревенских домах, в комнату вбежали три или четыре собаки, но они меньше испугали меня. Одна из них была мастиф, величиною в четыре слона, другая — борзая, выше мастифа, но тоньше его.

В самом конце обеда вошла кормилица с годовалым ребенком на руках, который немедленно заметил меня и, согласно ораторскому искусству детей, поднял такой вопль, что его, наверное, услышали бы с Лондонского моста, если бы он находился в Челси: он принял меня за игрушку. Хозяйка, руководясь чувством материнской нежности, взяла меня и поставила перед ребенком, и тот тотчас же схватил меня за талию и засунул к себе в рот мою голову, где я завопил таким благим матом, что ребенок в испуге выронил меня и я непременно сломал бы себе шею, если бы мать не подставила свой передник. Чтобы успокоить младенца, кормилица стала забавлять его погремушкой, которая имела вид пустого сосуда, наполненного камнями, и была привязана канатом к поясу ребенка. Но все было напрасно, так что оставалось последнее средство унять его — дать ему грудь. Должен признаться, что нико-

гда в жизни не испытывал я такого отвращения, как при виде этой чудовищной груди, и нет предмета, с которым бы я мог сравнить ее, чтобы дать любопытному читателю слабое представление об ее величине, форме и цвете. Она образовывала выпуклость вышиною в шесть футов, а по окружности была не меньше шестнадцати футов. Сосок был величиной почти в пол моей головы; его поверхность, как и поверхность всей груди, до того была испещрена пятнами, прыщами и веснушками, что нельзя было себе представить более тошнотворное зрелище. Я наблюдал его совсем вблизи, потому что кормилица, давая грудь, села поудобнее как раз около меня. Это навело меня на некоторые размышления по поводу нежности и белизны кожи наших английских дам, которые кажутся нам такими красивыми только потому, что они одинакового роста с нами и их изъяны можно видеть не иначе как в лупу, ясно показывающую, как груба, толста и скверно окрашена самая нежная и белая кожа.

Помню, во время моего пребывания в Лилипутии мне казалось, что нет в мире людей с таким прекрасным цветом лица, каким природа одарила эти крошечные создания. Когда я беседовал на эту тему с одним ученым лилипутом, моим

близким другом, то он сказал мне, что мое лицо производит на него более приятное впечатление издали, когда он смотрит на меня с земли, чем с близкого расстояния, и откровенно признался мне, что когда я в первый раз взял его на руки и поднес к лицу, то своим видом оно ужаснуло его. По его словам, у меня на коже можно заметить большие отверстия, цвет ее представляет очень неприятное сочетание разных красок, а волосы на бороде кажутся в десять раз толще щетины кабана; между тем, позволю себе заметить, я ничуть не безобразнее большинства моих соотечественников и, несмотря на долгие путешествия, загорел очень мало. С другой стороны, беседуя со мной о тамошних придворных дамах, ученый этот говорил мне, что у одной лицо покрыто веснушками, у другой слишком велик рот, у третьей большой нос; а я ничего этого не замечал. Конечно, эти рассуждения в достаточной мере банальны, но я не мог удержаться от них, чтобы читатель не подумал, будто великаны, к которым я попал, действительно очень безобразны. Напротив, я должен отдать им справедливость и сказать, что это красивая раса; и, в частности, черты лица моего хозяина, несмотря на то что он простой фермер, казались мне очень правильными, когда

я видел его на высоте шести — десяти футов.

После обеда хозяин ушел к работникам, наказав жене, насколько можно было судить по его голосу и жестам, обращаться со мной позаботливее. Я очень устал и хотел спать; заметя это, хозяйка положила меня на свою постель и укрыла чистым белым носовым платком, который, однако, был больше и толще паруса военного корабля.

Я проспал около двух часов, и мне снилось, что я дома в кругу семьи. Это еще усилило мою печаль, когда я проснулся и увидел, что нахожусь один в обширной комнате, шириною в двести или триста футов, а вышиною более двухсот, и лежу на кровати в двадцать ярдов ширины. Моя хозяйка отправилась по делам и заперла меня одного. Кровать возвышалась над полом на восемь ярдов; между тем некоторые естественные потребности побуждали меня сойти на землю. Позвать на помощь я не решался, да это было и бесполезно, потому что мой слабый голос не мог быть услышан на громадном расстоянии, отделявшем мою комнату от кухни, где находилась семья. Когда я пребывал в этом затруднительном положении, две крысы взобрались по пологу на постель и стали бегать, обнюхивая ее, взад и вперед. Одна подбежала к самому моему лицу;

я в ужасе вскочил и вынул для защиты тесак. Эти гнусные животные имели дерзость атаковать меня с обеих сторон, и одна крыса даже уперлась передними лапами в мой воротник; к счастью, мне удалось распороть ей брюхо, прежде чем она успела причинить мне какой-нибудь вред. Она упала к моим ногам, а другая, видя печальную участь товарки, обратилась в бегство, получив в спину рану, которою я успел угостить ее, так что и она оставила за собою кровавый след. После этого подвига я стал прохаживаться взад и вперед по кровати, чтобы перевести дух и прийти в себя. Крысы эти были величиной с большую дворнягу, но отличались гораздо большим проворством и лютостью, так что, если бы, ложась спать, я снял свой тесак, они непременно растерзали бы меня на куски и сожрали. Я измерил хвост мертвой крысы и нашел, что он равен двум ярдам без одного дюйма. Однако у меня недостало присутствия духа сбросить крысу с постели, где кровь все еще шла из нее; заметив в ней некоторые признаки жизни, я сильным ударом разрубил ей шею и доконал ее.

Вскоре после этого в комнату вошла хозяйка. Увидя, что я весь окровавлен, она поспешно бросилась ко мне и взяла меня на руки. Я указал на

убитую крысу, улыбкой и другими знаками давая ей понять, что сам я не ранен, чему она сильно обрадовалась. Позвав служанку, она велела ей взять крысу щипцами и выбросить за окно, а сама поставила меня на стол; тогда я показал ей окровавленный тесак, вытер его полой кафтана и вложил в ножны. Но я чувствовал настоятельную потребность сделать то, чего никто не мог сделать вместо меня, и поэтому всячески старался дать понять хозяйке, что хочу спуститься на пол. Когда это желание было исполнено, стыд помешал мне изъясниться более наглядно, и я ограничился тем, что, указывая пальцем на дверь, поклонился несколько раз. С большим трудом добрая женщина поняла наконец, в чем дело; взяв меня в руку, она отнесла в сад и там поставила на землю. Отойдя ярдов на двести, я сделал знак, чтобы она не смотрела на меня, спрятался между двумя листками щавеля и совершил свои нужды.

Надеюсь, благосклонный читатель извинит меня за то, что я останавливаю его внимание на такого рода подробностях; однако, сколь ни незначительными могут показаться они умам пошлым и низменным, они, несомненно, помогут философу обогатиться новыми мыслями и применить их на благо общественное и личное,

попечение о коем являлось моей единственной целью при опубликовании описания как настоящего, так и других моих путешествий; больше всего заботился я в них о правде, нисколько не стараясь блеснуть ни образованностью, ни слогом. Все, что случилось со мной во время этого путешествия, произвело такое глубокое впечатление на мой ум и так отчетливо удержалось в моей памяти, что, поверяя эти события бумаге, я не мог опустить ни одного существенного обстоятельства. Тем не менее после внимательного просмотра своей рукописи, я вычеркнул много мелочей, содержавшихся в первоначальной редакции, из боязни показаться скучным и мелочным, в чем так часто, может быть не без основания, обвиняют путешественников.

Глава II

Портрет дочери фермера.

Автора отвозят в соседний город, а потом в столицу.

Подробности его путешествия

Моя хозяйка имела девятилетнюю дочь, очень развитую для своего возраста, искусно владевшую иголкой и отлично одевавшую свою куклу. Вместе с матерью она смастерила мне на ночь постель в колыбельке куклы; колыбелька эта была положена в небольшой ящик из комода, а ящик поставлен на подвешенную к потолку полку, чтобы уберечь меня от крыс. Такова была моя постель все время, пока я жил с этими людьми, но она становилась более удобной по мере того, как я, начав усваивать их язык, мог объяснять, что мне нужно. Девочка была настолько сметлива, что, увидя раз или два, как я раздеваюсь, могла и сама одевать и раздевать меня, но я никогда не злоупотреблял ее услугами и предпочитал, чтобы она позволяла мне делать то и другое самому.

Она сшила мне семь рубашек и другое белье из самого тонкого полотна, какое только можно было достать, но, говоря без преувеличения, это полотно было гораздо толще нашей дерюги; она постоянно собственноручно стирала его для меня. Она была также моей учительницей и обучила меня своему языку: когда я пальцем указывал на какой-нибудь предмет, она называла его, так что через несколько дней я мог попросить все, что мне было нужно. Она отличалась прекрасным характером и была для своих лет небольшого роста — всего около сорока футов. Она дала мне имя Грильдриг, которое утвердилось за мной сперва в семье, а потом и во всем королевстве. Это слово означает то же, что латинское homunculus, итальянское homynceletino и английское mannikin. Я был обязан главным образом ей сохранением своей жизни в этой стране. Мы никогда не разлучались во все время моего пребывания там. Я называл ее моей Глюмдальклич, то есть нянюшкой, и заслужил бы упрек в глубокой неблагодарности, если бы не упомянул здесь о заботах и теплой ко мне привязанности Глюмдальклич; мне от души хотелось бы отплатить ей по заслугам, вместо того чтобы стать невольным, но пагубным орудием постигшей ее немилости,

как я имею большие основания опасаться.

Вскоре после моего прибытия между соседями хозяина начали распространяться слухи, что он нашел в поле странного зверька, величиной почти со *сплекнока*, но по виду своему совершенно похожего на человека; говорили, что этот зверек подражает всем действиям человека, что он как будто даже говорит на каком-то собственном наречии и уже выучился произносить несколько слов на их языке; что он ходит, держась прямо на двух ногах, что он ручной, покорный, идет на зов и делает все, что ему приказывают; что строение его очень нежное, а лицо белее, чем у дворянской трехлетней девочки. Другой фермер, близкий сосед и большой приятель моего хозяина, пришел к нему разведать, насколько справедливы все эти слухи. Меня немедленно вынесли и поставили на стол, где я по команде расхаживал, вынимал из ножен мой тесак и вкладывал его обратно, делал реверанс гостю моего хозяина, спрашивал на его языке, как он поживает, говорил, что рад его видеть, — словом, в точности исполнял все, чему научила меня моя нянюшка. Чтобы лучше рассмотреть меня, фермер этот, человек старый и слабый глазами, надел очки; взглянув на него, я не мог удержаться от смеха, ибо глаза его ка-

зались похожими на полную луну, когда она светит в комнату в два окошка. Домашние, поняв причину моей веселости, стали тоже смеяться, и старикан оказался настолько глуп, что рассердился и счел себя обиженным. Он был известен как большой скряга, и на мое несчастье эта репутация оказалась вполне заслуженной, потому что он тут же дал моему хозяину проклятый совет показывать меня как диковину на ярмарке в ближайшем городе, до которого было от нашего дома полчаса езды, то есть около двадцати двух миль. Я догадался, что затевается какое-то дурное дело, когда старик начал долго перешептываться с хозяином, указывая по временам на меня; от страха мне показалось даже, что я уловил и понял несколько слов. На другой день утром моя нянюшка Глюмдальклич рассказала мне, в чем дело, искусно выведав все у матери. Прижав меня к груди, бедная девочка заплакала от стыда и горя. Она боялась, как бы мне не вышло какого-нибудь худа от этих грубых, неотесанных людей, которые, беря меня на руки, могли задушить меня или причинить мне увечье. С другой стороны, зная мою природную скромность и чувствительность в делах чести, она предвидела, в каком я буду негодовании, если меня станут показывать

за деньги на потеху толпы. Она сказала, что ее папа и мама обещали подарить ей Грильдрига, но она видит теперь, что они хотят поступить с ней так же, как в прошлом году, когда подарили ягненка: как только он откормился, его продали мяснику. Признаюсь откровенно, я был меньше огорчен этими известиями, чем моя нянюшка. Я твердо надеялся — и эта надежда никогда меня не покидала, — что в один прекрасный день я верну себе свободу; что же касается позора быть выставленным напоказ как чудище, то я чувствовал себя совершенно чужим в этой стране и полагал, что в моем несчастье никто не вправе будет упрекнуть меня, если мне случится возвратиться в Англию, так как даже сам король Великобритании, оказавшись на моем месте, принужден был бы подвергнуться такому же унижению.

Послушавшись совета своего друга, мой хозяин в ближайший базарный день повез меня в ящике в соседний город, взяв с собой и маленькую дочь, мою нянюшку, которую он посадил на седло позади себя. Ящик был закрыт со всех сторон; в нем была только небольшая дверца, чтобы я мог входить и выходить, и несколько отверстий для доступа воздуха. Девочка была настолько заботлива, что положила в ящик стеганое одеяло

с кроватки своей куклы, на которое я мог лечь. Все же эта поездка страшно растрясла и утомила меня, несмотря на то что она продолжалась всего полчаса. Лошадь каждым своим шагом покрывала около сорока футов и бежала такой крупной рысью, что ее движения напоминали мне движения корабля во время бури, который то поднимается волной в гору, то низвергается в бездну, с той только разницей, что они совершались с большей скоростью. Сделанный нами путь приблизительно равнялся пути между Лондоном и Сент-Олбансом. Хозяин сошел с коня у гостиницы, где обычно останавливался. Посоветовавшись с содержателем гостиницы и сделав некоторые приготовления, он нанял *грультруда*, то есть глашатая, чтобы объявить по городу о необыкновенном существе, которое будут показывать в гостинице под вывескою Зеленого Орла; существо это не больше *сплекнока* (местного очень изящного зверька шести футов длины), всей своей внешностью похоже на человека, умеет произносить несколько слов и проделывает разные забавные штуки.

Меня поставили на стол в самой большой комнате гостиницы, величиной, вероятно, в триста квадратных футов. Моя нянюшка стояла на та-

бурете возле самого стола, чтобы охранять меня и указывать, что я должен делать. Во избежание толкотни хозяин впускал в комнату не более тридцати человек сразу. По команде девочки я ходил взад и вперед по столу; она задавала мне вопросы, которые были мне понятны, и я громко отвечал на них. Несколько раз я обращался к присутствующим, то свидетельствуя им свое почтение, то выражая желание снова их видеть у себя, то произнося еще и другие фразы, которые я выучил. Я брал наперсток, наполненный вином, который Глюмдальклич дала мне вместо рюмки, и выпивал за здоровье публики. Я вынимал тесак и размахивал им, как показывают учителя фехтования в Англии. Моя нянюшка дала мне соломинку, и я проделывал ею упражнения, как пикой, искусству владеть которой меня обучали в юности. В этот день было двенадцать перемен зрителей, и каждый раз мне приходилось сызнова повторять те же штуки, так что они страшно надоели мне и утомили до полусмерти. Видевшие представление передавали обо мне такие чудеса, что народ буквально ломился в гостиницу. Оберегая свои интересы, мой хозяин не позволял никому, кроме дочери, прикасаться ко мне, и для предупреждения опасности скамьи были отстав-

лены далеко от стола. Несмотря на это, какой-то школьник запустил мне в голову орех с такой силой, что, не промахнись он, орех этот, наверное, раскроил бы мне череп, так как величиной он был с нашу тыкву. К моему удовлетворению, озорника поколотили и выгнали вон из залы.

Мой хозяин объявил по городу, что снова будет показывать меня в ближайший базарный день. Тем временем он изготовил для меня более удобную повозку, в которой я очень нуждался, так как первое путешествие и непрерывное восьмичасовое представление до того изнурили меня, что я насилу стоял на ногах и едва мог выговорить слово. Мне понадобилось целых три дня, чтобы прийти в себя и восстановить свои силы, тем более что и дома я не знал покоя, так как все соседние дворяне, на сто миль в окружности, наслышавшись обо мне, приезжали к хозяину посмотреть на диковину. Каждый день у меня бывало не менее тридцати человек с женами и детьми (так как страна эта густо населена); и мой хозяин, показывая меня дома, всегда требовал плату за полную залу, хотя бы в ней находилось только одно семейство. Таким образом, в течение некоторого времени я почти не имел отдыха (кроме среды — их воскресенья), несмотря на то

что меня не возили в город.

Видя, что я могу принести ему большие барыши, хозяин решил объехать со мною все крупные города королевства. Собрав все необходимое для долгого путешествия и сделав распоряжения по хозяйству, он простился с женой, и 17 августа 1703 года, то есть через два месяца после моего прибытия, мы отправились в столицу, расположенную почти в центре этого государства, на расстоянии трех тысяч миль от нашего дома. Хозяин поместил позади себя свою дочь Глюмдальклич. Она держала меня на коленях в ящике, привязанном к ее талии. Девочка обила стенки ящика самой мягкой материей, какую только можно было найти, а пол устлала войлоком, поставила мне кроватку куклы, снабдила меня бельем и всем необходимым и вообще постаралась устроить меня как можно удобнее. Нас сопровождал один работник, ехавший за нами с багажом.

Мой хозяин собирался показывать меня во всех городах, лежавших на нашем пути; кроме того, он удалялся иногда на пятьдесят и даже на сто миль в сторону от дороги, в какую-нибудь деревню или к какому-нибудь знатному лицу, если рассчитывал заработать деньги. Мы делали в день не больше ста сорока или ста шестидесяти

миль, потому что Глюмдальклич, заботясь обо мне, жаловалась, что она устает от верховой езды. По моему желанию, она часто вынимала меня из ящика, чтобы дать подышать свежим воздухом и показать окрестности, но всегда крепко держала меня за помочи. Мы переправились через пять или шесть рек, в несколько раз шире и глубже Нила и Ганга, и едва ли нам встретился хоть один такой маленький ручеек, как Темза у Лондонского моста. Мы были в пути десять недель, и в течение этого времени меня показывали в восемнадцати больших городах, не считая множества деревень и частных домов.

Двадцать пятого октября мы прибыли в столицу, называемую на тамошнем языке *Лорбрульгруд*, или *Гордость Вселенной*. Мой хозяин остановился на главной улице, недалеко от королевского дворца, и выпустил афиши с точным описанием моей особы и моих дарований. Он нанял большую залу, шириною в триста или четыреста футов, и поставил в ней стол футов шестидесяти в диаметре, на котором я должен был проделывать свои упражнения; стол этот обнесен был решеткой вышиной в три фута и на таком же расстоянии от краев, чтобы предохранить меня от падений. К общему удовлетворению и

восхищению, меня показывали по десяти раз в день. В это время я уже довольно сносно говорил на местном языке и превосходно понимал все задаваемые мне вопросы. Мало того, я выучил азбуку и мог читать нетрудные фразы, чем я обязан моей Глюмдальклич, которая занималась со мной дома, а также в часы досуга во время путешествия. При ней была в кармане книжечка немного побольше атласа Сансона, заключавшая в себе краткий катехизис для девочек. По этой книге она выучила меня азбуке и чтению.

Глава III

Автора требуют ко двору.

Королева покупает его у фермера и представляет королю.

Автор вступает в диспут с великими учеными его величества.

Ему устраивают помещение во дворце.

Он в большой милости у королевы.

Он защищает честь своей родины.

Его ссоры с карликом королевы

Непрерывные ежедневные упражнения, продолжавшиеся в течение нескольких недель, сильно подорвали мое здоровье. Чем более я доставлял выгод моему хозяину, тем ненасытнее он становился. Я совсем потерял аппетит и стал похож на скелет. Заметя это, фермер пришел к заключению, что я скоро умру, и потому решил извлечь из меня все, что только возможно. Ко-

гда он пришел к такому выводу, к нему явился слардрал, или королевский адъютант, с требованием немедленно доставить меня во дворец для развлечения королевы и придворных дам. Некоторые из последних меня уже видели и распустили необыкновенные слухи о моей красоте, хороших манерах и большой сообразительности. Ее величество и ее свита пришли от меня в неописуемый восторг. Я упал на колёни и попросил позволения поцеловать ногу ее величества, но королева милостиво протянула мне мизинец (после того как меня поставили на стол), который я обнял обеими руками и с глубоким почтением поднес к губам. Она задала мне несколько общих вопросов относительно моей родины и путешествий, на которые я ответил как только мог короче и отчетливее. Затем она спросила, буду ли я доволен, если меня оставят во дворце. Я низко поклонился королеве и скромно ответил, что я раб своего хозяина, но что если бы я был свободен распоряжаться своей судьбой, то с радостью посвятил бы свою жизнь служению ее величеству. Тогда королева спросила моего хозяина, согласен ли он продать меня за хорошую цену. Так как мой хозяин боялся, что я не проживу и месяца, то очень обрадовался случаю отделаться от меня

и запросил тысячу золотых, которые тут же ему были отсчитаны. Каждый из этих золотых равнялся восьмистам мойдорам, но если принять во внимание соотношение между всеми предметами этой страны и Европы, а также высокую цену золота там, то эта сумма едва окажется равной тысяче английских гиней. Тогда я сказал королеве, что теперь, сделавшись преданнейшим вассалом ее величества, я осмеливаюсь просить милости, чтобы Глюмдальклич, которая всегда проявляла столько заботливости и доброты ко мне и умела так хорошо за мной ухаживать, была принята на службу ее величества и по-прежнему оставалась моей нянюшкой и учительницей. Ее величество согласилась исполнить мою просьбу и легко получила согласие фермера, очень довольного тем, что его дочь была устроена при дворе, что же касается самой Глюмдальклич, то бедная девочка не могла скрыть свою радость. Мой бывший хозяин удалился, пожелав мне всякого добра и сказав, что оставляет меня на прекрасной службе. Я не ответил ему ни слова и ограничился только легким поклоном.

Королева заметила мою холодность и, когда фермер оставил апартаменты, спросила о причине ее. Я взял на себя смелость ответить ее

величеству, что я обязан этому человеку только тем, что мне, бедному, безобидному созданию, не размозжили голову, когда случайно нашли на его поле: что я с избытком вознаградил фермера за это одолжение теми деньгами, которые он выручил, показав меня едва ли не половине королевства, и которые получил сейчас, продав меня; что, находясь у него, я влачил самое тяжелое существование, которое едва ли вынесло бы животное, сильнейшее меня в десять раз; что мое здоровье очень подорвано непрерывной повинностью забавлять зевак с утра до ночи и что если бы фермер не считал мою жизнь в опасности, то ее величество не приобрела бы меня за такую дешевую цену. Но так как теперь мне нечего страшиться дурного обращения под покровительством столь великой и милостивой государыни, украшения природы, любви вселенной, услады своих подданных, феникса творения, то я надеюсь, что опасения моего бывшего хозяина окажутся неосновательны, потому что я уже чувствую восстановление душевных сил под влиянием августейшего присутствия ее величества.

Такова была в общих чертах моя речь, произнесенная очень нескладно и с большими запинками. Последняя часть этой речи была составлена

в принятом здесь стиле, с которым познакомила меня Глюмдальклич, научив нескольким фразам по дороге во дворец.

Королева, отнесясь весьма снисходительно к моему недостаточному знанию языка, была поражена тем, что нашла в таком маленьком создании столько ума и здравого смысла. Она взяла меня в руку и понесла к королю, находившемуся тогда в своем кабинете. Его величество, государь важный и суровый, не рассмотрев меня хорошенько с первого взгляда, холодно спросил королеву, с каких это пор она пристрастилась к *сплекнокам*; ибо он, по-видимому, принял меня за это животное, когда я лежал ничком на правой руке ее величества. Но государыня, отличавшаяся тонким умом и веселым характером, бережно поставила меня на письменный стол и приказала рассказать его величеству о моих приключениях, что я и сделал в немногих словах. Глюмдальклич, стоявшая у дверей кабинета, — она ни на минуту не упускала меня из виду, — получив позволение войти, подтвердила все случившееся со мной со времени моего появления в доме ее отца.

Хотя король был ученейшим человеком во всем государстве и получил отличное философское и особенно математическое образование, однако,

рассмотрев внимательно мою внешность и видя, что я хожу прямо, он сначала принял меня за заводную фигурку с часовым механизмом, сделанную каким-нибудь изобретательным мастером (нужно заметить, что искусство строить механизмы доведено здесь до величайшего совершенства). Но когда он услышал мой голос и нашел, что речь у меня складная и разумная, то не мог скрыть своего удивления. Он не поверил ни одному слову из моего рассказа о том, как я прибыл в его королевство, и подумал, что вся эта история выдумана Глюмдальклич и ее отцом, которые заставили меня заучить ее, чтобы выгоднее меня продать. Ввиду этого он задал мне ряд других вопросов, на которые получил разумные ответы, не содержавшие никаких недостатков, кроме иностранного акцента, несовершенного знания языка и нескольких простонародных выражений, заимствованных мною в семье фермера и недопустимых в лощеной придворной речи.

Его величество велел пригласить трех больших ученых, отбывавших в то время недельное дежурство во дворце, согласно обычаям этого государства. Эти господа после продолжительного весьма тщательного исследования моей внешности пришли к различным заключениям

относительно меня. Все трое, однако, согласились, что я не мог быть произведен на свет согласно нормальным законам природы, потому что не наделен способностью самосохранения, поскольку не обладаю ни быстротой ног, ни умением взбираться на деревья или рыть норы в земле. Обследовав внимательно мои зубы, они признали, что я животное плотоядное; но так как большинство четвероногих сильнее меня, а полевая мышь и некоторые другие отличаются гораздо большим проворством, то они не могли понять, каким образом я добываю себе пищу, разве только питаюсь улитками и разными насекомыми, каковое предположение было, однако, при помощи многих ученых аргументов, признано несостоятельным. Один из этих виртуозов склонялся к мысли, что я являюсь только эмбрионом или недоноском. Но это мнение было отвергнуто двумя другими, которые указали на то, что мои члены развиты в совершенстве и закончены и что я живу уже много лет, о чем красноречиво свидетельствует моя борода, волоски которой они отчетливо видели в лупу. Они не допускали также, чтобы я был карлик, потому что мой крошечный рост был вне всякого сравнения; и, например, любимый карлик

королевы, самый маленький человек во всем государстве, был ростом в тридцать футов. После долгих дебатов они пришли к единодушному заключению, что я не что иное, как *рельплюм сколькатс*, что в буквальном переводе означает lusus naturae (игра природы) — определение как раз в духе современной европейской философии, профессора которой, относясь с презрением к ссылке на *скрытые причины*, при помощи которых последователи Аристотеля тщетно стараются замаскировать свое невежество, изобрели это удивительное разрешение всех трудностей, свидетельствующее о необыкновенном прогрессе человеческого знания.

После этого заключительного решения я попросил позволения сказать несколько слов. Обратившись к королю, я уверил его величество, что прибыл из страны, населенной миллионами существ обоего пола одинакового со мной роста, где все животные, деревья, дома имеют соответственно уменьшенные размеры и где, вследствие этого, я так же способен защищаться и добывать пищу, как делает это здесь каждый подданный его величества, так что все аргументы господ ученых несостоятельны. На это они ответили лишь презрительной улыбкой, заявив,

что фермер давал мне прекрасные уроки. Король, человек гораздо более смышленый, чем эти ученые мужи, отпустил их и послал за фермером, который, к счастью, еще не уехал из города. Расспросив фермера сперва наедине, а потом устроив ему очную ставку со мной и дочерью, его величество стал склоняться к мысли, что все рассказанное нами близко к истине. Он выразил желание, чтобы королева окружила меня особыми заботами, и изъявил согласие оставить при мне Глюмдальклич, потому что заметил нашу большую привязанность друг к другу. Для девочки было отведено помещение при дворе; ей назначили гувернантку, которая должна была заняться ее воспитанием, горничную, чтобы одевать ее, и еще двух служанок для других услуг; но попечение обо мне было возложено всецело на Глюмдальклич. Королева приказала своему придворному столяру смастерить ящик, который мог бы служить мне спальней, по образцу, одобренному мной и Глюмдальклич. Этот столяр был замечательный мастер: в три недели он соорудил по моим указаниям деревянную комнату в шестнадцать футов длины и ширины и двенадцать футов высоты, с опускающимися окнами, дверью и двумя шкафами, как обыкновенно устраива-

ются спальни в Лондоне. Доска, из которой был сделан потолок, поднималась и опускалась на петлях, чтобы можно было ставить в спальне кровать, отделанную обойщиком ее величества. Глюмдальклич каждый день выносила эту кровать на воздух, собственноручно убирала ее и вечером снова ставила ее на место, опустив надо мною потолок. Другой мастер, известный искусным изготовлением мелких безделушек, сделал для меня из какого-то особенного материала, похожего на слоновую кость, два кресла с подлокотниками и спинками, два стола и комод для моих вещей. Все стены комнаты, а также потолок и пол были обиты войлоком для предупреждения несчастных случайностей от неосторожности носильщиков, а также для того, чтобы ослабить тряску во время езды в экипаже. Я попросил сделать в двери замок, чтобы оградить мою комнату от крыс и мышей. После нескольких проб слесарь сделал наконец самый маленький, какой когда-либо был видан здесь, но мне случилось видеть больший у ворот одного барского дома в Англии. Ключ я всегда носил в кармане, боясь, чтобы Глюмдальклич не потеряла его. Королева приказала также сделать мне костюм из самой тонкой шелковой материи, какую только можно

было найти; эта материя оказалась все же толще английских одеял и очень беспокоила меня, пока я не привык к ней. Костюм был сшит по местной моде, напоминавшей частью персидскую, частью китайскую, и был очень скромен и приличен.

Королева так полюбила мое общество, что никогда не обедала без меня. На стол, за которым сидела ее величество, ставили мой столик и стул, возле ее левого локтя. Глюмдальклич стояла около меня на табурете; она присматривала и прибирала за мной. У меня был полный серебряный сервиз, состоявший из блюд, тарелок и другой посуды; по сравнению с посудой королевы он имел вид детских кукольных сервизов, которые мне случалось видеть в лондонских игрушечных лавках. Моя нянюшка носила этот сервиз в кармане в серебряном ящике; за обедом она ставила что было нужно на моем столе, а после обеда сама все мыла и чистила. Кроме королевы, за ее столом обедали только две ее дочери принцессы; старшей было шестнадцать лет, а младшей тринадцать и один месяц. Ее величество имела обыкновение собственноручно класть мне на блюдо кусок говядины, который я резал сам; наблюдать за моей едой и моими крошечными порциями доставляло ей большое

удовольствие. Сама же королева (несмотря на свой нежный желудок) брала в рот сразу такой кусок, который насытил бы дюжину английских фермеров, так что в течение некоторого времени я не мог без отвращения смотреть на это зрелище. Она грызла и съедала с костями крылышко жаворонка, хотя оно было в десять раз больше крыла нашей индейки, и откусывала кусок хлеба величиной в две наши ковриги по двенадцати пенни. В один прием выпивала она золотой кубок вместимостью в нашу бочку. Ее столовые ножи были в два раза больше нашей косы, если ее выпрямить на рукоятке. Соответственного размера были также ложки и вилки. Я вспоминаю, что раз Глюмдальклич понесла меня в столовую показать лежавшие вместе десять или двенадцать этих огромных ножей и вилок; мне кажется, что я никогда не видел более страшного зрелища.

Каждую среду (которая, как я уже сказал, была их воскресеньем) король, королева и их дети обыкновенно обедали вместе в покоях его величества, большим фаворитом которого я теперь сделался. На таких обедах мой стул и стол ставили по левую руку его величества, перед одной из солонок. Государь этот с удовольствием беседовал со мной, расспрашивая о европейских нравах,

религии, законах, управлении и науке, и я давал ему обо всем самый подробный отчет. Ум короля отличался большой ясностью, а суждения точностью, и он высказал весьма мудрые заключения и наблюдения по поводу рассказанного мной. Но, признаюсь, когда я слишком распространился о моем любезном отечестве, о нашей торговле, войнах на суше и на море, о религиозном расколе и политических партиях, король не выдержал, — видно было, что в нем заговорили предрассудки воспитания, — взял меня в правую руку и, лаская левой, с громким хохотом спросил, кто же я: виг или тори? Затем, обратясь к первому министру, который стоял тут же с белым жезлом, длиною в грот-мачту английского корабля, Царственный Монарх, заметил, как ничтожно человеческое величие, если такие крохотные насекомые, как я, могут его перенимать. Кроме того, сказал он, я держу пари, что у этих созданий существуют титулы и ордена; они мастерят гнездышки и норки и называют их домами и городами; они щеголяют нарядами и выездами; они любят, сражаются, ведут диспуты, плутуют, изменяют. Он продолжал в таком же тоне, и краска гнева покрыла мое лицо; я кипел от негодования, слыша этот презрительный отзыв о моем благородном отече-

стве, владыке искусств и оружия, биче Франции, третейском судье Европы, кладезе добродетели, набожности, чести и истины, гордости и зависти вселенной.

Но так как положение мое было не таково, чтобы злобствовать на обиды, то, по зрелом размышлении, я начал сомневаться, следует ли мне считать себя обиженным. Действительно, привыкнув в течение нескольких месяцев к внешности и разговорам этих людей и увидев, что все предметы, на которые обращались мои взоры, были пропорциональны величине обитателей, я мало-помалу утратил страх, первоначально овладевавший мной при виде их огромных размеров, и мне стало казаться, будто я нахожусь в обществе разряженных в праздничные платья английских лордов и леди, с их важной поступью, поклонами и пустой болтовней, самым изысканным и учтивым образом исполнявших свои роли; сказать правду, у меня возникло такое же сильное искушение посмеяться над ними, какое испытывал король и его вельможи, глядя на меня. И я не мог также удержаться от улыбки над самим собой, когда королева, поставя меня на руку, подносила к зеркалу, где мы оба были видны во весь рост; ничто не могло быть смешнее этого

контраста, так что у меня возникла настоящая иллюзия, будто я в несколько раз стал меньше своего действительного роста.

Никто меня так не раздражал и не оскорблял, как карлик королевы. До моего приезда во всей стране не было человека ниже его (ибо я в самом деле думаю, что ростом он был неполных тридцати футов), и потому при виде создания, в несколько раз меньшего, карлик становился нахальным и всегда подбоченивался и смотрел на меня свысока, когда проходил мимо в передней королевы; видя, как я стою на столе и беседую с придворными, он не пропускал случая кольнуть меня и бросить остроту насчет моего роста. Отомстить ему я мог, только называя его своим братом, вызывая его на поединок, вообще бросая в ответ реплики, какие обычны в устах придворных пажей. Однажды за обедом этот злобный щенок был так задет каким-то моим замечанием, что, взобравшись на подлокотник кресла ее величества, схватил меня за талию в то время, как я спокойно сидел за своим столиком, и бросил в серебряную чашку со сливками, после чего убежал со всех ног. Я окунулся с головой в сливки, и, не будь я хороший пловец, мне пришлось бы, вероятно, очень туго, потому что Глюмдальклич в эту

минуту находилась на другом конце комнаты, а королева так испугалась, что у нее не хватило сообразительности помочь мне. Но вскоре на выручку прибежала моя нянюшка и вынула меня из чашки, после того как я проглотил пинты две сливок. Меня уложили в постель; к счастью, все ограничилось порчей костюма, который пришлось выбросить. Карлика больно высекли и, кроме того, заставили выпить чашку сливок, в которых по его милости я искупался. С тех пор карлик навсегда потерял расположение королевы, и, спустя некоторое время, она подарила его одной знатной даме, так что, к моему великому удовольствию, я его больше не видел; ибо трудно сказать, до каких пределов могла дойти злоба этого урода.

Еще раньше он сыграл со мной одну грубую шутку, которая хотя и рассмешила королеву, но в то же время рассердила ее, так что она немедленно прогнала бы его, если бы не мое великодушное заступничество. Однажды за обедом ее величество взяла на тарелку мозговую кость и, вытряхнув из нее мозг, положила обратно на блюдо. Карлик, улучив момент, когда Глюмдальклич пошла к буфету, вскочил на табурет, на котором она всегда стояла, присматривая за мной во вре-

мя обеда, схватил меня обеими руками и, стиснув мне ноги, засунул выше пояса в пустую кость, где я и оставался некоторое время, представляя очень смешную фигуру. Прошло, вероятно, не меньше минуты, прежде чем кто-то заметил эту проказу, так как я считал ниже своего достоинства закричать. При дворе редко подают горячие кушанья, и только благодаря этому обстоятельству я не обжег ног, но мои чулки и панталоны оказались в плачевном состоянии. Карлика высекли, однако же вследствие моего заступничества наказание этим и ограничилось.

Королева часто потешалась над моей боязливостью и спрашивала, все ли мои соотечественники такие трусы. Поводом к насмешкам королевы послужило следующее обстоятельство. Летом здесь множество мух; эти проклятые насекомые величиной с данстеблского жаворонка, непрерывно жужжа и летая вокруг меня, не давали мне за обедом ни минуты покоя. Они садились иногда на мое кушанье, оставляя на нем свои омерзительные экскременты или яйца; все это, отчетливо видимое мною, оставалось совершенно незаметным для туземцев, громадные глаза которых не были так зорки, как мои, по отношению к небольшим предметам. Иногда

мухи садились мне на нос или на лоб и кусали до крови, распространяя отвратительный запах, причем мне нетрудно было видеть на их лапках следы того липкого вещества, которое, по словам наших натуралистов, позволяет этим насекомым свободно гулять по потолку. Мне стоило больших хлопот защищаться от гнусных тварей, и я невольно содрогался, когда они садились на мое лицо. Любимой забавой карлика было набрать в кулак несколько мух, как это делают у нас школьники, и неожиданно выпустить их мне под нос, чтобы таким образом испугать меня и рассмешить королеву. Единственной моей защитой в этом случае был нож, которым я рассекал мух на части в то время, когда они подлетали ко мне, вызывая своей ловкостью общее восхищение.

Помню еще, как однажды утром Глюмдальклич поставила меня в ящик на подоконник, что обыкновенно делала в хорошую погоду, желая дать мне возможность подышать свежим воздухом (я никогда не соглашался, чтобы ящик вешали на гвозде за окном, как мы вешаем клетки с птицами в Англии). Я поднял одно из моих окон, сел за стол и стал завтракать куском сладкого пирога, как вдруг штук двадцать ос, привлеченные запахом, влетели в мою комнату с таким жуж-

жанием, будто заиграло двадцать волынок. Одни завладели моим пирогом и раскрошили его на кусочки, другие летали над головой, оглушая меня жужжанием и наводя неописуемый ужас своими жалами. Тем не менее у меня достало храбрости вынуть из ножен тесак и атаковать их в воздухе. Четырех я убил, остальные улетели, после чего я мгновенно захлопнул окно. Эти насекомые были величиною с куропатку. Я повынимал у них жала, оказавшиеся острыми, как иголки, и достигавшие полутора дюймов в длину. Все четыре эти жала я тщательно сохранил и потом показывал вместе с другими редкостными вещами в разных частях Европы; по возвращении в Англию три я отдал в Грешэм-колледж, а четвертое оставил себе.

Глава IV

Описание страны.

Предлагаемое автором исправление географических карт.

Королевский дворец и несколько слов о столице.

Способ путешествия автора. Описание главного храма

Теперь я собираюсь дать читателю краткое описание страны, по крайней мере той ее части, которую я объехал и которая простиралась не более чем на две тысячи миль вокруг Лорбрульгруда, столицы королевства. Королева, возившая меня с собой, никогда не отъезжала от столицы дальше, сопровождая короля в его путешествиях; там она обыкновенно делала остановку и ожидала возвращения его величества с границ государства. Владения этого монарха простираются на шесть тысяч миль в длину и от трех до пяти тысяч миль в ширину. Отсюда я заключаю, что

наши европейские географы совершают большую ошибку, предполагая существование сплошного океана между Японией и Калифорнией; я был всегда того мнения, что здесь необходимо должна быть земля, служащая противовесом громадному материку Татарии; вследствие этого им необходимо исправить свои карты и планы, присоединив обширное пространство земли к северо-западным частям Америки, в чем я охотно окажу им помощь.

Описываемое королевство есть полуостров, ограниченный на северо-востоке горным хребтом высотой до тридцати миль; этот хребет совершенно непроходим по причине вулканов, венчающих его вершины. Величайшие ученые не знают, какого рода смертные живут по ту сторону гор и даже вообще обитаемы ли те места. С остальных трех сторон полуостров окружен океаном. Во всем королевстве нет ни одного морского порта, и те побережья, где реки впадают в море, так густо усеяны острыми скалами и море там так бурно, что никто не отваживается проникнуть в него даже в самой маленькой лодке; таким образом, эти люди совершенно отрезаны от общения с остальным миром. Но их большие реки покрыты судами и изобилуют превосходной

рыбой; морскую же рыбу они ловят редко, потому что она такой же величины, как и в Европе, и, следовательно, для них слишком мелка. Отсюда ясно, что природа, произведя растения и животных столь огромных размеров, ограничила их распространение только этим континентом; причины этого явления пусть определяют философы. Впрочем, иногда туземцы ловят китов, когда последних прибивает к скалам, и простой народ охотно употребляет их в пищу. Я видел там таких китов, что человек едва мог нести их на плечах. Иногда, как диковинку, их привозят в корзинах в Лорбрульгруд. Мне привелось видеть кита редкой величины на блюде за королевским столом, но я не заметил, чтобы это кушанье понравилось королю; мне кажется даже, что он чувствовал отвращение к этой громаде, хотя в Гренландии я встречал китов еще больших размеров.

Страна эта плотно населена, ибо она заключает в себе пятьдесят один большой город, около ста крепостей, обнесенных стенами, и большое число деревень. Для удовлетворения любопытства читателей достаточно будет описать Лорбрульгруд. Город этот расположен по обоим берегам реки, которая делит его на две почти равные части. В кем свыше восьмидесяти тысяч домов и около

шестисот тысяч жителей. Он тянется в длину на три *глонглюнга* (что составляет около пятидесяти четырех английских миль), а в ширину на два с половиной *глонглюнга*. Я сам произвел эти измерения на карте, составленной по приказанию короля и нарочно для меня разложенной на земле, где она занимала пространство в сто футов. Разувшись, я прошел несколько раз по диаметру и окружности карты, сосчитал число моих шагов и без труда определил по масштабу точное протяжение города.

Королевский дворец не представляет собой одного правильного здания: это скученная масса построек, занимающих семь миль в окружности; главные комнаты имеют обыкновенно двести сорок футов вышины и соответствующую длину и ширину. Для меня и Глюмдальклич была предоставлена карета, в которой она вместе с гувернанткой часто ездила осматривать город или делать покупки. В этих прогулках я всегда принимал участие, сидя в своем ящике; но по моей просьбе девочка вынимала меня оттуда и держала на руке, чтобы мне было удобнее рассматривать дома и людей, когда мы проезжали по улицам. Мне кажется, что наша карета была не меньше Вестминстер-Холла, но не такая высокая;

впрочем, я не могу поручиться за точность моих сравнений. Однажды гувернантка приказала кучеру остановиться возле лавок; воспользовавшись этим случаем, по сторонам кареты столпились нищие, и тут для моего непривычного европейского глаза открылось самое ужасное зрелище. Среди них была женщина, пораженная раком; ее грудь была чудовищно вздута, и на ней зияли раны такой величины, что в две или три из них я легко мог забраться и скрыться там целиком. У другого нищего на шее висел зоб величиной в пять тюков шерсти; третий стоял на деревянных ногах, вышиною в двадцать футов каждая. Но омерзительнее всего было видеть вшей, ползавших по их одежде. Простым глазом я различал лапы этих паразитов гораздо лучше, чем мы видим в микроскоп лапки европейской вши; так же ясно я видел их рыла, которыми они копались, как свиньи. В первый раз в жизни я встретил подобных животных, и я бы с большим интересом анатомировал одно из них, несмотря на то что отвратительный их вид возбуждал во мне тошноту, если бы у меня были хирургические инструменты (которые, к несчастью, остались на корабле).

Кроме большого ящика, в котором меня обык-

новенно носили, королева заказала специально для поездок другой, поменьше, около двенадцати футов в длину и ширину и около десяти футов в высоту, так как первый был слишком велик для колен Глюмдальклич и загромождал карету. Этот второй ящик был сделан по моим указаниям тем же самым мастером; он был совершенно квадратный, и в трех его стенках было проделано по окну; каждое окно было защищено снаружи железной проволокой для ограждения от всяких случайностей во время далеких путешествий. К четвертой, глухой, стороне были прикреплены две прочных скобы, в которые лицо, бравшее меня с собой, когда у меня являлось желание ехать на лошади, просовывало кожаный ремень и застегивало его у себя на поясе. Обязанность эта всегда поручалась какому-нибудь верному и опытному слуге, на которого я мог положиться, сопровождал ли я короля и королеву в их путешествиях, хотелось ли мне посмотреть сады или сделать визит придворной даме или министру в то время, когда Глюмдальклич чувствовала себя нездоровой; ибо я скоро познакомился с самыми высокими сановниками, которые стали оказывать мне величайшее почтение, хотя, вероятно, не столько вследствие моих личных достоинств,

сколько потому, что я был в милости у их величеств. Если во время путешествия меня утомляла езда в карете, то слуга, ехавший верхом, пристегивал к себе мой ящик и ставил его на подушку перед собой. Таким образом, я мог из окон осматривать окрестности с трех сторон. В ящике у меня были походная постель, гамак, подвешенный к потолку, два стула и стол, крепко привинченные к полу, чтобы они не могли падать и опрокидываться во время движения лошади или кареты. Мне, как человеку, давно привыкшему к морю, эти движения, хотя по временам они были очень резкими, не причиняли большого беспокойства.

Каждый раз, когда у меня возникало желание посмотреть город, я входил в свой дорожный кабинет, Глюмдальклич ставила его себе на колени, садилась в открытый портшез, и нас, согласно обычаю этой страны, несли четыре человека в сопровождении двух камер-лакеев королевы. Народ, наслышавшись обо мне, всегда толпился вокруг портшеза, и тогда девочка приказывала носильщикам остановиться и ставила меня на руку, чтобы любопытным было удобнее меня рассматривать.

Мне очень хотелось посетить главный храм и особенно возвышавшуюся над ним башню,

которая считалась самой высокой в королевстве. И вот однажды моя нянюшка подняла меня туда. Однако я, признаться, спустился разочарованным, так как высота башни была не более трех тысяч футов, считая от основания до вершины, что, если принять во внимание разницу в росте европейца и туземца, не представляло ничего достойного удивления, так как башня эта (если память мне не изменяет) далеко не достигала высоты колокольни в Солсбери, в соответствующей пропорции. Но, не желая уничижать нацию, которой я так много обязан, — о чем не перестану повторять всю свою жизнь, — я должен сказать, что небольшая высота этой башни сторицей возмещается ее красотой и прочностью. Стены, толщиной почти в сто футов, построены из тесаных камней, каждый из которых равняется почти сорока квадратным футам, и украшены со всех сторон статуями богов и императоров, больше натурального роста, высеченными из мрамора и поставленными в нишах. Я измерил сломанный мизинец от одной статуи, который валялся в куче мусора, и нашел, что длина его равняется четырем футам и одному дюйму. Глюмдальклич завернула этот обломок в платок и принесла домой в кармане, чтобы присоединить к другим

безделушкам, которые она очень любила, как и все дети ее возраста.

Королевская кухня — поистине величественное сводчатое строение высотою около шестисот футов. Главная печь имеет в ширину на десять шагов меньше, чем купол собора Св. Павла, который я нарочно измерил по возвращении в Англию. Но, я думаю, мне с трудом поверили бы, если бы я стал описывать рашперы, чудовищные горшки и котлы, туши, поджариваемые на вертеле, или другие подробности; по крайней мере, строгие критики, чего доброго, подумают, что я немного преувеличиваю, подобно всем путешественникам. С другой стороны, желая избежать этого упрека, я боюсь впасть и в противоположную крайность; и если этот трактат будет переведен на бробдингнежский язык (Бробдингнег — название этого королевства) и попадет туда, то мне не хотелось бы, чтобы король и его подданные имели основание жаловаться на обиду, которую я причинил им, дав ложное и преуменьшенное представление об их стране.

Его величество редко держит в своих конюшнях более шестисот лошадей. Ростом они от пятидесяти четырех до шестидесяти футов. Во время торжественных выездов короля сопровождает

гвардия в количестве пятисот всадников, что представляет зрелище, блистательнее которого, казалось мне, ничего не может быть, пока я не увидел его армии в боевом порядке, о чем буду иметь случай рассказать потом.

Глава V

Различные приключения автора. Казнь преступника.

Автор показывает свое искусство в мореплавании

Жизнь моя была бы довольно счастливой в этой стране, если бы маленький рост не подвергал меня разным смешным и досадным случайностям, о которых я позволю себе рассказать читателям. Глюмдальклич часто выносила меня в меньшем ящике в дворцовый сад и иногда вынимала оттуда и держала на руке или спускала на землю прогуляться. Я вспоминаю, как однажды, еще в то время, когда карлик жил при дворе, он пошел в сад следом за нами. Моя нянюшка спустила меня на землю возле карликовых яблонь, где остановился также и он. И тут меня дернуло блеснуть своим остроумием и сделать глупый намек на то, что деревья являются такими же карликами, как и он (тамошний язык выражал это так же хорошо, как и наш). В отместку злой шут, улучив момент, когда я проходил под одной из яблонь,

встряхнул ее прямо над моей головой, вследствие чего с десяток яблок, величиной в бристольский бочонок каждое, посыпалось вокруг меня, причем одно из них угодило мне в спину, когда я нагнулся, сшибло меня с ног, и я плашмя растянулся на земле, но не ушибся, и по моей просьбе карлик был прощен, тем более что я сам вызвал его на шалость.

В другой раз Глюмдальклич, оставив меня одного на зеленой лужайке, отлучилась куда-то со своей гувернанткой. Тем временем внезапно разразился такой страшный град, что я немедленно был повален им на землю, и, когда я упал, градины стали пребольно стегать меня по всему телу, точно теннисные мячи. Кое-как на четвереньках мне удалось доползти до края грядки с тимьяном и найти там убежище, уткнувшись лицом в землю, но я был так исколочен, что пролежал в постели десять дней. В этом нет ничего удивительного, потому что природа соблюдает здесь точное соответствие во всех своих явлениях, и каждая градина почти в тысячу восемьсот раз больше, чем у нас в Европе; я могу утверждать это на основании опыта, потому что из любопытства взвешивал тамошние градины и измерял их.

В том же саду со мной случилось другое, более

опасное приключение. Однажды моя нянюшка, оставив меня в безопасном, по ее предположению, месте (о чем я часто просил ее, чтобы иметь возможность на свободе предаться своим размышлениям) и не взяв с собой моего ящика, чтобы не утруждать себя его переноской, ушла с гувернанткой и другими знакомыми дамами в другую часть сада, откуда не могла слышать моего голоса. Во время ее отсутствия небольшой белый спаниель, принадлежавший одному из садовников, забравшись случайно в сад, пробегал недалеко от места, где я лежал. Почуяв меня, собака устремилась ко мне, схватила меня в пасть и принесла к хозяину, подле которого осторожно положила меня на землю, виляя хвостом. По счастливой случайности, она была так хорошо выдрессирована, что принесла меня в зубах, не только не повредив моего тела, но даже не порвав платья. Бедный садовник, хорошо знавший меня и чувствовавший ко мне большое расположение, страшно перепугался. Он осторожно поднял меня обеими руками и спросил, как я себя чувствую; но от неожиданности у меня захватило дух, и я не мог выговорить ни слова. Спустя несколько минут я пришел в себя, и садовник отнес меня невредимым к моей нянюшке, которая в это вре-

мя возвратилась, и, не найдя меня на прежнем месте, а также не получая ответа на зов, была в смертельном испуге. Она сильно выбранила садовника за собаку. Но мы умолчали об этом случае — она из боязни гнева королевы, а я, по правде говоря, из нежелания разглашать при дворе историю, в которой я играл не очень завидную роль.

После этого случая Глюмдальклич твердо решила ни на минуту не выпускать меня из виду, когда мы выходили из дому. Я давно боялся такого решения и потому скрывал от нее некоторые незначительные приключения, случавшиеся со мной в ее отсутствие. Раз коршун, паривший над садом, ринулся на меня, и если бы я не вытащил храбро тесак и, обороняясь им, не убежал под густой шпалерник, он, наверное, унес бы меня в своих когтях. В другой раз, взобравшись на вершину кротовины, я провалился по шею в нору, через которую крот выбрасывал землю; чтобы объяснить, почему у меня испорчено платье, я выдумал какую-то небылицу, которую не стоит повторять. Точно так же, гуляя раз в одиночестве и вспоминая мою бедную Англию, я споткнулся о раковину улитки и сломал себе голень правой ноги.

Не могу определить, удовольствие или унижение испытывал я во время этих одиноких прогулок, когда даже самые маленькие птицы не выказывали никакого страха в моем присутствии, но прыгали на расстоянии ярда от меня, отыскивая червяков и букашек с таким равнодушием и спокойствием, точно вблизи никого не было. Помню, раз дрозд настолько обнаглел, что клювом выхватил у меня из рук кусок пирога, который Глюмдальклич дала мне на завтрак. Когда я пытался поймать какую-нибудь птицу, она смело поворачивалась ко мне и норовила клюнуть в пальцы, а затем как ни в чем не бывало продолжала охотиться за червяками или улитками. Но однажды я взял толстую дубинку и так ловко запустил ею изо всей силы в коноплянку, что она повалилась замертво; тогда, схватив ее за шею обеими руками, я с торжеством побежал с ней к нянюшке. Между тем птица, которая была только оглушена, оправилась и начала наносить мне крыльями такие удары по голове и телу (хотя я держал ее вытянутыми руками и она не могла достать меня своими когтями), что раз двадцать я едва не выпустил ее. Но на выручку подоспел слуга, который свернул птице шею. На следующий день, по приказанию королевы, мне

подали эту коноплянку на обед. Насколько могу припомнить, она показалась мне более крупной, чем наш лебедь.

Часто фрейлины приглашали Глюмдальклич в свои комнаты и просили ее принести меня с собой ради удовольствия посмотреть и потрогать меня. Часто они раздевали меня донага и голого клали себе на грудь, что мне было очень противно, потому что, говоря правду, их кожа издавала весьма неприятный запах. Я упоминаю здесь об этом обстоятельстве вовсе не с намерением опорочить этих прелестных дам, к которым я питаю всяческое почтение; просто мне кажется, что мои чувства, в соответствии с моим маленьким ростом, были более изощренны и нет никаких оснований думать, чтобы эти достопочтенные особы были менее приятны своим поклонникам или друг другу, чем особы того же ранга у нас в Англии. Наконец, я нахожу, что их природный запах гораздо сноснее тех духов, которые они обыкновенно употребляют и от которых мне всегда бывало дурно. Я никогда не забуду, как однажды в жаркую погоду, после того как я долго занимался физической работой, один мой близкий друг лилипут позволил себе пожаловаться на исходящий от меня резкий запах, хотя я так

же мало страдаю этим недостатком, как и большинство представителей моего пола, и полагаю, что чувствительность лилипута была столь же тонкой по отношению ко мне, как моя по отношению к этим великанам. Но я не могу при этом не отдать должного моей повелительнице королеве и Глюмдальклич, моей нянюшке, тело которых было так же душисто, как тело самой деликатной английской леди.

Неприятнее всего у этих фрейлин (когда моя нянюшка приносила меня к ним) было слишком уж бесцеремонное их обращение со мной, словно я был существом, не имеющим никакого значения. Они раздевались донага, меняли сорочки в моем присутствии, когда я находился на туалетном столе перед их обнаженными телами; но я уверяю, что это зрелище совсем не соблазняло меня и не вызывало во мне никаких других чувств, кроме отвращения и гадливости; когда я смотрел с близкого расстояния, кожа их казалась страшно грубой и неровной, разноцветной и покрытой родимыми пятнами величиной с тарелку, а волоски, которыми она была усеяна, имели вид толстых бечевок; обойду молчанием остальные части их тела. Точно так же они нисколько не стеснялись выливать при мне то, что

было ими выпито в количестве, по крайней мере, двух бочек, в сосуд, вмещавший не менее трех тонн. Самая красивая из этих фрейлин, веселая шаловливая девушка шестнадцати лет, иногда сажала меня верхом на один из своих сосков и заставляла совершать по своему телу другие экскурсии, но читатель разрешит мне не входить в дальнейшие подробности. Это до такой степени было неприятно мне, что я попросил Глюмдальклич придумать какое-нибудь извинение, чтобы не видеться больше с этой девицей.

Однажды молодой джентльмен, племянник гувернантки моей нянюшки, пригласил дам посмотреть смертную казнь. Приговоренный был убийца близкого друга этого джентльмена. Глюмдальклич от природы была очень сострадательна, и ее едва убедили принять участие в компании; что касается меня, то хотя я питал отвращение к такого рода зрелищам, но любопытство соблазнило меня посмотреть вещь, которая, по моим предположениям, должна была быть необыкновенной. Преступник был привязан к стулу на специально воздвигнутом эшафоте; он был обезглавлен ударом меча длиною в сорок футов. Кровь брызнула из вен и артерий такой обильной и высокой струей, что с ней не мог

бы сравняться большой версальский фонтан, и голова, падая на помост эшафота, так стукнула, что я привскочил, несмотря на то что находился на расстоянии, по крайней мере, английской полумили от места казни.

Королева, часто слышавшая мои рассказы о морских путешествиях и пользовавшаяся каждым удобным случаем, чтобы доставить мне развлечение, когда видела меня печальным, спросила однажды, умею ли я обращаться с парусами или с веслами и не будет ли полезно для моего здоровья позаниматься немного греблей. Я отвечал, что то и другое я умею в совершенстве, потому что хотя по профессии своей я хирург, или корабельный врач, но в критические минуты мне приходилось исполнять обязанности простого матроса. Правда, я не видел, каким образом желание королевы могло быть исполнено в этой стране, где самая маленькая лодка по своим размерам равнялась нашему первоклассному военному кораблю; с другой стороны, судно, которым я был бы в силах управлять, не выдержало бы напора воды ни одной здешней реки. Тогда ее величество сказала, что ее столяр сделает лодку, если я буду руководить его работой, и что она прикажет устроить бассейн для катания в этой

лодке. Столяр, весьма искусный мастер, в десять дней соорудил по моим указаниям игрушечную лодку со всеми снастями, которая могла свободно выдержать восемь европейцев. Когда лодка была окончена, королева пришла в такой восторг, что тотчас же понесла показать ее королю. Последний приказал пустить ее для испытания в лохань с водой, но по недостатку места я не мог действовать там веслами. Однако королева еще раньше составила другой проект. Она приказала столяру сделать деревянное корыто в триста футов длины, пятьдесят ширины и восемь глубины. Это корыто, хорошо просмоленное для предохранения от течи, было поставлено на полу у стены одной из комнат дворца. На дне его находился кран для спуска воды, когда она начинала застаиваться, и двое слуг легко могли в полчаса снова наполнить его водой. В нем я часто занимался греблей как для собственного развлечения, так и для удовольствия королевы и ее фрейлин, которых очень забавляли мое искусство и ловкость. Иногда я ставил парус, и тогда моя работа ограничивалась управлением им, дамы же производили ветер своими веерами, когда же они уставали, то на мой парус дули пажи, между тем как я с настоящим искусством моряка держал лодку

то на штирборте, то на бакборте. После катания Глюмдальклич уносила лодку в свою комнату и вешала ее на гвоздь для просушки.

Раз во время этих упражнений случилось происшествие, которое едва не стоило мне жизни. Когда паж опустил лодку в корыто, гувернантка Глюмдальклич любезно подняла меня, чтобы посадить в лодку. Но я проскользнул у нее между пальцами и непременно упал бы на пол с высоты сорока футов, если бы, по счастливой случайности, меня не задержала большая булавка в корсаже этой любезной дамы. Головка булавки прошла между рубашкой и поясом моих штанов, и, таким образом, я повис в воздухе, пока Глюмдальклич не прибежала ко мне на помощь.

В другой раз слуга, на обязанности которого лежало наполнять мое корыто каждые три дня свежей водой, по небрежности недоглядел, как вылил из ведра вместе с водой громадную лягушку. Когда меня сажали в лодку, лягушка притаилась; но едва увидев место, на которое можно было сесть, она вскарабкалась в лодку и так сильно накренила ее на одну сторону, что я должен был налечь всею тяжестью тела на противоположный борт, чтобы не дать лодке опрокинуться. Очутившись в лодке, лягушка

стала прыгать взад и вперед над моей головой, обдавая мое лицо и платье своей вонючей слизью. Благодаря огромным своим размерам и нескладности она казалась мне самым безобразным животным, какое можно себе представить. Тем не менее я просил Глюмдальклич предоставить мне самому разделаться с ней. После нескольких тумаков веслом я наконец заставил ее выскочить из лодки.

Но величайшая опасность, какой только я подвергался в этом королевстве, исходила от обезьяны, принадлежавшей одному из служащих королевской кухни. Ушедши куда-то по делу или в гости, Глюмдальклич заперла меня в своей комнате. Погода стояла жаркая, и потому окно комнаты было открыто, точно так же как окна и дверь моего большого ящика, в котором я любил проводить время, так как он был обширен и удобен. Я сидел спокойно за столом и предавался размышлениям, как вдруг услышал, что кто-то проник через окно в комнату Глюмдальклич и стал прыгать по ней из конца в конец. Несмотря на сильный испуг, я все же рискнул, не трогаясь с места, взглянуть, что там происходит.

Я увидел обезьяну: она резвилась и скакала взад и вперед, пока не наткнулась на мой ящик,

который стала рассматривать с большим любопытством и удовольствием, заглядывая во все окна и в дверь. Я забился в дальний угол своей комнаты, то есть ящика, но взор обезьяны, исследовавший его содержимое, привел меня в такой ужас, что я потерял способность соображать и не догадался спрятаться под кровать, хотя легко мог это сделать. Между тем обезьяна, с гримасами и дикими воплями осматривавшая мою комнату, в заключение обнаружила меня; тогда, просунув в дверь лапу, как кошка, играющая с мышью, она, — хотя я часто перебегал с места на место, чтобы ускользнуть от чудовища, — изловчилась, схватила меня за полу кафтана (сшитого из местного шелка, очень толстого и прочного) и вытащила наружу. Она взяла меня в верхнюю правую лапу и стала держать так, как кормилица держит ребенка, которому собирается дать грудь; у нас в Европе я сам наблюдал, как обезьяны берут таким образом котят. Когда я попытался сопротивляться, она так сильно сжала меня, что я счел более благоразумным покориться. По всей вероятности, она приняла меня за детеныша своей породы, потому что часто нежно гладила меня по лицу свободной лапой. Шум отворяемой двери прервал эти нежности; обезьяна мгновен-

но бросилась в окно, через которое она проникла в комнату, а оттуда на трех лапах, держа меня в четвертой, полезла по водосточным трубам на крышу соседней постройки. Я услышал крик Глюмдальклич в ту минуту, когда обезьяна уносила меня. Бедная девочка едва не помешалась; весь дворец был поднят на ноги, слуги побежали за лестницами; сотни людей видели со двора, как обезьяна уселась на самом коньке крыши; одной лапой она держала меня, как ребенка, а другой набивала мой рот яствами, которые вынимала из защечных мешков, и угощала тумаками, когда я отказывался от этой пищи. Стоявшая внизу челядь покатывалась со смеху, глядя на эту картину; и мне кажется, что людей этих нельзя строго осуждать, так как зрелище бесспорно было очень забавно для всех, кроме меня. Некоторые стали швырять камнями, надеясь прогнать таким образом обезьяну с крыши, но дворцовая полиция строго запретила это, так как иначе мне, вероятно, размозжили бы голову.

Были приставлены лестницы, и по ним поднялось несколько человек; увидя себя окруженной и сообразив, что на трех лапах ей не удрать, обезьяна бросила меня на конек крыши и дала тягу. Я остался на высоте трехсот ярдов от земли,

ожидая каждую минуту, что меня сдует ветер или что вследствие головокружения я сам упаду и кубарем скачусь с конька до края крыши; но тут один бравый парень, слуга моей нянюшки, взобрался на крышу, положил меня в карман своих штанов и благополучно спустился вниз.

Я почти задыхался от дряни, которой обезьяна набила мой рот; но моя милая нянюшка извлекла ее оттуда небольшой иголкой, после чего меня вырвало, и я почувствовал большое облегчение. Однако я так ослабел и так был помят объятиями этого мерзкого животного, что пятнадцать дней пролежал в постели. Король, королева и все придворные каждый день осведомлялись о моем здоровье, и ее величество несколько раз навещала меня во время болезни. Обезьяну убили, и был отдан приказ не держать во дворце подобных животных.

Когда, по выздоровлении, я явился к королю благодарить его за оказанные мне милости, его величество изволил много шутить над моим приключением и спрашивал, какие мысли мне приходили в голову, когда я был в лапах обезьяны, как мне понравились ее кушанье и ее способ угощенья; подействовал ли свежий воздух на мой аппетит. Его величеству угодно было также

знать, что я стал бы делать при подобной оказии у себя на родине. На эти вопросы я отвечал его величеству, что в Европе нет обезьян, кроме тех, которые как диковинки привозятся из чужих стран и которые так малы, что я бы справился с целой дюжиной их, если бы они осмелились на меня напасть. Что же касается чудовища, с которым мне недавно пришлось иметь дело (обезьяна в самом деле величиной была со слона), то, не отними у меня страх способности владеть тесаком (произнося эти слова, я стал в воинственную позу и ухватился за рукоятку своего тесака), я, может быть, нанес бы этому страшилищу, когда оно просунуло лапу в мою комнату, такую рану, что оно радо было бы как можно скорее убраться от меня. Все это я сказал твердым тоном, как человек, ревниво заботящийся о том, чтобы не возникло никаких сомнений насчет его храбрости. И все же речь моя вызвала лишь громкий смех придворных, от которого они не могли удержаться, несмотря на все почтение к его величеству. Это навело меня на грустные мысли о тщете попыток добиться уважения к себе со стороны людей, стоящих неизмеримо выше нас. Однако поведение, подобное моему, я очень часто наблюдал по приезде в Англию, где

какой-нибудь ничтожный и презренный плут, не имея за собой ни благородного происхождения, ни личных заслуг, ни ума, ни здравого смысла, осмеливается иногда напускать на себя важный вид и ставить себя на одну ногу с величайшими людьми в государстве.

Каждый день я давал при дворе повод для веселого смеха; и даже Глюмдальклич, несмотря на свою нежную привязанность ко мне, не упускала случая рассказать королеве о моих выходках, когда считала, что они способны будут позабавить ее величество. Однажды девочке нездоровилось, и она была взята гувернанткой на загородную прогулку, миль за тридцать от дворца, подышать чистым воздухом. Карета остановилась у тропинки, пересекавшей поле; Глюмдальклич поставила мой дорожный ящик на землю, и я отправился прогуляться. На пути лежала куча коровьего помета, и мне вздумалось испытать свою ловкость и попробовать перескочить через эту кучу. Я разбежался, но, к несчастью, сделал слишком короткий прыжок и оказался в самой середине кучи, по колени в помете. Немало труда стоило мне выбраться оттуда, после чего один из лакеев тщательно вытер своим носовым платком мое перепачканное платье, а Глюмдальклич

больше не выпускала меня из ящика до возвращения домой. Королева немедленно была извещена об этом приключении, а лакеи разнесли его по всему дворцу, так что в течение нескольких дней я был предметом общих насмешек.

Глава VI

Различные выдумки автора для развлечения короля и королевы.

Он показывает свои музыкальные способности.

Король интересуется общественным строем Европы, который автор излагает ему.

Замечания короля по этому поводу

Обыкновенно раз или два в неделю я присутствовал при утреннем туалете короля и часто видел, как его бреет цирюльник, что сначала наводило на меня ужас, так как его бритва была почти в два раза длиннее нашей косы. Следуя обычаям страны, его величество брился только два раза в неделю. Однажды я попросил у цирюльника дать мне помылки или мыльную пену и вытащил оттуда около сорока или пятидесяти самых толстых волос. Затем, раздобыв тоненькую щепочку, я обстрогал ее в виде спинки гребешка, просверлив в ней на равных расстояниях, с

помощью самой тонкой иголки, какую можно было достать у Глюмдальклич, ряд отверстий. В отверстия я вставил волоски, обрезав и оскоблив их на концах моим перочинным ножом так искусно, что получился довольно сносный гребень. Эта обновка оказалась очень кстати, потому что на моем гребне зубцы пообломались, а здесь не было такого искусного мастера, который мог бы сделать мне новый. Это навело меня на мысль устроить одно развлечение, которому я посвятил много часов моего досуга. Я попросил камеристку королевы сохранять для меня вычески волос ее величества. Через некоторое время у меня набралось их довольно много. Тогда, посоветовавшись с моим приятелем столяром, получившим приказание исполнять все мои маленькие заказы, я поручил ему сделать под моим наблюдением два стула такой же величины, как те, что стояли у меня в спальне, и просверлить в них тонким шилом отверстия вокруг тех частей, которые предназначались для сиденья и спинки. В эти отверстия я вплел самые крепкие волосы, какие мне удалось набрать, как это делается в плетеных английских стульях. Окончив работу, я подарил стулья королеве, которая поставила их в своем будуаре, показывая всем как редкость; они действительно

вызывали удивление всех, кто их видел. Королева изъявила желание, чтобы я сел на один из этих стульев, но я наотрез отказался ей повиноваться, заявив, что я лучше соглашусь претерпеть тысячу смертей, чем помещу низкую часть моего тела на драгоценные волосы, украшавшие когда-то голову ее величества. Из этих волос я сделал также небольшой изящный кошелек (я всегда отличался наклонностью мастерить разные вещицы) длиною около пяти футов, с вензелем ее величества, вытканным золотыми буквами; с согласия королевы я подарил его Глюмдальклич. Но, говоря правду, этот кошелек годился скорее на показ, чем для практического употребления, так как он не мог выдержать тяжести больших монет; поэтому она клала туда только безделушки, которые так нравятся девочкам.

Король любил музыку, и при дворе часто давались концерты, на которые иногда приносили и меня и помещали в ящике на столе; однако звуки инструментов были так оглушительны, что я с трудом различал мотив. Я уверен, что все барабанщики и трубачи королевской армии, заиграв разом под вашим ухом, не произвели бы такого эффекта. Во время концерта я старался устраиваться подальше от исполнителей, запи-

рал в ящике окна, двери, задергивал гардины и портьеры; только при этих условиях я находил их музыку не лишенной приятности.

В молодости я научился немного играть на шпинете. В комнате Глюмдальклич стоял такой же инструмент; два раза в неделю к ней приходил учитель давать уроки. Я называю этот инструмент шпинетом по его некоторому сходству с последним и, главное, потому, что играют на нем точно так же, как и на шпинете. Мне пришла в голову мысль развлечь короля и королеву исполнением английских мелодий на этом инструменте. Но предприятие это оказалось необыкновенно трудным, так как инструмент имел длину до шестидесяти футов и каждая его клавиша была шириной в фут, так что, растянув обе руки, я не мог захватить больше пяти клавиш, причем для нажатия клавиши требовался основательный удар кулаком по ней, что стоило бы мне большого труда и дало бы ничтожные результаты. Придуманный мной выход был таков: я приготовил две круглые палки величиной в обыкновенную дубинку, один конец у них был толще другого; я обтянул толстые концы мышиной кожей, чтобы при ударах по клавишам не испортить их и не осложнять игру посторонни-

ми звуками. Перед шпинетом была поставлена скамья на четыре фута ниже клавиатуры, куда подняли меня. Я бегал по этой скамье взад и вперед со всей доступной для меня быстротой, ударяя палками по нужным клавишам, и таким образом ухитрился сыграть жигу, к величайшему удовольствию их величеств. Но это было самое изнурительное физическое упражнение, какое мне случалось когда-либо проделывать; и все же я ударял не более чем по шестнадцати клавишам и не мог, следовательно, играть на басах и на дискантах одновременно, как делают другие артисты, что, разумеется, сильно вредило моему исполнению.

Король, который, как я уже заметил, был монарх весьма тонкого ума, часто приказывал приносить меня в ящике к нему в кабинет и ставить на письменный стол. Затем он предлагал мне взять из ящика стул и сажал меня на расстоянии трех ярдов от себя на бюро, почти на уровне своего лица. В таком положении мне часто случалось беседовать с ним. Однажды я осмелился заметить его величеству, что презрение, выражаемое им к Европе и всему остальному миру, не согласуется с высокими качествами его благородного ума; что умственные способности не возрастают пропор-

ционально размерам тела, а напротив, в нашей стране наблюдается, что самые высокие люди обыкновенно в наименьшей степени наделены ими; что среди животных пчелы и муравьи пользуются славой более изобретательных, искусных и смышленых, чем многие крупные породы, и что каким бы ничтожным я ни казался в глазах короля, все же я надеюсь, что рано или поздно мне представится случай оказать его величеству какую-нибудь важную услугу. Король слушал меня внимательно и после этих бесед стал гораздо лучшего мнения обо мне, чем прежде. Он просил меня сообщить ему возможно более точные сведения об английском правительстве, ибо, как бы ни были государи привязаны к обычаям своей страны (такое заключение о других монархах он сделал на основании прежних бесед со мной), он был бы рад услышать что-нибудь, что заслуживало бы подражания.

Сам вообрази, любезный читатель, как страстно желал я обладать тогда красноречием Демосфена или Цицерона, которое дало бы мне возможность прославить дорогое мне отечество в стиле, равняющемся его достоинствам и его величию.

Я начал свою речь с сообщения его величеству, что наше государство состоит из двух островов,

образующих три могущественных королевства под властью одного монарха; к ним нужно еще прибавить наши колонии в Америке. Я долго распространялся о плодородии нашей почвы и умеренности нашего климата. Потом я подробно рассказал об устройстве нашего парламента, в состав которого входит славный корпус, называемый палатой пэров, лиц самого знатного происхождения, владеющих древнейшими и обширнейшими вотчинами. Я описал ту необыкновенную заботливость, с какой всегда относились к их воспитанию в искусствах и военном деле, чтобы подготовить их к положению прирожденных советников короля и королевства, способных принимать участие в законодательстве; быть членами верховного суда, решения которого не подлежат обжалованию; благодаря своей храбрости, отменному поведению и преданности всегда готовых первыми выступить на защиту своего монарха и отечества. Я сказал, что эти люди являются украшением и оплотом королевства, достойными наследниками своих знаменитых предков, почести которых были наградой за их доблесть, неизменно наследуемую потомками до настоящего времени; что в состав этого высокого собрания входит некоторое количество духовных

особ, носящих сан епископов, особливой обязанностью которых являются забота о религии и наблюдение за теми, кто научает ее истинам народ; что эти духовные особы отыскиваются и избираются королем и его мудрейшими советниками из среды духовенства всей нации как наиболее отличившиеся святостью своей жизни и глубиною своей учености; что они действительно являются духовными отцами духовенства и своего народа.

Другую часть парламента, — продолжал я, — образует собрание, называемое палатой общин, членами которой бывают перворазрядные джентльмены, свободно избираемые из числа этого сословия самим народом, за их великие способности и любовь к своей стране, представлять мудрость всей нации. Таким образом, обе эти палаты являются самым величественным собранием в Европе, коему вместе с королем поручено все законодательство.

Затем я перешел к описанию судебных палат, руководимых судьями, этими почтенными мудрецами и толкователями законов, для разрешения тяжеб, наказания порока и ограждения невинности. Я упомянул о бережливом управлении нашими финансами и о храбрых подвигах

нашей армии как на суше, так и на море. Я назвал число нашего населения, подсчитав, сколько миллионов может быть у нас в каждой религиозной секте и в каждой политической партии. Я не умолчал также об играх и увеселениях англичан и вообще ни о какой подробности, если она могла, по моему мнению, служить к возвеличению моего отечества. И я закончил все кратким историческим обзором событий в Англии за последнее столетие.

Этот разговор продолжался в течение пяти аудиенций, из которых каждая заняла несколько часов. Король слушал меня очень внимательно, часто записывая то, что я говорил, и те вопросы, которые он собирался задать мне.

Когда я окончил свое длинное повествование, его величество в шестой аудиенции, справясь со своими заметками, высказал целый ряд сомнений, недоумений и возражений по поводу каждого из моих утверждений. Он спросил: какие методы применяются для телесного и духовного развития знатного юношества и в какого рода занятиях проводит оно обыкновенно первую и наиболее переимчивую часть своей жизни? Какой порядок пополнения этого собрания в случае угасания какого-нибудь знатного рода? Какие

качества требуются от тех, кто впервые возводится в звание лорда: не случается ли иногда, что эти назначения бывают обусловлены прихотью монарха, деньгами, предложенными придворной даме или первому министру, или желанием усилить партию, противную общественным интересам? Насколько основательно эти лорды знают законы своей страны и позволяет ли им это знание решать в качестве высшей инстанции дела своих сограждан? Действительно ли эти лорды всегда так чужды корыстолюбия, партийности и других недостатков, что на них не может подействовать подкуп, лесть и тому подобное? Действительно ли духовные лорды, о которых я говорил, возводятся в этот сан только благодаря их глубокому знанию религиозных доктрин и благодаря их святой жизни? Неужели никогда не угождали они мирским интересам, будучи простыми священниками, и нет среди них растленных капелланов какого-нибудь вельможи, мнениям которого они продолжают раболепно следовать и после того, как получили доступ в это собрание?

Затем король пожелал узнать, какая система практикуется при выборах тех депутатов, которых я назвал членами палаты общин: разве не

случается, что чужой человек, с туго набитым кошельком, оказывает давление на избирателей, склоняя их голосовать за него вместо их помещика или наиболее достойного дворянина в околотке? Почему эти люди так страстно стремятся попасть в упомянутое собрание, если пребывание в нем, по моим словам, сопряжено с большим беспокойством и издержками, приводящими часто к разорению семьи, и не оплачивается ни жалованьем, ни пенсией? Такая жертва требует от человека столько добродетели и гражданственности, что его величество выразил сомнение, всегда ли она является искренней. И он желал узнать, нет ли у этих ревнителей каких-нибудь видов вознаградить себя за понесенные ими тягости и беспокойства путем принесения в жертву общественного блага намерениям слабого и порочного монарха вкупе с его развращенными министрами. Он задал мне еще множество вопросов и выпытывал все подробности, касающиеся этой темы, высказав целый ряд критических замечаний и возражений, повторять которые я считаю неудобным и неблагоразумным. По поводу моего описания наших судебных палат его величеству было угодно получить разъяснения относительно

нескольких пунктов. И я мог наилучшим образом удовлетворить его желание, так как когда-то был почти разорен продолжительным процессом в верховном суде, несмотря на то что процесс был мной выигран с присуждением мне судебных издержек. Король спросил: Сколько нужно времени для определения, кто прав и кто виноват, и каких это требует расходов? Могут ли адвокаты и стряпчие выступать в судах ходатаями по делам заведомо несправедливым, в явное нарушение чужого права? Оказывает ли какое-нибудь давление на чашу весов правосудия принадлежность к религиозным сектам и политическим партиям? Получили ли упомянутые мной адвокаты широкое юридическое образование, или же они знакомы только с местными, провинциальными и национальными обычаями? Принимают ли какое-нибудь участие эти адвокаты, а равно и судьи, в составлении тех законов, толкование и комментирование которых предоставлено их усмотрению? Не случалось ли когда-нибудь, чтобы одни и те же лица защищали такое дело, против которого в другое время они возражали, ссылаясь на прецеденты для доказательства противоположных мнений? Богатую или бедную корпорацию составляют эти люди? Получают ли

они за свои советы и ведение тяжбы денежное вознаграждение? В частности, допускаются ли они в качестве членов в нижнюю палату?

Затем король обратился к нашим финансам. Ему казалось, что мне изменила память, когда я называл цифры доходов и расходов, так как я определил первые в пять или шесть миллионов в год, между тем как расходы, по моим словам, превышают иногда означенную цифру больше чем вдвое. Заметки, сделанные королем по этому поводу, были особенно тщательны, потому что, по его словам, он надеялся извлечь для себя пользу из знакомства с ведением наших финансов и не мог ошибиться в своих выкладках. Но раз мои цифры были правильны, то король недоумевал, каким образом государство может расточать свое состояние, как частный человек. Он спрашивал, кто наши кредиторы и где мы находим деньги для платежа долгов. Он был поражен, слушая мои рассказы о столь обременительных и затяжных войнах, и вывел заключение, что мы — или народ сварливый, или же окружены дурными соседями и что наши генералы, наверное, богаче королей. Он спрашивал, что за дела могут быть у нас за пределами наших островов, кроме торговли, дипломатических сношений и защиты берегов

с помощью нашего флота. Особенно поразило короля то обстоятельство, что нам, свободному народу, необходима наемная регулярная армия в мирное время. Ведь если у нас существует самоуправление, осуществляемое выбранными нами депутатами, то — недоумевал король — кого же нам бояться и с кем воевать? И он спросил меня: разве не лучше может быть защищен дом каждого из граждан его хозяином с детьми и домочадцами, чем полдюжиной случайно завербованных на улице за небольшое жалованье мошенников, которые могут получить в сто раз больше, перерезав горло охраняемым лицам?

Король много смеялся над моей странной арифметикой (как угодно было ему выразиться), по которой я определил численность нашего народонаселения, сложив количество последователей существующих у нас религиозных сект и политических партий. Он не понимал, почему того, кто исповедует мнения, пагубные для общества, принуждают изменить их, но не принуждают держать их при себе. И если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, то дозволение открыто исповедовать мнения пагубные служит выражением слабости; в самом деле, можно не запрещать человеку дер-

жать яд в своем доме, но нельзя позволять ему продавать этот яд как лекарство.

Король обратил внимание, что в числе развлечений, которым предается наша знать и наше дворянство, я назвал азартные игры. Ему хотелось знать, в каком возрасте начинают играть и до каких лет практикуется это занятие; сколько времени отнимает оно; не приводит ли иногда увлечение им к потере состояния; не случается ли, кроме того, что порочные и низкие люди, изучив все тонкости этого искусства, игрой наживают большие богатства и держат подчас в зависимости от себя людей весьма знатных и что в то же время последние, находясь постоянно в презренной компании, отвлекаются от совершенствования своего разума и бывают вынуждены благодаря своим проигрышам изучать все искусство ловкого мошенничества и применять его на практике.

Мой краткий исторический очерк нашей страны за последнее столетие поверг короля в крайнее изумление. Он объявил, что, по его мнению, эта история есть не что иное, как куча заговоров, смут, убийств, избиений, революций и высылок, являющихся худшим результатом жадности, партийности, лицемерия, вероломства, жесто-

кости, бешенства, безумия, ненависти, зависти, сластолюбия, злобы и честолюбия.

В следующей аудиенции его величество взял на себя труд вкратце резюмировать все, о чем я говорил; он сравнивал свои вопросы с моими ответами; потом, взяв меня в руки и тихо лаская, обратился ко мне со следующими словами, которых я никогда не забуду, как не забуду и тона, каким они были сказаны: Мой маленький друг Грильдриг, вы произнесли удивительнейший панегирик вашему отечеству; вы ясно доказали, что невежество, леность и порок являются подчас единственными качествами, присущими законодателю; что законы лучше всего объясняются, истолковываются и применяются на практике теми, кто более всего заинтересован и способен извращать, запутывать и обходить их. В ваших учреждениях я усматриваю черты, которые в своей основе, может быть, и терпимы, но они наполовину истреблены, а в остальной своей части совершенно замараны и осквернены. Из сказанного вами не видно, чтобы для занятия у вас высокого положения требовалось обладание какими-нибудь достоинствами; еще менее видно, чтобы люди жаловались высокими званиями на основании их добродетелей,

чтобы духовенство получало повышение за свое благочестие или ученость, военные — за свою храбрость и благородное поведение, судьи — за свою неподкупность, сенаторы — за любовь к отечеству и государственные советники — за свою мудрость. Что касается вас самого (продолжал король), проведшего большую часть жизни в путешествиях, то я расположен думать, что до сих пор вам удалось избегнуть многих пороков вашей страны. Но факты, отмеченные мной в вашем рассказе, а также ответы, которые мне с таким трудом удалось выжать и вытянуть из вас, не могут не привести меня к заключению, что большинство ваших соотечественников есть порода маленьких отвратительных гадов, самых зловредных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности.

Глава VII

Любовь автора к своему отечеству.

Он делает весьма выгодное предложение королю, но король его отвергает.

Великое невежество короля в делах политики.

Несовершенство и ограниченность знаний этого народа.

Его законы, военное дело и партия

Лишь моя крайняя любовь к истине помешала мне утаить эту часть моей истории. Напрасно было выказывать свое негодование, потому что, кроме смеха, оно ничего не могло возбудить; и мне пришлось спокойно и терпеливо выслушивать это оскорбительное третирование моего благородного и горячо любимого отечества. Я искренне сожалею, что на мою долю выпала такая роль, как сожалел бы, вероятно, любой из моих читателей; но монарх этот был так любознателен и с такой жадностью стремился выведать малейшие подробности, что ни моя благодарность, ни

благовоспитанность не позволяли отказать ему в посильном удовлетворении его любопытства. Однако же — да будет разрешено мне заметить в мое оправдание — я очень искусно обошел многие вопросы короля и каждому пункту придал гораздо более благоприятное освещение, чем то было совместимо с требованиями строгой истины. Таким образом, в свой рассказ я всегда вносил похвальное пристрастие к своему отечеству, которое Дионисий Галикарнасский столь справедливо рекомендует всем историкам; мне хотелось скрыть слабости и уродливые явления в жизни моей родины и выставить в самом благоприятном свете ее красоту и добродетель. Таково было мое чистосердечное старание во время моих многочисленных бесед с этим могущественным монархом, к сожалению, однако, не увенчавшееся успехом.

Но нельзя быть слишком требовательным к королю, который совершенно отрезан от остального мира и вследствие этого находится в полном неведении нравов и обычаев других народов. Такое неведение всегда порождает известную узость мысли и множество предрассудков, которых мы, подобно другим просвещенным европейцам, совершенно чужды. И, разумеется, было бы

нелепо предлагать в качестве образца для всего человечества понятия добродетели и порока, принадлежащие столь далекому монарху.

Для подтверждения сказанного, а также чтобы показать прискорбные последствия ограниченного образования, упомяну здесь о происшествии, которое покажется невероятным. В надежде снискать еще большее благоволение короля я рассказал ему об изобретении три или четыре столетия тому назад некоего порошка, обладающего свойством мгновенно воспламеняться в каком угодно огромном количестве от малейшей искры и разлетаться в воздухе, производя при этом шум и сотрясение, подобные грому. Я сказал, что определенное количество этого порошка, будучи забито в полую медную или жестяную трубу, выбрасывает, смотря по величине трубы, железный или свинцовый шар с такой силой и быстротой, что ничто не может устоять против его удара; что наиболее крупные из пущенных таким образом шаров не только уничтожают целые шеренги солдат, но разрушают до основания самые крепкие стены, пускают ко дну громадные корабли с тысячами людей, а скованные цепью вместе рассекают мачты и снасти, крошат на куски сотни человеческих тел и сеют кру-

гом опустошение; что часто мы начиняем этим порошком большие полые железные шары и особыми орудиями пускаем их в осаждаемые города, где они взрывают мостовые, разносят на куски дома, зажигают их, разбрасывая во все стороны осколки, которые проламывают череп каждому, кто случится вблизи; что мне в совершенстве известны составные части этого порошка, которые стоят недорого и встречаются повсюду; что я знаю, как их нужно смешивать, и могу научить мастеров изготовлять металлические трубы, согласуя их калибр с остальными предметами в королевстве его величества, причем самые большие не будут превышать ста футов в длину, и что, наконец, двадцать или тридцать таких труб, заряженных соответствующим количеством пороха и соответствующими ядрами, в несколько часов разрушат крепостные стены самого большого города в его владениях и обратят в развалины всю столицу, если бы население ее вздумало сопротивляться его неограниченной власти. Я скромно предложил его величеству эту маленькую услугу в знак благодарности за многие его милости и покровительство.

Выслушав описание этих разрушительных орудий и мое предложение, король пришел в ужас.

Он был поражен, как может такое бессильное и ничтожное насекомое, каким был я (это его собственное выражение), не только питать столь бесчеловечные мысли, но и до того свыкнуться с ними, чтобы совершенно равнодушно рисовать сцены кровопролития и опустошения как самые обыкновенные действия этих разрушительных машин, изобретателем которых, сказал он, был, должно быть, какой-то злобный гений, враг рода человеческого. Он заявил, что, хотя ничто не доставляет ему такого удовольствия, как открытия в области искусства и природы, тем не менее он скорее согласится потерять половину своего королевства, чем быть посвященным в тайну подобного изобретения, и советует мне, если я дорожу своей жизнью, никогда больше о нем не упоминать.

Странное действие узких принципов и ограниченного кругозора! Этот монарх, обладающий всеми качествами, обеспечивающими любовь, почтение и уважение, одаренный большими способностями, громадным умом, глубокой ученостью и удивительным талантом управлять, почти обожаемый подданными, — вследствие чрезмерной ненужной щепетильности, совершенно непонятной нам, европейцам, упустил из

рук средство, которое сделало бы его властелином жизни, свободы и имущества своего народа. Говоря так, я не имею ни малейшего намерения умалить какую-нибудь из многочисленных добродетелей этого превосходного короля, хотя я отлично сознаю, что мой рассказ сильно уронит его в мнении читателя-англичанина; но я утверждаю, что подобный недостаток является следствием невежества этого народа, у которого политика до сих пор не возведена на степень науки, какою сделали ее более утонченные умы Европы. Я очень хорошо помню, как однажды в разговоре с королем мое замечание насчет того, что у нас написаны тысячи книг об искусстве управления, вызвало у него (в противоположность моим ожиданиям) самое нелестное мнение о наших умственных способностях. Он заявил, что ненавидит и презирает всякую тайну, утонченность и интригу как у государей, так и у министров. Он не мог понять, что я разумею под словами государственная тайна, если дело не касается неприятеля или враждебной нации. Все искусство управления он ограничивает самыми тесными рамками и требует для него только здравого смысла, разумности, справедливости, кротости, быстрого решения уголовных и граж-

данских дел и еще нескольких очевидных для каждого качеств, которые не стоят того, чтобы на них останавливаться. По его мнению, всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине большую услугу, чем все политики, взятые вместе.

Знания этого народа очень недостаточны; они ограничиваются моралью, историей, поэзией и математикой, но в этих областях, нужно отдать справедливость, ими достигнуто большое совершенство. Что касается математики, то она имеет здесь чисто прикладной характер и направлена на улучшение земледелия и разных отраслей техники, так что у нас она получила бы невысокую оценку. А относительно идей, сущностей, абстракций и трансценденталий мне так и не удалось внедрить в их головы ни малейшего представления.

В этой стране не дозволяется формулировать ни один закон при помощи числа слов, превышающего число букв алфавита, а в нем их насчитывают всего двадцать две; но лишь очень немногие законы достигают даже этой длины. Все они выражены в самых ясных и простых терминах, и эти люди не отличаются такой изворотливостью

ума, чтобы открывать в законе несколько смыслов; писать комментарий к какому-либо закону считается большим преступлением. Что касается гражданского и уголовного судопроизводства, то прецедентов в этих областях у них так мало, что они не могут похвастаться особенным искусством по этой части.

Искусство книгопечатания у них, как и у китайцев, существует с незапамятных времен. Но библиотеки их не очень велики. Так, например, королевская, считающаяся самой значительной, заключает в себе не более тысячи томов, помещенных в галерее длиною в сто двадцать футов, откуда мне было дозволено брать любую книгу. Столяр королевы смастерил в одной из комнат Глюмдальклич деревянный станок, вышиною в двадцать пять футов, по форме похожий на стоячую лестницу, каждая ступенька которой имела пятьдесят футов длины. Он составлял передвижной ряд ярусов, и нижний конец помещался на расстоянии десяти футов от стены комнаты. Книга, которую я желал читать, приставлялась к стене; я взбирался на самую верхнюю ступень лестницы и, повернув лицо к книге, начинал чтение с верху страницы, передвигаясь вдоль нее слева направо на расстояние восьми или десяти

шагов, смотря по длине строки, до тех пор, пока строки не опускались ниже уровня моих глаз; тогда я спускался на следующую ступеньку, пока постепенно не доходил до конца страницы, после чего поднимался снова и прочитывал таким же образом другую страницу; листы книги я переворачивал обеими руками, что было нетрудно делать, так как каждый из них по толщине и плотности не превосходил нашего картона и в книге самого большого формата имел длину всего от восемнадцати до двадцати футов.

Их слог отличается ясностью, мужественностью и гладкостью, без малейшей цветистости, ибо более всего они стараются избегать нагромождения ненужных слов и разнообразия выражений. Я прочитал много их книг, особенно исторического и нравственного содержания. Между прочим, мне доставил большое удовольствие маленький старинный трактат, который всегда лежал в спальне Глюмдальклич и принадлежал ее гувернантке, почтенной пожилой даме, много читавшей на моральные и религиозные темы. Книга повествует о слабости человеческого рода и не пользуется большим уважением, исключая женщин и простого народа. Однако мне было любопытно узнать, что мог сказать мест-

ный писатель на подобную тему. Он повторяет обычные рассуждения европейских моралистов, показывая, каким слабым, презренным и беспомощным животным является по своей природе человек; как он не способен защищаться от климатических условий и ярости диких животных; как эти животные превосходят его — одни своей силой, другие быстротой, третьи предусмотрительностью, четвертые трудолюбием. Он доказывает, что в последние упадочные столетия природа вырождается и может производить только каких-то недоносков сравнительно с людьми, которые жили в древние времена. По его мнению, есть большое основание думать, что не только человеческая порода была первоначально крупнее, но что в прежние времена существовали также великаны, о чем свидетельствуют история и предания и что подтверждается огромными костями и черепами, случайно откапываемыми в различных частях королевства, по своим размерам значительно превосходящими нынешних измельчавших людей. Он утверждает, что сами законы природы необходимо требуют, чтобы вначале мы были крупнее ростом и сильнее, менее подвержены гибели от незначительной случайности — упавшей с крыши черепицы, камня,

брошенного рукой мальчика, ручейка, в котором мы тонем. Из этих рассуждений автор извлекает несколько нравственных правил, полезных для повседневной жизни, которые незачем здесь повторять. Прочитав эту книгу, я невольно задумался над вопросом, почему у людей так распространена страсть произносить поучения на нравственные темы, а также досадовать и сетовать на свои слабости, обнаруживающиеся при борьбе со стихиями. Мне кажется, тщательное исследование вопроса может доказать всю необоснованность подобных жалоб как у нас, так и у этого народа.

Что касается военного дела, то туземцы гордятся численностью королевской армии, которая состоит из ста семидесяти шести тысяч пехоты и тридцати двух тысяч кавалерии, если можно назвать армией корпус, составленный в городах из купцов, а в деревнях из фермеров, под командой больших вельмож или мелкого дворянства, не получающих ни жалованья, ни другого вознаграждения. Но армия эта достаточно хорошо делает свои упражнения и отличается прекрасной дисциплиной, что, впрочем, неудивительно, ибо как может быть иначе там, где каждый фермер находится под командой своего помещика, а

каждый горожанин под командой первых людей в городе и где эти начальники избираются баллотировкой, как в Венеции.

Мне часто приходилось видеть военные упражнения столичного ополчения на большом поле в двадцать квадратных миль, недалеко от города. Хотя в сборе было не более двадцати пяти тысяч пехоты и шести тысяч кавалерии, но я ни за что не мог бы сосчитать их — такое громадное пространство занимала армия. Каждый кавалерист, сидя на лошади, представлял собой колонну вышиною около ста футов. Я видел, как весь этот кавалерийский корпус по команде разом обнажал сабли и размахивал ими в воздухе. Никакое воображение не может придумать ничего более грандиозного и поразительного! Казалось, будто десять тысяч молний разом вспыхивали со всех сторон небесного свода.

Мне было любопытно узнать, каким образом этот государь, владения которого нигде не граничат с другим государством, пришел к мысли организовать армию и обучить свой народ военной дисциплине. Вот что я узнал по этому поводу как из рассказов, так и из чтения исторических сочинений. В течение нескольких столетий эта страна страдала той же болезнью, которой под-

вержены многие другие государства: дворянство часто боролось за власть, народ — за свободу, а король — за абсолютное господство. Силы эти, хотя и счастливо умеряемые законами королевства, по временам выходили из равновесия и не раз затевали гражданскую войну. Последняя из таких войн благополучно окончилась при деде ныне царствующего монарха и привела все партии к соглашению и взаимным уступкам. Тогда с общего согласия было сформировано ополчение, которое всегда стоит на страже порядка.

Глава VIII

Король и королева предпринимают путешествие к границам государства. Автор сопровождает их.

Подробный рассказ о том, каким образом автор оставляет страну. Он возвращается в Англию

У меня всегда было предчувствие, что рано или поздно я возвращу себе свободу, хотя я не мог ни предугадать, каким способом, ни придумать никакого проекта, который имел бы малейшие шансы на успех. Корабль, на котором я прибыл сюда, был первый, показавшийся у этих берегов, и король отдал строжайшее повеление, на случай, если появится другой такой же корабль, притащить его к берегу и доставить со всем экипажем на телеге в Лорбрульгруд. Король имел сильное желание достать мне женщину моего роста, от которой у меня могли бы быть дети. Однако, мне кажется, я скорее согласился бы умереть, чем принять на себя позор оставить потомство, которое содержалось бы в клетках, как прирученные канарейки, и со временем, может быть, продава-

лось бы как диковинка для развлечения знатных лиц. Правда, обращались со мной очень ласково: я был любимцем могущественного короля и королевы, предметом внимания всего двора, но в этом обращении было нечто оскорбительное для моего человеческого достоинства. Я никогда не мог забыть оставленную на родине семью. Я чувствовал потребность находиться среди людей, с которыми мог бы общаться как равный с равными и ходить по улицам и полям, не опасаясь быть растоптанным, подобно лягушке или щенку. Однако мое освобождение произошло раньше, чем я ожидал, и не совсем обыкновенным образом. Я добросовестно расскажу все обстоятельства этого удивительного происшествия.

Уже два года я находился в этой стране. В начале третьего мы с Глюмдальклич сопровождали короля и королеву в их путешествии к южному побережью королевства. Меня, по обыкновению, возили в дорожном ящике, который, как я уже описывал, был очень удобной комнатой шириною в двенадцать футов. В этой комнате, при помощи шелковых веревок, я велел прикрепить к четырем углам потолка гамак, который ослаблял силу толчков, когда слуга, верхом на лошади, держал меня перед собой, согласно изъявленному

мной иногда желанию. Часто в дороге я засыпал в этом гамаке. В крыше моего ящика, прямо над гамаком, было устроено столяром, по моей просьбе, отверстие величиною в квадратный фут для доступа свежего воздуха в жаркую погоду во время моего сна; я мог по желанию открывать и закрывать это отверстие при помощи доски, двигавшейся в желобках.

Когда мы достигли цели нашего путешествия, король решил провести несколько дней во дворце близ Фленфласника, города, расположенного в восемнадцати английских милях от морского берега. Глюмдальклич и я были сильно утомлены; я схватил небольшой насморк, а бедная девочка так сильно заболела, что вынуждена была оставаться в своей комнате. Мне очень хотелось видеть океан — единственное место, которое могло служить театром моего бегства, если бы ему суждено было когда-нибудь осуществиться. Я притворился более больным, чем был на самом деле, и просил отпустить меня подышать свежим морским воздухом с пажом, которого очень любил и которому меня доверяли уже несколько раз. Никогда не забуду, с какой неохотой Глюмдальклич согласилась на эту прогулку и сколько наставлений дала она пажу заботливо беречь

меня; она была вся в слезах, как будто предчувствуя, что должно было произойти. Мальчик нес меня в ящике около получаса по направлению к скалистому морскому берегу. Здесь я велел ему поставить ящик и, открыв одно из окон, начал с тоской смотреть на воды океана. Я чувствовал себя нехорошо и сказал пажу, что хочу вздремнуть в гамаке, надеясь, что сон принесет мне облегчение. Я лег, и паж плотно закрыл окно, чтобы мне не надуло. Я скоро заснул, и все мои предположения сводятся к тому, что паж, думая, что во время сна со мной не может случиться ничего опасного, направился к скалам искать птичьи гнезда; ибо и раньше мне случалось наблюдать из моего окна, как он находил эти гнезда в расщелинах скал и доставал оттуда яйца. Как бы то ни было, но я внезапно проснулся от резкого толчка, точно кто-то с силой дернул за кольцо, прикрепленное к крышке моего ящика, чтобы удобнее было носить его. Я чувствовал, как мой ящик поднялся высоко в воздух и затем понесся со страшной скоростью. Первый толчок едва не выбросил меня из гамака, но потом движение стало более плавным. Я несколько раз принимался кричать во всю глотку, но без всякой пользы. Я смотрел в окна и видел только облака и небо. Над головой

я слышал шум, похожий на всплески крыльев, и мало-помалу начал сознавать опасность моего положения: должно быть, орел, захватив клювом кольцо моего ящика, понес его с намерением бросить о скалу, как черепаху в панцире, и затем извлечь из-под обломков мое тело и пожрать его: смышленость и чутье этой птицы дают ей возможность выследить добычу на большом расстоянии, хотя бы она была скрыта лучше, чем я, огражденный досками толщиною в два дюйма.

Спустя некоторое время я заметил, что шум усилился, а взмахи крыльев участились и что мой ящик закачался из стороны в сторону, как вывеска на столбе в ветреный день. Я услышал несколько ударов или тумаков, нанесенных, по моему предположению, орлу (ибо я был уверен, что именно орел держал в клюве кольцо моего ящика); затем вдруг я почувствовал, что падаю отвесно вниз около минуты, но с такой невероятной скоростью, что у меня захватило дух. Мое падение было остановлено страшным всплеском, который отдался в моих ушах сильнее, чем шум Ниагарского водопада. После этого я в продолжение минуты был во мраке, затем мой ящик начал подниматься, и в верхнюю часть окон я увидел свет. Тогда я понял, что упал в море. Благодаря

тяжести моего тела, а также различным вещам и железным пластинам, которыми ящик был скреплен для прочности по всем четырем углам сверху и снизу, он погрузился в воду на пять футов. Я предполагал и предполагаю теперь, что на орла, летевшего с ящиком, напали два или три соперника, надеясь поделиться добычей, и что во время битвы орел выпустил меня из клюва. Железные пластины, укрепленные на дне ящика (самые тяжелые из всех), помогли ему сохранить во время падения равновесие и не дали разбиться о поверхность воды. Все скрепы были тесно пригнаны; двери отворялись не на петлях, а поднимались и опускались, как подъемные окна. Словом, моя комната была закрыта так плотно, что воды туда проникло очень немного. С трудом выйдя из гамака, я отважился отодвинуть в крышке упомянутую выше доску, чтобы впустить свежего воздуху, от недостатка которого я почти задыхался.

Как часто возникало у меня тогда желание быть с моей милой Глюмдальклич, от которой один только час так отдалил меня! По совести говорю, что среди собственных несчастий я не мог удержаться от слез при мысли о моей бедной нянюшке, о горе, которое причинит ей эта по-

теря, о неудовольствии королевы и о крушении ее надежд. Вряд ли многим путешественникам выпадало на долю такое трудное и отчаянное положение, в каком находился я в это время, ежеминутно ожидая, что мой ящик разобьется или, в лучшем случае, будет опрокинут первым же порывом ветра и первой же волной. Стоило только разбиться хотя бы одному оконному стеклу, и мне грозила бы неминуемая смерть; между тем эти стекла были защищены только железными решетками, поставленными снаружи в ограждение от дорожных случайностей. Заметив, что вода начинает просачиваться сквозь щели, хотя они были незначительны, я как мог законопатил их. Я был не в силах поднять крышу моего ящика, что непременно сделал бы и взобрался бы наверх; там я мог, по крайней мере, протянуть несколько часов дольше, чем сидя взаперти в этом, если можно так сказать, трюме. Но если бы даже мне удалось избежать опасности в продолжение одного или двух дней, то затем чего я мог ожидать, кроме смерти от голода и холода? В таком состоянии я пробыл около четырех часов, каждую минуту ожидая и даже желая гибели.

Я уже говорил читателю, что к глухой стороне моего ящика были прикреплены две прочные

скобы, в которые слуга, возивший меня на лошади, продевал кожаный ремень и пристегивал его к своему поясу. Находясь в этом неутешительном положении, я вдруг услышал, или мне только почудилось, что по этой стороне ящика что-то царапается; скоро после этого мне показалось, что ящик тащат или буксируют по морю, так как по временам я чувствовал как бы дерганье, от которого волны подымались до самых верхушек моих окон, погружая меня в темноту. Это поселило во мне слабую надежду на освобождение, хотя я не мог понять, откуда могла прийти помощь. Я решился отвинтить один из моих стульев, прикрепленных к полу, и с большими усилиями снова привинтил его под подвижной доской, которую незадолго перед тем отодвинул. Взобравшись на этот стул и приблизив, насколько возможно, свой рот к отверстию, я стал громко звать на помощь на всех известных мне языках. Потом я привязал платок к палке, которая всегда была со мной, и, просунув ее в отверстие, стал махать платком с целью привлечь внимание лодки или корабля, если бы таковые находились поблизости, и дать знать матросам, что в ящике заключен несчастный смертный.

Но все это, казалось, не приводило ни к каким

результатам; однако же я ясно ощущал, что моя комната все подвигается вперед. Спустя час или более сторона ящика, где находились скобы, толкнулась о что-то твердое. Я испугался, не скала ли это, и почувствовал, что ящик качается больше, чем прежде. Я ясно расслышал на крыше моей комнаты шум, словно был брошен канат, затем он заскрипел, как если бы его продевали в кольцо. После этого я почувствовал, что в несколько приемов меня подняли фута на три выше, чем я был прежде. Я снова выставил палку с платком и начал призывать на помощь, пока не охрип. В ответ я услышал громкие восклицания, повторившиеся три раза, которые привели меня в неописуемый восторг, понятный только тому, кто сам испытал его. Затем я услышал топот ног над моей головой, и кто-то громко закричал мне в отверстие по-английски: «Если есть кто-нибудь там внизу, пусть говорит». Я отвечал, что я англичанин, вовлеченный злою судьбою в величайшие бедствия, какие постигали когда-нибудь разумное существо, и заклинал всем, что может тронуть сердце, освободить меня из моей темницы. На это голос сказал, что я в безопасности, так как мой ящик привязан к кораблю и немедленно явится плотник, который пропилит в крыше

отверстие, достаточно широкое, чтобы вытащить меня. Я отвечал, что в этом нет надобности и даром будет потрачено много времени; гораздо проще кому-нибудь из экипажа просунуть палец в кольцо ящика, вынуть его из воды и поставить в каюте капитана. Услыхав мои нелепые слова, некоторые матросы подумали, что имеют дело с сумасшедшим, другие смеялись. И в самом деле, я совершенно упустил из виду, что нахожусь теперь среди людей одинакового со мной роста и силы. Явился плотник и в несколько минут пропилил дыру в четыре квадратных фута, затем спустил небольшую лестницу, по которой я вышел наверх, после чего был взят на корабль в состоянии крайней слабости.

Изумленные матросы задавали мне тысячи вопросов, на которые я не имел расположения отвечать. В свою очередь, и я был приведен в замешательство при виде стольких пигмеев, потому что такими казались эти люди моим глазам, привыкшим долгое время смотреть только на предметы чудовищной величины. Но капитан, мистер Томас Вилькокс, достойный и почтенный шропширец, заметив, что я готов упасть в обморок, отвел меня в свою каюту, дал укрепляющего лекарства и уложил в свою постель, советуя мне

немного отдохнуть, что действительно было мне крайне необходимо. Прежде чем заснуть, я сообщил капитану, что в моем ящике находится ценная мебель, которую было бы жаль потерять; что там есть прекрасный гамак, походная постель, два стула, стол и комод, что комната вся увешана или, лучше сказать, обита шелком и бумажными тканями и что если капитан прикажет кому-нибудь из матросов принести в каюту ящик, то я открою его и покажу ему все мои богатства. Услышав этот вздор, капитан подумал, что я в бреду, однако (я полагаю, чтобы успокоить меня) обещал распорядиться исполнить мое желание. Затем он вышел на палубу и велел нескольким матросам спуститься в мой ящик, откуда они вытащили (как я узнал потом) все мои вещи и содрали обивку, причем стулья, комод и постель, привинченные к полу, были сильно испорчены, так как матросы по неведению стали их вырывать. Они сняли некоторые доски для корабельных нужд и, взяв все, что обратило на себя их внимание, бросили остов ящика в море; получив теперь много повреждений в полу и стенках, он быстро наполнился водой и пошел ко дну. Я был очень доволен, что мне не пришлось присутствовать при этом разрушении, так как

уверен, что оно бы очень расстроило меня, приведя мне на память пережитое, которое я предпочел бы забыть.

Я проспал несколько часов, но неспокойно, так как мне все время снились только что покинутые мной места и опасности, которых мне удалось избежать. Все же, проснувшись, я почувствовал, что силы мои восстановились. Было около восьми часов вечера, и капитан, полагавший, что я долго уже голодаю, приказал немедленно подать ужин. Он гостеприимно угощал меня, заметив, что взгляд мой не безумен и речь не бессвязна. Когда мы остались одни, он попросил меня рассказать о моих приключениях и сообщить, какие обстоятельства бросили меня в этом чудовищном деревянном сундуке на волю ветра и волн. Он сказал, что около полудня заметил его в зрительную трубу и сначала принял его за парус. Так как курс капитана лежал недалеко, то он решил к нему направиться в надежде купить немного сухарей, в которых у него чувствовался недостаток. Подойдя ближе и убедившись в своей ошибке, он послал шлюпку узнать, в чем дело. Матросы в испуге воротились назад, клятвенно уверяя, что видели плавучий дом. Посмеявшись над их глупостью, капитан сам спустился в шлюпку, приказав мат-

росам взять с собою два прочных каната. Так как море было спокойно, то он несколько раз объехал вокруг ящика и заметил в нем окна с железными решетками. Затем он обнаружил две скобы на одной стороне, которая была вся дощатая, без отверстий для пропуска света. Капитан приказал подплыть к этой стороне и, привязав канат к одной скобе, велел матросам тащить мой сундук (как он его называл) на буксире к кораблю. Когда его притащили, капитан приказал привязать другой канат к кольцу, прикрепленному на крыше, и на блоках поднять ящик; но, несмотря на участие всей команды, меня удалось поднять только на два или на три фута. Капитан сказал, что они видели мою палку с платком, просунутую в дыру, и решили, что в ящике заключены какие-то несчастные. Я спросил капитана, не видел ли он или кто-нибудь из экипажа на небе громадных птиц, перед тем как меня заметили с корабля. На это он ответил, что когда он обсуждал событие с матросами во время моего сна, то один из матросов сообщил, что видел трех орлов, летевших по направлению к северу, но они не показались ему больше обыкновенных; последнее обстоятельство, я полагаю, объясняется большой высотой, на которой летели птицы. Капитан не

мог понять, почему я задаю такой вопрос. Затем я спросил его, далеко ли мы находимся от земли. На это он ответил, что, по самым точным вычислениям, мы находимся от берега на расстоянии не менее ста лиг. Я сказал капитану, что он больше чем наполовину ошибается, так как я упал в море спустя каких-нибудь два часа, после того как покинул страну, в которой жил. После моего замечания капитан снова стал думать, что мозги мои не в порядке, на что он мне намекнул и посоветовал отправиться спать в каюту, которая для меня приготовлена. Я уверил капитана, что благодаря его любезному приему и прекрасному обществу я совершенно восстановил свои силы и что ум мой ясен как никогда. Тогда он принял серьезный вид и, попросив позволения говорить со мной откровенно, спросил, не повредился ли мой рассудок оттого, что на совести у меня лежит тяжкое преступление, в наказание за которое я и был посажен, по повелению какого-нибудь государя, в этот сундук: ведь существует же в некоторых странах обычай сажать больших преступников без пищи в дырявые суда и пускать эти суда в море; хотя он очень бранит себя за то, что принял на корабль такого преступника, однако дает слово доставить меня в целости в

первый же порт. Он добавил, что подозрения его сильно укрепили нелепости, которые я говорил сначала матросам, а потом и ему по поводу моей комнаты, или сундука, мои беспокойные взгляды и странное поведение за ужином.

Я просил капитана терпеливо выслушать рассказ о моих приключениях, которые я добросовестно изложил, начиная с последнего отъезда из Англии и до той минуты, когда он заметил мой ящик. И так как истина всегда находит доступ в рассудительный ум, то этот достойный и почтенный джентльмен, обладавший большим здравым смыслом и не лишенный образования, был скоро убежден в моей искренности и правдивости. Однако, желая еще более подтвердить все сказанное мною, я попросил капитана приказать принести мой комод, ключ от которого был у меня в кармане (ибо он уже сообщил мне, каким образом матросы распорядились с моей комнатой). Я открыл комод в присутствии капитана и показал ему небольшую коллекцию редкостей, собранных мною в стране, которую я покинул таким странным образом. Там был гребень, который я смастерил из волос королевской бороды, и другой, сделанный из того же материала, но вместо дерева на его спинку я употребил обрезок

ногтя с большого пальца ее величества. Там была коллекция иголок и булавок длиною от фута до полуярда; несколько вычесок из волос королевы; золотое кольцо, которое королева однажды любезно подарила, сняв его с мизинца и надев мне на шею как ожерелье. Я просил капитана принять кольцо в благодарность за оказанные им мне услуги, но он наотрез отказался. Я показал ему также мозоль, которую собственными руками срезал с пальца на ноге одной фрейлины; эта мозоль, величиною с кентское яблоко, была так тверда, что по возвращении в Англию я вырезал из нее кубок и оправил в серебро. Наконец, я попросил его рассмотреть штаны из мышиной кожи, которые были тогда на мне.

Я едва убедил капитана принять от меня в подарок хотя бы зуб одного лакея, заметив, что он с большим любопытством рассматривает этот зуб, видимо, очень поразивший его воображение. Капитан принял подарок с благодарностью, которой не заслуживала такая безделица. Зуб этот по ошибке был выдернут неопытным хирургом у одного из лакеев Глюмдальклич, страдавшего зубной болью, но оказался совершенно здоровым. Вычистив его, я спрятал как диковину себе в комод. Он был около фута в длину и четыре дюйма

в диаметре.

Капитан остался очень доволен моим безыскусственным рассказом и выразил надежду, что по возвращении в Англию я окажу услугу всему свету, изложив его на бумаге и сделав достоянием гласности. На это я ответил, что, по моему мнению, книжный рынок и без того перегружен книгами путешествий; что в настоящее время нет ничего, что показалось бы нашему читателю необыкновенным, и это заставляет меня подозревать, что многие авторы менее заботятся об истине, чем об удовлетворении своего тщеславия и своей корысти, и ищут только развлечь невежественных читателей; что моя история будет повествовать только о самых обыкновенных событиях и читатель не найдет в ней красочных описаний диковинных растений, деревьев, птиц и животных или же варварских обычаев и идолопоклонства дикарей, которыми так изобилуют многие путешествия. Во всяком случае, я поблагодарил капитана за его доброе мнение и обещал подумать об этом.

Капитан очень удивлялся, почему я так громко говорю, и спросил меня, не были ли туги на ухо король или королева той страны, где я жил. Я ответил, что это следствие привычки, приоб-

ретенной за последние два года, и что меня, в свою очередь, удивляют голоса капитана и всего экипажа, которые мне кажутся шепотом, хотя я слышу их совершенно ясно. Чтобы разговаривать с моими великанами, необходимо было говорить так, как говорят на улице с человеком, стоящим на вершине колокольни, за исключением тех случаев, когда меня ставили на стол или брали на руки. Я сообщил ему также и мое другое наблюдение: когда я вошел на корабль и вокруг собрались все матросы, они показались мне самыми ничтожными по своим размерам существами, каких только я когда-либо видел. И в самом деле, с тех пор, как судьба забросила меня во владения этого короля, глаза мои до того привыкли к предметам чудовищной величины, что я не мог смотреть на себя в зеркало, так как сравнение порождало во мне очень неприятные мысли о моем ничтожестве. Тогда капитан сказал, что, наблюдая меня за ужином, он заметил, что я с большим удивлением рассматриваю каждый предмет и часто делаю над собой усилие, чтобы не рассмеяться; не зная, чем объяснить такую странность, он приписал ее расстройству моего рассудка. Я ответил, что его наблюдения совершенно правильны, но мог ли я держать себя

иначе при виде блюда величиною в три пенса, свиного окорока, который можно было съесть в один прием, при виде чашки, напоминавшей скорлупу ореха, — и я описал ему путем таких же сравнений всю обстановку и все припасы. И хотя королева снабдила меня всем необходимым, когда я состоял на ее службе, тем не менее мои представления всегда были в соответствии с тем, что я видел кругом, причем я так же закрывал глаза на свои ничтожные размеры, как люди закрывают их на свои недостатки. Капитан отлично понял мою шутку и весело ответил мне старой английской поговоркой, что у меня глаза больше желудка, так как он не заметил у меня большого аппетита, несмотря на то что я постился в течение целого дня. И, продолжая смеяться, заявил, что заплатил бы сто фунтов за удовольствие посмотреть на мою комнату в клюве орла и в то время, как она падала в море со страшной высоты; эта поистине удивительная картина достойна описания в назидание грядущим поколениям. При этом сравнение с Фаэтоном было настолько очевидно, что он не мог удержаться, чтобы не применить его ко мне, хотя я не был особенно польщен им.

Побывав в Тонкине, капитан на обратном пути

в Англию занесен был на северо-восток к 44° северной широты и 143° долготы. Но так как спустя два дня после того, как я был взят на борт, мы встретили пассатный ветер, то долго шли к югу и, миновав Новую Голландию, взяли курс на ЗЮЗ, потом на ЮЮЗ, пока не обогнули мыс Доброй Надежды. Наше плавание было очень счастливо, но я не буду утомлять читателя его описанием. Раз или два капитан заходил в порты запастись провизией и свежей водой, но я ни разу не сходил с корабля до самого прибытия в Даунс, что произошло 3 июня 1706 года, то есть спустя девять месяцев после моего освобождения. Я предложил капитану в обеспечение платы за мой переезд все, что у меня было, но он не согласился взять ни одного фартинга. Мы дружески расстались, и я взял с него слово навестить меня в Редрифе. Затем я нанял лошадь и проводника за пять шиллингов, взятых в долг у капитана.

Наблюдая по дороге ничтожные размеры деревьев, домов, людей и домашнего скота, я все думал, что нахожусь в Лилипутии. Я боялся раздавить встречавшихся на пути прохожих и часто громко кричал, чтобы они посторонились; такая грубость с моей стороны привела к тому, что мне раз или два чуть не раскроили череп.

Когда я пришел домой, куда принужден был спрашивать дорогу, и один из слуг отворил мне двери, я на пороге нагнулся (как гусь под воротами), чтобы не удариться головой о притолоку. Жена прибежала обнять меня, но я наклонился ниже ее колен, полагая, что иначе ей не достать моего лица. Дочь стала на колени, желая попросить у меня благословения, но я не увидел ее, пока она не поднялась, настолько я привык задирать голову и направлять глаза на высоту шестидесяти футов; затем я сделал попытку поднять ее одной рукой за талию. На слуг и на одного или двух находившихся в доме друзей я смотрел сверху вниз, как смотрит великан на пигмеев. Я заметил жене, что они, верно, вели слишком экономную жизнь, так как обе вместе с дочерью заморили себя и обратились в ничто. Короче сказать, я держал себя столь необъяснимым образом, что все составили обо мне то же мнение, какое составил капитан, увидя меня впервые, то есть решили, что я сошел с ума. Я упоминаю здесь об этом только для того, чтобы показать, как велика сила привычки и предубеждения.

Скоро все недоразумения между мной, семьей и друзьями уладились, но жена торжественно заявила, что больше я никогда не увижу моря.

Однако же моя злая судьба распорядилась иначе, и даже жена не могла удержать меня, как скоро узнает об этом читатель. Этим я оканчиваю вторую часть моих злосчастных путешествий.

Часть третья. Путешествие в Лапуту, Бальнибарби, Лаггнегг, Глаббдобдриб и Японию

Глава I

Автор отправляется в третье путешествие.

Он захвачен пиратами. Злоба одного голландца.

Прибытие автора на некий остров.

Его поднимают на Лапуту

Не пробыл я дома и десяти дней, как ко мне пришел в гости капитан Вильям Робинсон, из Корнуэлса, командир большого корабля Добрая Надежда в триста тонн водоизмещения. Когда-то я служил хирургом на другом судне, являвшемся в четвертой части его собственностью и ходившем под его командой в Левант. Он всегда обращался со мной скорее как с братом, чем как с подчиненным. Услышав о моем приезде, он посетил меня, по-видимому, только из дружбы, потому что не сказал больше того, что обычно говорится между друзьями после долгой разлуки. Но он стал заходить ко мне часто, выражал радость, что находит меня в добром здравии,

спрашивал, окончательно ли я решил поселиться дома, говорил о своем намерении через два месяца отправиться в Ост-Индию и в заключение напрямик пригласил меня, хотя и с некоторыми извинениями, хирургом на свой корабль, сказав, что, кроме двух штурманов, мне будет подчинен еще один хирург, что я буду получать двойной оклад жалованья против обыкновенного и что, убедившись на опыте в том, что я знаю морское дело нисколько не хуже его, он обязуется считаться с моими советами, как если бы я командовал кораблем наравне с ним.

Капитан наговорил мне столько любезностей, и я знал его за такого порядочного человека, что я не мог отказаться от его предложения: несмотря на все постигшие меня невзгоды, жажда видеть свет томила меня с прежней силой. Оставалось единственное затруднение — уговорить жену; но в конце концов и она дала свое согласие, когда я изложил те выгоды, которые путешествие сулило нашим детям.

Мы снялись с якоря 5 августа 1706 года и прибыли в форт С.-Жорж 11 апреля 1707 года. Мы оставались там три недели с целью обновить экипаж судна, так как между матросами было много больных. Оттуда мы отправились в Тон-

кин, где капитан решил простоять некоторое время, потому что товары, которые он намеревался закупить, не могли быть изготовлены и сданы раньше нескольких месяцев. Таким образом, в надежде хотя бы отчасти покрыть расходы по этой стоянке, капитан купил шлюп, нагрузил его различными товарами, составляющими предмет всегдашней торговли тонкинцев с соседними островами, и отправил на нем под моей командой четырнадцать человек, из которых трое были туземцы, дав мне полномочие распродать эти товары, пока он будет вести свои дела в Тонкине.

Не прошло и трех дней нашего плавания, как поднялась сильная буря, и в продолжение пяти дней нас гнало по направлению к северо-востоку и затем к востоку; после этого настала хорошая погода, хотя не переставал дуть сильный западный ветер. На десятый день за нами пустились в погоню два пирата, которые скоро настигли нас, так как мой сильно нагруженный шлюп мог только медленно подвигаться вперед; вдобавок мы были лишены возможности защищаться.

Мы были взяты на абордаж почти одновременно обоими пиратами, которые ворвались на наш корабль во главе своих людей; но, найдя нас лежащими ничком (таков был отданный мной

приказ), они удовольствовались тем, что крепко связали нас и, поставив над нами стражу, принялись обыскивать судно.

Я заметил среди них одного голландца, который, по-видимому, пользовался некоторым авторитетом, хотя не командовал ни одним из кораблей. По нашей наружности он признал в нас англичан и, обратившись к нам на своем языке, поклялся связать спинами одного с другим и бросить в море. Я довольно сносно говорил по-голландски; я объяснил ему, кто мы, и просил его, приняв во внимание, что мы христиане и протестанты, подданные соседнего государства, которое находится в дружественных отношениях с его отечеством, ходатайствовать за нас перед командирами, чтобы те отнеслись к нам милостиво. Эти слова привели голландца в ярость; он повторил угрозы и, обратясь к своим товарищам, начал с жаром что-то говорить, по-видимому, на японском языке, часто произнося слово: христианос.

Командиром более крупного судна пиратов был японец, который говорил немного по-голландски, хотя и очень плохо. Подойдя ко мне и задав несколько вопросов, на которые я ответил очень почтительно, он объявил, что мы не будем

преданы смерти. Низко поклонившись капитану, я обратился к голландцу и сказал, что мне прискорбно видеть в язычнике больше милосердия, чем в своем брате христианине. Но мне пришлось скоро раскаяться в своих необдуманных словах, ибо этот злобный негодяй, после неоднократных тщетных стараний убедить обоих капитанов бросить меня в море (на что те не соглашались после данного ими обещания сохранить мою жизнь), добился все же назначения мне наказания, худшего, чем сама смерть. Люди мои были размещены поровну на обоих пиратских суднах, а на моем шлюпе была сформирована новая команда. Меня же самого решено было посадить в челнок и, снабдив веслами, парусом и провизией на четыре дня, предоставить на волю ветра и волн. Капитан-японец был настолько милостив, что удвоил количество провизии из собственных запасов и запретил обыскивать меня. Когда я спускался в челнок, голландец, стоя на палубе, покрывал меня всеми проклятиями и ругательствами, какие только существуют на его языке.

За час до нашей встречи с пиратами я вычислил, что мы находились под 46° северной широты и 183° долготы. Отойдя на довольно значительное расстояние от пиратов, я при помощи карманной

зрительной трубки открыл несколько островов на юго-востоке. Я поставил парус и с помощью попутного ветра надеялся достигнуть ближайшего из этих островов, что мне и удалось в течение трех часов. Остров был весь скалистый; однако мне посчастливилось найти много птичьих яиц, и, добыв кремнем огонь, я развел костер из вереска и сухих водорослей, на котором испек яйца. Ужин мой состоял из этого единственного кушанья, так как я решил по возможности беречь запас своей провизии. Я провел ночь под защитой скалы, постелив себе немного вереска, и спал очень хорошо.

На следующий день, подняв парус, я отправился к другому острову, а оттуда к третьему и к четвертому, прибегая иногда к парусу, а иногда к веслам. Но чтобы не утомлять внимание читателя подробным описанием моих бедствий, достаточно будет сказать, что на пятый день я прибыл к последнему из замеченных мною островов, расположенному на юго-юго-восток от первого.

Этот остров был гораздо дальше, чем я предполагал, и потому только после пятичасового перехода я достиг его берегов. Я объехал его почти кругом, прежде чем мне удалось найти подхо-

дящее место для высадки; то была небольшая бухточка, где могло бы поместиться всего три моих челнока. Весь остров был скалист и лишь кое-где испещрен кустиками травы и душистыми растениями. Я достал мою скудную провизию и, подкрепившись немного, остаток спрятал в один из гротов, которыми изобиловал остров. На утесах я собрал много яиц, затем принес сухих водорослей и травы, намереваясь на другой день развести костер и как-нибудь испечь эти яйца (так как при мне были огниво, кремень, трут и зажигательное стекло). Ночь я провел в том гроте, где поместил провизию. Постелью мне служили те же водоросли и травы, которые я приготовил для костра. Спал я очень мало, потому что беспокойное душевное состояние взяло верх над усталостью и не давало заснуть. Я думал о том, как безнадежно пытаться сохранить жизнь в столь пустынном месте и какой печальный ждет меня конец. Я был так подавлен этими размышлениями, что у меня недоставало решимости встать, и когда наконец я собрался с силами и выполз из пещеры, было уже совсем светло. Я немного прошелся между скалами; небо было совершенно ясно, и солнце так жгло, что я принужден был отвернуться. Вдруг стало темно, но

совсем не так, как от облака, когда оно закрывает солнце. Я оглянулся назад и увидел в воздухе большое непрозрачное тело, заслонявшее солнце и двигавшееся по направлению к острову; тело это находилось, как мне казалось, на высоте двух миль и закрывало солнце в течение шести или семи минут; но я не ощущал похолодания воздуха и не заметил, чтобы небо потемнело больше, чем в том случае, если бы я стоял в тени, отбрасываемой горой. По мере приближения ко мне этого тела оно стало мне казаться твердым; основание же его было плоское, гладкое и ярко сверкало, отражая освещенную солнцем поверхность моря. Я стоял на возвышенности в двухстах ярдах от берега и видел, как это обширное тело спускается почти отвесно на расстоянии английской мили от меня. Я вооружился карманной зрительной трубкой и мог ясно различить на нем много людей, спускавшихся и поднимавшихся по отлогим, по-видимому, сторонам тела; но что делали там эти люди, я не мог рассмотреть.

Естественная любовь к жизни наполнила меня чувством радости, и у меня явилась надежда, что это приключение так или иначе поможет мне выйти из пустынного места и отчаянного положения, в котором я находился. Но, с другой стороны,

читатель едва ли будет в состоянии представить себе, с каким удивлением смотрел я на парящий в воздухе остров, населенный людьми, которые (как мне казалось) могли поднимать и опускать его или направлять вперед по своему желанию. Но я не был тогда расположен философствовать по поводу этого явления, и для меня представляло гораздо больше интереса наблюдать, в какую сторону двинется остров, так как на мгновение он как будто остановился. Скоро, однако, он приблизился ко мне, и я мог рассмотреть, что его стороны окружены несколькими галереями, расположенными уступами и соединенными между собой на известных промежутках лестницами, позволявшими переходить с одной галереи на другую. На самой нижней галерее я увидел нескольких человек, из которых одни ловили рыбу длинными удочками, а другие смотрели на эту ловлю. Я стал махать ночным колпаком (моя шляпа давно уже износилась) и платком по направлению к острову, и, когда он приблизился еще больше, я закричал во всю глотку. Затем, вглядевшись внимательнее, я увидел, что на обращенной ко мне стороне острова собирается толпа. Судя по тому, что находившиеся тут люди указывали на меня пальцами и оживленно жестикулировали,

я заключил, что они заметили меня, хотя и не отвечали на мои крики. Я видел только, что из толпы отделились четыре или пять человек и поспешно стали подниматься по лестницам на вершину острова, где и исчезли. Я догадывался, и совершенно основательно, что эти люди были посланы к какой-нибудь важной особе за распоряжениями по поводу настоящего случая.

Толпа народа увеличилась, и менее чем через полчаса остров пришел в движение и поднялся таким образом, что нижняя галерея оказалась на расстоянии около ста ярдов от места, где я находился. Тогда, приняв молящее положение, я начал говорить самым подобострастным тоном, но не получил никакого ответа. Люди, стоявшие ближе всего ко мне, были, по-видимому, если судить по их костюмам, знатные особы. Они вели между собою какое-то серьезное совещание, часто посматривая на меня. Наконец один из них что-то закричал на чистом, изящном и благозвучном наречии, по звуку напоминавшем итальянский язык, почему я и ответил на этом языке, рассчитывая, по крайней мере, что для их слуха он будет приятнее. Хотя мы и не поняли друг друга, но намерение мое было легко угадать, ибо они видели, в каком бедственном положении

я находился.

Мне сделали знак спуститься со скалы и идти к берегу, что я и исполнил. Летучий остров поднялся на соответствующую высоту, так что его край пришелся как раз надо мной, затем с нижней галереи была спущена цепь с прикрепленным к ней сиденьем, на которое я сел и при помощи блоков был поднят наверх.

Глава II

Описание характера и нравов лапутян.

Представление об их науке. О короле и его дворе.

Прием, оказанный при дворе автору.

Страхи и тревоги лапутян. Жены лапутян

Едва я высадился на остров, как меня окружила толпа народа; стоявшие ко мне поближе, по-видимому, принадлежали к высшему классу. Все рассматривали меня с знаками величайшего удивления; но и сам я не был в долгу в этом отношении, потому что мне никогда еще не приходилось видеть смертных, которые бы так поражали своей фигурой, одеждой и выражением лиц. У всех головы были скошены направо или налево; один глаз смотрел внутрь, а другой прямо вверх к зениту. Их верхняя одежда была украшена изображениями солнца, луны, звезд вперемежку с изображениями скрипки, флейты, арфы, трубы, гитары, клавикордов и многих

других музыкальных инструментов, неизвестных в Европе. Я заметил поодаль множество людей в одежде слуг с наполненными воздухом пузырями, прикрепленными наподобие бичей к концам коротких палок, которые они держали в руках. Как мне сообщили потом, в каждом пузыре находились сухой горох или мелкие камешки. Этими пузырями они время от времени хлопали по губам и ушам лиц, стоявших подле них, значение каковых действий я сначала не понимал. По-видимому, умы этих людей так поглощены напряженными размышлениями, что они не способны ни говорить, ни слушать речи собеседников, пока их внимание не привлечено каким-нибудь внешним воздействием на органы речи и слуха; вот почему люди достаточные держат всегда в числе прислуги одного так называемого хлопальщика (по-туземному клайменоле) и без него никогда не выходят из дому и не делают визитов. Обязанность такого слуги заключается в том, что при встрече двух, трех или большего числа лиц он должен слегка хлопать по губам того, кому следует говорить, и по правому уху того или тех, к кому говорящий обращается. Этот хлопальщик равным образом должен неизменно сопровождать своего госпо-

дина на его прогулках и в случае надобности легонько хлопать его по глазам, так как тот всегда бывает настолько погружен в размышления, что на каждом шагу подвергается опасности упасть в яму или стукнуться головой о столб, а на улицах — спихнуть других или самому быть спихнутым в канаву.

Мне необходимо было сообщить читателю все эти подробности, иначе ему, как и мне, затруднительно было бы понять те ужимки, с какими эти люди проводили меня по лестницам на вершину острова, а оттуда в королевский дворец. Во время восхождения они несколько раз забывали, что они делали, и оставляли меня одного, пока хлопальщики не выводили из забытья своих господ; по-видимому, на них не произвели никакого впечатления ни мои непривычные для них наружность и костюм, ни восклицания простого народа, мысли и умы которого не так поглощены созерцанием.

Наконец мы достигли дворца и проследовали в аудиенц-залу, где я увидел короля на троне, окруженного с обеих сторон знатнейшими вельможами. Перед троном стоял большой стол, заваленный глобусами, планетными кругами и различными математическими инструментами.

Его величество не обратил на нас ни малейшего внимания, несмотря на то что наш приход был достаточно шумным благодаря сопровождавшей нас придворной челяди; король был тогда погружен в решение трудной задачи, и мы ожидали, по крайней мере, час, пока он ее решил. По обеим сторонам короля стояли два пажа с пузырями в руках. Когда они заметили, что король решил задачу, один из них почтительно хлопнул его по губам, а другой по правому уху; король вздрогнул, точно внезапно разбуженный, и, обратив свои взоры на меня и сопровождавшую меня свиту, вспомнил о причине нашего прихода, о котором ему было заранее доложено. Он произнес несколько слов, после чего молодой человек, вооруженный пузырем, тотчас подошел ко мне и легонько хлопнул меня по правому уху; я стал делать знаки, что не нуждаюсь в подобном напоминании, и это — как я заметил позднее — внушило его величеству и всему двору очень невысокое мнение о моих умственных способностях. Догадываясь, что король задает мне вопросы, я отвечал на всех известных мне языках. Наконец, когда выяснилось, что мы не можем понять друг друга, меня отвели, по приказанию короля (который относится к иностранцам

гораздо гостеприимнее, чем его предшественники), в один из дворцовых покоев, где ко мне приставили двух слуг. Подали обед, и четыре знатные особы, которых я видел подле самого короля в тронном зале, сделали мне честь, сев со мной за стол. Обед состоял из двух перемен, по три блюда в каждой. В первой перемене были баранья лопатка, вырезанная в форме равностороннего треугольника, кусок говядины в форме ромбоида и пудинг в форме циклоида. Во вторую перемену вошли две утки, приготовленные в форме скрипок, сосиски и колбаса в виде флейты и гобоя и телячья грудинка в виде арфы. Слуги резали нам хлеб на куски, имевшие форму конусов, цилиндров, параллелограммов и других геометрических фигур.

Во время обеда я осмелился спросить названия различных предметов на их языке; и эти знатные особы, при содействии хлопальщиков, любезно отвечали мне в надежде, что мое восхищение их способностями еще более возрастет, если я буду в состоянии разговаривать с ними. Скоро я уже мог попросить хлеба, воды и всего, что мне было нужно.

После обеда мои сотрапезники удалились, и ко мне, по приказанию короля, прибыло новое

лицо в сопровождении хлопальщика. Лицо это принесло с собой перья, чернила, бумагу и три или четыре книги и знаками дало мне понять, что оно прислано обучать меня языку. Мы занимались четыре часа, и за это время я написал большое количество слов в несколько столбцов с переводом каждого из них и кое-как выучил ряд небольших фраз. Учитель мой приказывал одному из слуг принести какой-нибудь предмет, повернуться, поклониться, сесть, встать, ходить и т. п., после чего я записывал произнесенную им фразу. Он показал мне также в одной книге изображения солнца, луны, звезд, зодиака, тропиков и полярных кругов и сообщил название многих плоских фигур и стереометрических тел. Он назвал и описал мне все музыкальные инструменты и познакомил меня с техническими терминами, употребляющимися при игре на каждом из них. Когда он ушел, я расположил все эти слова с их толкованиями в алфавитном порядке. Благодаря такой методе и моей хорошей памяти я в несколько дней приобрел некоторые познания в лапутском языке.

Я никогда не мог узнать правильную этимологию слова Лапута, которое перевожу словами *летучий* или *плавучий остров*. Лап на древнем

языке, вышедшем из употребления, означает высокий, а унту — правитель; отсюда, как утверждают ученые, произошло слово *Лапута*, искаженное *Лапунту*. Но я не могу согласиться с подобным объяснением, и оно мне кажется немного натянутым. Я отважился предложить тамошним ученым свою гипотезу относительно происхождения означенного слова; по-моему, *Лапута* есть не что иное, как *лап аутед: лап* означает игру солнечных лучей на морской поверхности, а *аутед* — крыло; впрочем, я не настаиваю на этой гипотезе, а только предлагаю ее на суд здравомыслящего читателя.

Лица, попечению которых вверил меня король, видя плохое состояние моего костюма, распорядились, чтобы на следующий день явился портной и снял мерку для нового костюма. При совершении этой операции мастер употреблял совсем иные приемы, чем те, какие практикуются его собратьями по ремеслу в Европе. Прежде всего он определил при помощи квадранта мой рост, затем вооружился линейкой и циркулем и вычислил на бумаге размеры и очертания моего тела. Через шесть дней платье было готово; оно было сделано очень скверно, совсем не по фигуре, что объясняется ошибкой, вкравшейся в

его вычисления. Моим утешением было то, что я наблюдал подобные случайности очень часто и перестал обращать на них внимание.

Так как у меня не было платья и я чувствовал себя нездоровым, то я провел несколько дней в комнате и за это время значительно расширил свой лексикон, так что при первом посещении двора я мог более или менее удовлетворительно отвечать королю на многие его вопросы. Его величество отдал приказ направить остров на северо-восток по направлению к Лагадо, столице всего королевства, расположенному внизу, на земной поверхности. Для этого нужно было пройти девяносто лиг, и наше путешествие продолжалось четыре с половиною дня, причем я ни в малейшей степени не ощущал поступательного движения острова в воздухе. На другой день около одиннадцати часов утра король, знать, придворные и чиновники, вооружась музыкальными инструментами, начали концерт, который продолжался в течение трех часов непрерывно, так что я был совершенно оглушен; я не мог также понять цели этого концерта, пока мой учитель не объяснил мне, что уши народа, населяющего летучий остров, одарены способностью воспринимать музыку сфер, которая всегда раздается в

известные периоды, и что каждый придворный готовится теперь принять участие в этом мировом концерте на том инструменте, каким он лучше всего владеет.

Во время нашего полета к Лагадо, столичному городу, его величество приказывал останавливать остров над некоторыми городами и деревнями для приема прошений от своих подданных. С этой целью спускались вниз тонкие веревочки с небольшим грузом на конце. К этим веревочкам население подвешивало свои прошения, и они поднимались прямо вверх, как клочки бумаги, прикрепляемые школьниками к концу веревки, на которой они пускают змеев. Иногда мы получали снизу вино и съестные припасы, которые поднимались к нам на блоках.

Мои математические познания оказали мне большую услугу в усвоении их фразеологии, заимствованной в значительной степени из математики и музыки (ибо я немного знаком также и с музыкой). Все их идеи непрестанно вращаются около линий и фигур. Если они хотят, например, восхвалить красоту женщины или какого-нибудь животного, они непременно опишут ее при помощи ромбов, окружностей, параллелограммов, эллипсов и других геометрических терминов или

же терминов, заимствованных из музыки, перечислять которые здесь ни к чему. В королевской кухне я видел всевозможные математические и музыкальные инструменты, по образцу которых повара режут жаркое для стола его величества.

Дома лапутян построены очень скверно: стены поставлены криво, ни в одной комнате нельзя найти ни одного прямого угла; эти недостатки объясняются презрительным их отношением к прикладной геометрии, которую они считают наукой вульгарной и ремесленной; указания, которые они делают, слишком утонченны и недоступны для рабочих, что служит источником беспрестанных ошибок. И хотя они довольно искусно владеют на бумаге линейкой, карандашом и циркулем, однако что касается обыкновенных повседневных действий, то я не встречал других таких неловких, неуклюжих и косолапых людей, столь тугих на понимание всего, что не касается математики и музыки. Они очень плохо рассуждают и всегда с запальчивостью возражают, кроме тех случаев, когда бывают правы, но это редко с ними случается. Воображение, фантазия и изобретательность совершенно чужды этим людям, в языке их нет даже слов для выражения этих понятий, и вся их умственная деятельность

заключена в границах двух упомянутых наук.

Большинство лапутян, особенно те, кто занимается астрономией, верят в астрологию, хотя и стыдятся открыто признаваться в этом. Но что меня более всего поразило и чего я никак не мог объяснить, так это замеченное мной у них пристрастие к новостям и политике; они вечно осведомляются насчет общественных дел, высказывают суждения о государственных вопросах и ожесточенно спорят из-за каждого вершка партийных мнений. Впрочем, ту же наклонность я заметил и у большинства европейских математиков, хотя никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой: разве только, основываясь на том, что самый маленький круг имеет столько же градусов, как и самый большой, они предполагают, что и управление миром требует не большего искусства, чем какое необходимо для управления и поворачивания глобуса. Но я думаю, что эта наклонность обусловлена скорее весьма распространенной человеческой слабостью, побуждающей нас больше всего интересоваться и заниматься вещами, которые имеют к нам наименьшее касательство и к пониманию которых мы меньше всего подготовлены нашими знаниями и природными способностями.

Лапутяне находятся в вечной тревоге и ни одной минуты не наслаждаются душевным спокойствием, причем их треволнения происходят от причин, которые не производят почти никакого действия на остальных смертных. Страхи их вызываются различными изменениями, которые, по их мнению, происходят в небесных телах. Так, например, они боятся, что земля вследствие постоянного приближения к ней солнца со временем будет всосана или поглощена последним; что поверхность солнца постепенно покроется коркой от его собственных извержений и не будет больше давать света; что земля едва ускользнула от удара хвоста последней кометы, который, несомненно, превратил бы ее в пепел, и что будущая комета, появление которой, по их вычислениям, ожидается через тридцать один год, по всей вероятности, уничтожит землю, ибо если эта комета в своем перигелии приблизится на определенное расстояние к солнцу (чего заставляют опасаться вычисления), то она получит от него теплоты в десять тысяч раз больше, чем ее содержится в раскаленном докрасна железе, и, удаляясь от солнца, унесет за собой огненный хвост длиною в миллион четырнадцать миль; и если земля пройдет сквозь него на расстоянии ста тысяч миль от

ядра, или главного тела кометы, то во время этого прохождения она должна будет воспламениться и обратиться в пепел. Лапутяне боятся далее, что солнце, изливая ежедневно свои лучи без всякого возмещения этой потери, в конце концов целиком сгорит и уничтожится, что необходимо повлечет за собой разрушение земли и всех планет, получающих от него свой свет.

Вследствие страхов, внушаемых как этими, так и другими не менее грозными опасностями, лапутяне постоянно находятся в такой тревоге, что не могут ни спокойно спать в своих кроватях, ни наслаждаться обыкновенными удовольствиями и радостями жизни. Когда лапутянин встречается утром со знакомым, то его первым вопросом бывает: как поживает солнце, какой вид имело оно при заходе и восходе и есть ли надежда избежать столкновения с приближающейся кометой? Такие разговоры они способны вести с тем же увлечением, с каким дети слушают страшные рассказы о духах и привидениях: жадно им внимая, они от страха не решаются ложиться спать.

Женщины острова отличаются весьма живым темпераментом; они презирают своих мужей и проявляют необыкновенную нежность к чужеземцам, каковые тут всегда находятся в

порядочном количестве, прибывая с континента ко двору по поручениям общин и городов или по собственным делам; но островитяне смотрят на них свысока, потому что они лишены созерцательных способностей. Среди них-то местные дамы и выбирают себе поклонников; неприятно только, что они действуют слишком бесцеремонно и откровенно: муж всегда настолько увлечен умозрениями, что жена его и любовник могут на его глазах дать полную волю своим чувствам, лишь бы только у супруга под рукой были бумага и математические инструменты и возле него не стоял хлопальщик.

Жены и дочери лапутян жалуются на свою уединенную жизнь на острове, хотя, по-моему, это приятнейший уголок в мире; несмотря на то что они живут здесь в полном довольстве и роскоши и пользуются свободой делать все, что им вздумается, островитянки все же жаждут увидеть свет и насладиться столичными удовольствиями; но они могут спускаться на землю только с особого каждый раз разрешения короля, а получить его бывает нелегко, потому что высокопоставленные лица на основании долгого опыта убедились, как трудно бывает заставить своих жен возвратиться с континента

на остров. Мне рассказывали, что одна знатная придворная дама — мать нескольких детей, жена первого министра, самого богатого человека в королевстве, очень приятного по наружности, весьма нежно любящего ее и живущего в самом роскошном дворце на острове, — сказавшись больной, спустилась в Лагадо и скрывалась там в течение нескольких месяцев, пока король не отдал приказ разыскать ее во что бы то ни стало; и вот знатную леди нашли в грязном кабаке, всю в лохмотьях, заложившую свои платья для содержания старого безобразного лакея, который ежедневно колотил ее и с которым она была разлучена вопреки ее желанию. И хотя муж принял ее как нельзя более ласково, не сделав ей ни малейшего упрека, она вскоре после этого ухитрилась снова улизнуть на континент к тому же поклоннику, захватив с собой все драгоценности, и с тех пор о ней нет слуху.

Читатель, может быть, подумает, что история эта заимствована скорее из европейской или английской жизни, чем из жизни столь отдаленной страны. Но пусть он благоволит принять во внимание, что женские причуды не ограничены ни климатом, ни национальностью и что они гораздо однообразнее, чем кажется с первого взгляда.

Меньше чем через месяц я сделал порядочные успехи в лапутском языке, так что мог свободно отвечать на большинство вопросов, задаваемых мне королем, когда я имел честь посещать его. Его величество нисколько не интересовался законами, правлением, историей, религией, нравами и обычаями стран, которые я посетил. Он ограничился только расспросами о состоянии математики, причем выслушивал мои ответы с величайшим пренебрежением и равнодушием, несмотря на то что внимание его было часто возбуждаемо хлопальщиками, стоявшими по обеим сторонам его.

Глава III

Задача, решенная современной философией и астрономией.

Большие успехи лапутян в области последней.

Королевский метод подавления восстаний

Я просил у его величества дозволения осмотреть достопримечательности острова, на что он любезно дал свое согласие, приказав моему наставнику быть моим руководителем. Больше всего хотелось мне знать, какой искусственной или естественной причине остров обязан разнообразными движениями. По этому поводу я представлю теперь читателю философское объяснение.

Летучий, или плавучий, остров имеет форму правильного круга диаметром в 7837 ярдов, или около четырех с половиной миль; следовательно, его поверхность равняется десяти тысячам акров. Высота острова равна тремстам ярдам. Дно, или нижняя поверхность, видимая только наблюдателям, находящимся на земле, есть гладкая

правильная алмазная пластина, толщиной около двухсот ярдов. На ней лежат различные минералы в обычном порядке, и все это покрыто слоем богатого чернозема в десять или двенадцать футов глубины. Наклон поверхности острова от окружности к центру служит естественной причиной того, что роса и дождь, падающие на остров, собираются в ручейки и текут к его середине, где вливаются в четыре больших бассейна, каждый из которых имеет около полумили в окружности и находится в двухстах ярдах от центра острова. Под действием солнечных лучей вода бассейнов непрерывно испаряется в течение дня, что препятствует их переполнению. Кроме того, монарх обладает возможностью поднимать остров в заоблачные сферы, где нет водяных паров, и, следовательно, может предотвратить падение росы и дождей, когда ему заблагорассудится: ведь, по единогласному мнению натуралистов, самые высокие облака не поднимаются выше двух миль; по крайней мере, таких случаев никогда не наблюдалось в этой стране.

В центре острова находится пропасть около пятидесяти ярдов в диаметре, через которую астрономы опускаются в большую пещеру, имеющую форму купола и называющуюся поэтому

Фландона Гагноле, или Астрономической Пещерой; она расположена на глубине ста ярдов в толще алмаза. В этой пещере всегда горят двадцать ламп, которые, отражаясь от алмазных стенок, ярко освещают каждый уголок. Вся пещера заставлена разнообразнейшими секстантами, квадрантами, телескопами, астролябиями и другими астрономическими приборами. Но главной достопримечательностью, от которой зависит судьба всего острова, является огромный магнит, по форме напоминающий ткацкий челнок. Он имеет в длину шесть ярдов, а в ширину — в самой толстой своей части — свыше трех ярдов. Магнит этот укреплен на очень прочной алмазной оси, проходящей через его середину; он вращается на ней и подвешен так точно, что малейшее прикосновение руки может повернуть его. Он охвачен полым алмазным цилиндром, имеющим четыре фута в высоту, столько же в толщину и двенадцать ярдов в диаметре и поддерживаемым горизонтально на восьми алмазных ножках, вышиною в шесть ярдов каждая. В середине внутренней поверхности цилиндра сделаны два гнезда, глубиною в двенадцать дюймов каждое, в которые всажены концы оси и в которых, когда бывает нужно, она вращается.

Никакая сила не может сдвинуть с места описанный нами магнит, потому что цилиндр вместе с ножками составляет одно целое с массой алмаза, служащего основанием всего острова.

При помощи этого магнита остров может подниматься, опускаться и передвигаться с одного места в другое. Ибо, по отношению к подвластной монарху части земной поверхности, магнит обладает с одного конца притягательной силой, а с другого — отталкивательной. Когда магнит поставлен вертикально и его притягательный полюс обращен к земле, остров опускается, но когда обращен книзу полюс магнита, обладающий отталкивательной силой, то остров поднимается прямо вверх. При косом положении магнита остров тоже движется в косом направлении, ибо силы этого магнита всегда действуют по линиям, параллельным его направлению.

При помощи такого косого движения остров переносится в разные части владений монарха. Для объяснения способа перемещения острова допустим, что *AB* есть линия, проходящая через государство Бальнибарби, *cd* — магнит, у которого *d* — отталкивательный полюс, а *c* — притягательный, и что остров находится над точкой *C*. Пусть магнит будет поставлен в поло-

жение *cd*, при котором его отрицательный полюс направлен вниз, тогда остров будет подталкиваться наискось вверх по направлению к *D*. По прибытии его в *D* пусть магнит будет повернут на оси так, чтобы его притягательный полюс был направлен к *E*, тогда и остров будет двигаться наискось по направлению к *E*. Если теперь снова повернуть магнит и поставить его в положение *EF* отталкивательным полюсом книзу, остров поднимется наискось по направлению к *F*, откуда, направляя притягательный полюс к *G*, остров можно перенести к *G* и от *G* к *N*, повернув магнит так, чтобы его отталкивательный полюс был обращен прямо вниз. Таким образом, изменяя по мере надобности положение камня, можно поднимать и опускать остров в косых направлениях, и при помощи таких попеременных подъемов и спусков (при незначительных уклонениях вкось) остров переносится из одной части государства в другую.

Однако надо заметить, что Лапута не может двигаться за пределы своего государства, а равно и не может подниматься на высоту больше четырех миль. Астрономы (написавшие обширные исследования касательно свойств этого магнита) дают следующее объяснение указанного явления:

магнитная сила не простирается далее четырех миль; с другой стороны, действующие на магнит минералы в недрах земли и в море, на расстоянии шести лиг от берега, залегают не по всему земному шару, а только в пределах владений его величества. Пользуясь преимуществами столь выгодного положения, монарх этот без труда мог привести к повиновению все страны, лежащие в пределах притяжения магнита.

Если поставить магнит в положение, параллельное плоскости горизонта, то остров останавливается; в самом деле, в этом случае полюсы магнита, находясь на одинаковом расстоянии от земли, действуют с одинаковой силой, — один притягивая остров книзу, другой — толкая его вверх, вследствие чего не может произойти никакого движения.

Описанный магнит находится в ведении надежных астрономов, которые время от времени меняют его положение, согласно приказаниям монарха. Эти ученые большую часть своей жизни проводят в наблюдениях над движениями небесных тел при помощи зрительных труб, которые своим качеством значительно превосходят наши. И хотя самые большие тамошние телескопы не длиннее трех футов, однако они увеличива-

ют значительно сильнее, чем наши, имеющие длину в сто футов, и показывают небесные тела с большей ясностью. Это преимущество позволило лапутянам в своих открытиях оставить далеко позади наших европейских астрономов. Так, ими составлен каталог десяти тысяч неподвижных звезд, между тем как самый обширный из наших каталогов содержит не более одной трети этого числа. Кроме того, они открыли две маленьких звезды или два спутника, обращающихся около Марса, из которых ближайший к Марсу удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем ее диаметрам, а более отдаленный находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров. Первый совершает свое обращение в течение десяти часов, а второй в течение двадцати одного с половиной часа, так что квадраты времен их обращения почти пропорциональны кубам их расстояний от центра Марса, каковое обстоятельство с очевидностью показывает, что означенные спутники управляются тем же самым законом тяготения, которому подчинены другие небесные тела.

Лапутяне произвели наблюдения над девяноста тремя различными кометами и установили с большой точностью периоды их возвращения.

Если это справедливо (а утверждения их весьма категоричны), то было бы весьма желательно, чтобы результаты их наблюдений сделались публичным достоянием, ибо тогда теория комет, которая теперь полна недостатков и сильно хромает, была бы доведена до того же совершенства, что и другие области астрономии.

Король мог бы стать самым абсолютным монархом в мире, если бы ему удалось убедить своих министров действовать с ним заодно. Но последние, будучи владельцами собственности на континенте и принимая во внимание, что положение фаворита весьма непрочно, никогда не соглашались на порабощение своего отечества.

Если какой-нибудь город поднимает мятеж или восстание, если в нем вспыхивает междоусобица или он отказывается платить обычные подати, то король располагает двумя средствами привести его к покорности. Первое и более мягкое из них заключается в помещении острова над таким городом и окружающими его землями: вследствие этого король лишает их благодетельного действия солнца и дождя, так что в непокорной стране начинаются голод и болезни. Смотря по степени преступления, эта карательная мера усиливается метанием сверху больших камней,

от которых население может укрыться только в подвалах или в погребах, предоставляя полному разрушению крыши своих жилищ. Но если мятежники продолжают упорствовать, король прибегает ко второму, более радикальному, средству: остров опускается прямо на головы непокорных и сокрушает их вместе с их домами. Однако к этому крайнему средству король прибегает в очень редких случаях и весьма неохотно, да и министры не решаются рекомендовать ему подобное мероприятие, так как оно, с одной стороны, способно внушить к ним народную ненависть, а с другой — может причинить большой вред их собственному имуществу, находящемуся на континенте, ибо остров есть владение короля.

Кроме того, существует другая, еще более важная причина, почему короли этого государства всегда питали отвращение к столь страшной мере и прибегали к ней только в случае самой крайней необходимости. Если город, осужденный на разрушение, расположен среди высоких скал, — а так именно и расположены в большинстве случаев крупные города, вероятно, для предохранения от указанной катастрофы, — или если в таком городе существует много колоколен или каменных башен, то внезапное падение

острова может повредить его основание, или нижнюю поверхность, которая хотя и состоит, как я уже говорил, из одного цельного алмаза толщиною в двести ярдов, все же при сильном толчке может расколоться, а при приближении к пламени расположенных под ней построек — треснуть, как это случается с железными или каменными стенками наших каминов. Все это отлично известно населению, которое соответственно соразмеряет свое сопротивление, когда дело касается его свободы и имущества. И король, несмотря на свое крайнее раздражение и твердую решимость стереть в порошок мятежный город, отдает распоряжение опустить остров как можно тише, под предлогом милостивого отношения к своему народу, на самом же деле из боязни разбить алмазное основание, так как в этом случае, по общему мнению всех философов, магнит не в состоянии будет удержать остров в воздухе, и вся его масса рухнет на землю.

Года за три до моего прибытия к лапутянам, когда король совершал полет над своими владениями, произошло необыкновенное событие, которое чуть было не оказалось роковым для этой монархии, по крайней мере для ее теперешнего строя. Линдалино, второй по величине

город в королевстве, был первым удостоившимся посещения его величества. Через три дня по его отъезде горожане, часто жаловавшиеся на большие притеснения, заперли городские ворота, арестовали губернатора и с невероятной быстротой и энергией воздвигли четыре массивные башни по четырем углам города (площадь которого представляет собой правильней четырехугольник) такой же высоты, как и гранитная остроконечная скала, возвышающаяся как раз в центре города. На верхушке каждой башни, так же как и на верхушке скалы, они утвердили по большому магниту и, на случай крушения их замысла, запаслись огромным количеством весьма горючего топлива, надеясь расколоть сильным пламенем алмазное основание острова, если бы проект с магнитами оказался неудачным.

Только через восемь месяцев король получил донесение о том, что Линдалино поднял мятеж. Он отдал тогда распоряжение направить остров к городу. Население было исполнено единодушия, запаслось провиантом. Посреди города протекает большая река. Король парил над мятежниками несколько дней, лишая их солнца и дождя. Он велел опустить с острова множество бечевок, но никто и не подумал обратиться к нему с челобит-

ной; зато во множестве полетели весьма дерзкие требования возместить все причиненные городу несправедливости, вернуть привилегии, предоставить населению право выбора губернатора и тому подобные несуразности. В ответ на это его величество приказал всем островитянам бросать с нижней галереи на город большие камни; но от этого несчастья горожане обереглись, укрывшись со своими пожитками в четырех башнях и других каменных зданиях, а также в погребах.

Тогда король, твердо решивший привести к покорности этих гордецов, приказал медленно опустить остров на сорок ярдов от верхушек башен и скалы. Приказание короля было исполнено; однако виновники, приводившие его в исполнение, обнаружили, что спуск совершился гораздо быстрее, чем обыкновенно, и, повернув магнит, только с большим трудом могли удержать остров в неподвижном положении, но заметили, что он все же обнаруживает наклонность к падению. Они немедленно дали знать об этом удивительном явлении и просили у его величества разрешения поднять остров выше; король дал согласие, был созван большой совет; и чиновники, ведающие магнитом, получили приказание присутствовать на нем.

Один из старейших и опытнейших среди них испросил позволение произвести придуманный им опыт. Он взял прочный шнурок в сто ярдов длины и, когда остров поднялся над городом на такую высоту, что прекратилось действие подмеченной притягательной силы, прикрепил к концу шнурка кусок алмаза, содержавший в себе некоторое количество железной руды подобно алмазу, составлявшему основание, или нижнюю поверхность острова, и стал медленно спускать его с нижней галереи к верхушке одной из башен. Не спустился алмаз и на четыре ярда, как чиновник почувствовал, что камень с такой силой увлекается вниз, что ему едва удалось вытащить его обратно. После этого он сбросил с острова несколько обломков алмаза и заметил, что все они с силой были притянуты верхушкой башни. Тот же опыт был проделан по отношению к остальным трем башням и скале, и результат каждый раз получался одинаковый.

Это событие расстроило все планы короля, и (мы не будем останавливаться на подробностях) ему пришлось оставить город в покое.

Один из министров уверял меня, что если бы остров опустился над городом так низко, что не мог бы больше подняться, то горожане навсегда

лишили бы его возможности передвигаться, убили бы короля и всех его прислужников и совершенно изменили бы образ правления.

Основной закон государства запрещает королю и двум его старшим сыновьям оставлять остров. То же запрещение распространяется и на королеву, пока она не утратит способности к деторождению.

Глава IV

Автор оставляет Лапуту. Его спускают в Бальнибарби.

Прибытие автора в столицу.

Описание столицы и прилегающей местности.

Один сановник гостеприимно принимает у себя автора.

Его беседы с этим сановником

Хотя я не могу пожаловаться на прием, оказанный мне на острове, все же я должен сознаться, что не пользовался там особенным вниманием и меня даже в некоторой степени презирали. Это и понятно, если вспомнить, что король и население не интересовались ничем, кроме математики и музыки, а в этом отношении я стоял значительно ниже их и потому не пользовался большим уважением.

С другой стороны, осмотрев все достопримечательности острова, я сам очень хотел его оставить, так как мне смертельно надоели эти

люди. Они действительно чрезвычайно сведущи в математике и музыке, и хотя я питаю большое уважение к этим двум знаниям и сам кое-что в них смыслю, тем не менее лапутяне настолько рассеянны и так глубоко погружены в умозрения, что я в жизни не встречал более неприятных собеседников. В течение двухмесячного моего пребывания на острове я разговаривал только с женщинами, купцами, хлопальщиками и пажами, вследствие чего все стали относиться ко мне с крайним презрением, хотя перечисленные мной лица были единственными, от которых я мог получить разумный ответ на заданный вопрос.

Благодаря усиленным занятиям я довольно хорошо изучил местный язык. Я томился заключением на острове, где мне оказывали так мало внимания, и решил покинуть его при первом удобном случае.

Между придворными находился один вельможа, близкий родственник короля. Это обстоятельство было единственной причиной уважения к нему царедворцев, так как все они считали его человеком крайне глупым и невежественным. Он оказал много весьма важных услуг государству, обладал большими природными способностями, а также опытом, и отличался прямотой и чест-

ностью; но ухо его было так нечувствительно к музыке, что, по уверению его недоброжелателей, он часто отбивал такт невпопад; и наставники лишь с крайним трудом могли научить его доказывать простейшие математические теоремы. Этот вельможа оказывал мне большое благоволение: часто навещал меня, желая получить сведения о европейской жизни, о законах и обычаях, нравах и науках различных посещенных мною стран. Он слушал меня с большим вниманием и делал очень мудрые замечания по поводу моих рассказов. По чину при нем состояли два хлопальщика, но он никогда не прибегал к их услугам, исключая придворных церемоний и официальных визитов, и постоянно отпускал их, когда мы оставались наедине.

Я попросил эту почтенную особу исходатайствовать мне у его величества разрешение покинуть остров. Вельможа исполнил мою просьбу, хотя и с сожалением, как ему угодно было сказать мне; он сделал мне много лестных предложений, но я отказался от них с выражением глубочайшей признательности.

Шестнадцатого февраля я попрощался с его величеством и придворными. Король наградил меня подарками, ценностью около двухсот ан-

глийских фунтов; такие же подарки я получил и от моего покровителя, родственника короля, который вместе с тем дал мне рекомендательное письмо к своему другу, жившему в Лагадо, столице королевства. В это время остров парил над горой на расстоянии двух миль от города, и меня спустили с нижней галереи тем же способом, каким прежде подняли сюда.

Континент в пределах власти монарха Летучего Острова известен под общим именем Бальнибарби, а столица, как я уже говорил, называется Лагадо. Опустившись на твердую землю, я почувствовал некоторое удовлетворение. Так как я был одет в местный костюм и достаточно владел языком, чтобы разговаривать с местными жителями, то без всяких затруднений добрался до столицы. Я скоро отыскал дом лица, к которому у меня было рекомендательное письмо, передал ему письмо от его вельможного друга с острова и был любезно принят. Этот сановник, по имени Мьюноди, велел приготовить у себя в доме для меня комнату, где я и прожил все время моего пребывания в столице, пользуясь самым радушным гостеприимством хозяина.

На другой день по моем приезде он повез меня в своей коляске осмотреть город, который при-

близительно равняется половине Лондона; но дома в нем построены очень странно, и многие из них полуразрушены. Прохожие на улицах куда-то мчались, имели дикий вид, глаза их были неподвижно устремлены в одну точку, и почти все они были одеты в лохмотья. Миновав городские ворота, мы поехали полем, сделав около трех миль. Здесь я увидел много крестьян, работавших с помощью разнообразных орудий, но не мог разобрать, что, собственно, они делают, тем более что поля, бывшие перед моими глазами, не имели ни малейших признаков травы или хлеба, хотя почва была, по-видимому, превосходная. Я не мог не выразить своего удивления по поводу столь странного вида города и деревни и решил обратиться к своему спутнику с просьбой объяснить мне, что означают эти озабоченные лица, эти занятые работой руки как на улицах, так и на полях, ибо я не замечал никаких благотворных результатов, произведенных ими; напротив, мне никогда не приходилось видеть полей, хуже возделанных, домов, хуже построенных и обвалившихся, и людей, внешность и платье которых свидетельствовали бы о такой нищете и лишениях.

Господин Мьюноди был очень знатной особой

и несколько лет состоял губернатором Лагадо, но благодаря интригам министров его отстранили от должности за неспособность. Тем не менее король относился к нему благосклонно, считая его человеком благомыслящим, хотя и недалекого ума.

На откровенно высказанное мною мнение об этой стране и ее жителях он ограничился замечанием, что я нахожусь у них слишком короткое время для того, чтобы составить правильное суждение, стал говорить, что у различных наций существуют различные нравы и обычаи, и тому подобные общие места. Но, когда мы возвратились в его дворец, он спросил, как я нахожу постройку, какие несуразности замечаю я в ней и какого рода замечания есть у меня по поводу платья и внешности его слуг. Он мог смело задавать подобные вопросы, так как все у него было великолепно, изящно, в порядке. Я ответил, что мудрость, знатность и богатство его превосходительства предохранили его от недостатков его соотечественников, которые являются следствием безрассудства и нищеты. Тогда он сказал мне, что если я пожелаю отправиться с ним в его загородный дом, расположенный приблизительно в двадцати милях, в его поместье, то там у нас

будет больше досуга для подобного рода бесед. Я заявил его превосходительству, что я весь к его услугам, и на следующий день утром мы отправились в путь.

По дороге Мьюноди обратил мое внимание на различные методы, применяемые фермерами при обработке земли, которые были для меня совершенно непонятны, ибо, за весьма редкими исключениями, я не мог заметить на полях ни одного колоса и ни одной былинки. Но после трехчасового пути картина совершенно переменилась. Перед нами открылась прекрасная местность: аккуратно построенные фермерские домики на небольшом расстоянии друг от друга; огороженные поля, разделенные на виноградники, хлебные нивы и луга. Я давно не видел такого приятного пейзажа. Его превосходительство, заметя, что лицо мое проясняется, сказал мне со вздохом, что здесь начинаются его владения, которыми мы будем ехать до самого дома и которые все будут в таком же роде; что его соотечественники смеются над ним и презирают его за то, что он плохо ведет хозяйство и подает государству столь дурной пример, которому, впрочем, подражают очень немногие, такие же своенравные и хилые старики, как он сам.

Наконец мы подъехали к дому. Это было великолепное здание, построенное по лучшим правилам старинной архитектуры. Фонтаны, сады, аллеи, рощи — все было устроено очень умно и со вкусом. Я воздал виденному заслуженную похвалу, но его превосходительство не обращал на мои слова ни малейшего внимания до конца ужина. Когда мы остались вдвоем, мой хозяин с очень грустным видом сказал мне, что часто он подумывает, не лучше ли ему срыть свои дома в городе и деревне и перестроить их по теперешней моде, уничтожить свое полевое хозяйство и завести другое, согласно новейшим требованиям, ознакомив с ними также и фермеров; в противном случае он рискует навлечь на себя упреки в гордости, оригинальничанье, кривлянье, невежестве, самодурстве и, чего доброго, увеличить неудовольствие его величества. Он выразил предположение, что восхищение мое, вероятно, остынет или ослабеет, когда он познакомит меня с вещами, о которых я вряд ли слышал при дворе, где люди слишком погружены в свои умозрения и им некогда обращать внимание на то, что делается на Земле.

Речь его сводилась к следующему. Около сорока лет тому назад несколько жителей столицы под-

нялись на Лапуту — одни по делам, другие ради удовольствия, — и после пятимесячного пребывания на острове спустились обратно с весьма поверхностными познаниями в математике, но в крайне легкомысленном расположении, приобретенном в этой воздушной области. Возвратившись на землю, лица эти прониклись презрением ко всем нашим учреждениям и начали составлять проекты пересоздания науки, искусства, законов, языка и техники на новый лад. С этой целью они выхлопотали королевскую привилегию на учреждение Академии прожекторов в Лагадо. Затея эта имела такой успех, что теперь в королевстве нет ни одного сколько-нибудь значительного города, в котором бы не возникла такая академия. В этих заведениях профессора изобретают новые методы земледелия и архитектуры и новые орудия и инструменты для всякого рода ремесел и производств, с помощью которых, как они уверяют, один человек будет исполнять работу десятерых; в течение недели можно будет воздвигнуть дворец из такого прочного материала, что он простоит вечно, не требуя никакого ремонта; все земные плоды будут созревать во всякое время года, по желанию потребителей, причем эти плоды по размерам

превзойдут в сто раз те, какие мы имеем теперь… но не перечтешь всех их проектов осчастливить человечество. Жаль только, что ни один из этих проектов еще не доведен до конца, а между тем страна в ожидании будущих благ приведена в запустение, дома в развалинах и население голодает или ходит в лохмотьях. Однако все это не только не охлаждает рвения прожектеров, но еще пуще подогревает его, и их одинаково воодушевляют как надежда, так и отчаяние. Что касается самого Мьюноди, то он, не будучи человеком предприимчивым, продолжает действовать по старинке, живет в домах, построенных его предками, и во всем следует их примеру, не заводя никаких новшеств. Еще несколько человек из знати и среднего дворянства поступают так же, как и он, но на них смотрят с презрением и недоброжелательством, как на врагов науки, невежд и вредных членов общества, приносящих прогресс и благо страны в жертву своему покою и лени.

В заключение его превосходительство сказал, что он воздерживается от сообщения мне дальнейших подробностей, не желая лишить меня удовольствия, которое я, наверное, получу при личном осмотре главной Академии, куда он решил свести меня. Он только попросил меня

обратить внимание на разрушенные постройки на склоне горы, в трех милях от нас; он рассказал мне, что на расстоянии полумили от дома у него была отличная мельница, которая работала водой, отведенной из большой реки, и удовлетворяла потребности как его семьи, так и большого числа его арендаторов. Около семи лет тому назад к нему явилась компания прожектеров с предложением разрушить эту мельницу и построить новую на склоне горы, по хребту которой они собирались прорыть длинный канал в качестве водохранилища, куда вода будет подниматься при помощи труб и машин и приводить в движение мельницу, так как ветер и воздух, волнуя воду на вершине, сделают ее будто бы более текучей и при падении по склону ее понадобится для вращения мельничного колеса вдвое меньше, чем в том случае, когда она течет по почти ровной местности. Его превосходительство сказал, что, будучи в несколько натянутых отношениях с двором и уступая увещаниям друзей, он согласился привести этот проект в исполнение; после двухлетних работ, на которых было занято сто человек, предприятие развалилось, и прожектеры скрылись, свалив всю вину на него; с тех пор они постоянно издеваются над ним и подбивают

других проделать такой же эксперимент, с таким же ручательством за успех и с таким же разочарованием напоследок.

Спустя несколько дней мы возвратились в город.

Его превосходительство, приняв во внимание дурную репутацию, которой он пользовался в Академии, не счел удобным сопровождать меня сам, но поручил свести меня туда одному своему другу. Мой хозяин отрекомендовал меня как человека, увлекающегося проектами, весьма любознательного и легковерного, что, впрочем, было недалеко от истины, ибо в молодости я и сам был большим прожектером.

Глава V

Автору дозволяют осмотреть Большую Академию в Лагадо. Подробное описание Академии. Искусства, изучением которых занимаются профессора

Эта Академия занимает не одно отдельное здание, а два ряда заброшенных домов по обеим сторонам улицы, которые были приобретены и приспособлены для ее работ.

Я был благосклонно принят президентом и посещал Академию ежедневно в течение довольно продолжительного времени. Каждая комната заключала в себе одного или нескольких прожектеров, и я думаю, что побывал не менее чем в пятистах комнатах.

Первый ученый, которого я посетил, был тощий человек с закопченным лицом и руками, с длинными всклокоченными и местами опаленными волосами и бородой. Его платье, рубаха и кожа были такого же цвета. Восемь лет он разрабатывал проект извлечения из огурцов солнечных лучей, которые предполагал заключить

в герметически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета. Он выразил уверенность, что еще через восемь лет сможет поставлять солнечный свет для губернаторских садов по умеренной цене; но он жаловался, что запасы его невелики, и просил меня дать ему что-нибудь в поощрение его изобретательности, тем более что огурцы в то время года были очень дороги. Я сделал ему маленький подарок из денег, которыми предусмотрительно снабдил меня мой хозяин, хорошо знавший привычку этих господ выпрашивать подачки у каждого, кто посещает их.

Войдя в другую комнату, я чуть было не выскочил из нее вон, потому что едва не задохся от ужасного зловония. Однако мой спутник удержал меня, шепотом сказав, что необходимо войти, иначе мы нанесем большую обиду; таким образом, я не посмел даже заткнуть нос. Изобретатель, сидевший в этой комнате, был одним из старейших членов Академии. Лицо и борода его были бледно-желтые, а руки и платье все вымазаны нечистотами. Когда я был ему представлен, он крепко обнял меня (любезность, без которой я отлично мог бы обойтись). С самого своего вступ-

ления в Академию он занимался превращением человеческих экскрементов в те питательные вещества, из которых они образовались, путем отделения от них некоторых составных частей, удаления окраски, сообщаемой им желчью, выпаривания зловония и выделения слюны. Город еженедельно отпускал ему посудину, наполненную человеческими нечистотами, величиной с бристольскую бочку.

Там же я увидел другого ученого, занимавшегося пережиганием льда в порох. Он показал мне написанное им исследование о ковкости пламени, которое он собирался опубликовать.

Там был также весьма изобретательный архитектор, придумавший новый способ постройки домов, начиная с крыши и кончая фундаментом. Он оправдывал мне этот способ ссылкой на приемы двух мудрых насекомых — пчелы и паука.

Там был, наконец, слепорожденный, под руководством которого занималось несколько таких же слепых учеников. Их занятия состояли в смешивании для живописцев красок, каковые профессор учил их распознавать при помощи обоняния и осязания. Правда, на мое несчастье, во время моего посещения они не особенно удачно справлялись со своей задачей, да и сам профес-

сор постоянно совершал ошибки. Ученый этот пользуется большой поддержкой и уважением своих собратьев.

В другой комнате мне доставил большое удовольствие прожектер, открывший способ пахать землю свиньями и избавиться таким образом от расходов на плуги, скот и рабочих. Способ этот заключается в следующем: на десятине земли вы закапываете на расстоянии шести дюймов и на глубине восьми известное количество желудей, фиников, каштанов и других плодов или овощей, до которых особенно лакомы свиньи; затем вы выгоняете на это поле штук шестьсот или больше свиней, и они в течение немногих дней, в поисках пищи, взроют всю землю, сделав ее пригодной для посева и в то же время удобрив ее своим навозом. Правда, произведенный опыт показал, что такая обработка земли требует больших хлопот и расходов, а урожай дает маленький или никакой. Однако никто не сомневается, что это изобретение поддается большому усовершенствованию.

Я вошел в следующую комнату, где стены и потолок были сплошь затянуты паутиной, за исключением узкого прохода для изобретателя. Едва я показался в дверях, как последний громко закричал, чтобы я был осторожнее и не порвал

его паутины. Он стал жаловаться на роковую ошибку, которую совершал до сих пор мир, пользуясь работой шелковичных червей, тогда как у нас всегда под рукой множество насекомых, бесконечно превосходящих упомянутых червей, ибо они одарены качествами не только прядильщиков, но и ткачей. Далее изобретатель указал, что утилизация пауков совершенно избавит от расходов на окраску тканей; и я вполне убедился в этом, когда он показал нам множество красивых разноцветных мух, которыми кормил пауков и цвет которых, по его уверениям, необходимо должен передаваться изготовленной пауком пряже. И так как у него были мухи всех цветов, то он надеялся удовлетворить вкусам каждого, как только ему удастся найти для мух подходящую пищу в виде камеди, масла и других клейких веществ и придать, таким образом, большую плотность и прочность нитям паутины.

Там же был астроном, затеявший поместить солнечные часы на большой флюгер ратуши, выверив годовые и суточные движения земли и солнца так, чтобы они соответствовали и согласовались со всеми случайными переменами направления ветра.

Я пожаловался в это время на легкие колики, и

мой спутник привел меня в комнату знаменитого медика, особенно прославившегося лечением этой болезни путем двух противоположных операций, производимых одним и тем же инструментом. У него был большой раздувальный мех с длинным и тонким наконечником из слоновой кости. Доктор утверждал, что, вводя трубку на восемь дюймов в задний проход и втягивая ветры, он может привести кишки в такое состояние, что они станут похожи на высохший пузырь. Но, если болезнь более упорна и жестока, доктор вводит трубку, когда мехи наполнены воздухом, и вгоняет этот воздух в тело больного; затем он вынимает трубку, чтобы вновь наполнить мехи, плотно закрывая на это время большим пальцем заднепроходное отверстие. Эту операцию он повторяет три или четыре раза, после чего введенный в желудок воздух быстро устремляется наружу, увлекая с собой все вредные вещества (как вода из насоса), и больной выздоравливает. Я видел, как он произвел оба опыта над собакой, но не заметил, чтобы первый оказал какое-нибудь действие. После второго животное страшно раздулось и едва не лопнуло, затем так обильно опорожнилось, что мне и моему спутнику стало очень противно. Собака мгновенно околела, и мы

покинули доктора, прилагавшего старание вернуть ее к жизни при помощи той же операции.

Я посетил еще много других комнат, но, заботясь о краткости, не стану утруждать читателя описанием всех диковин, которые я там видел.

До сих пор я познакомился только с одним отделением Академии; другое же отделение было предоставлено ученым, двигавшим вперед спекулятивные науки; о нем я и скажу несколько слов, предварительно упомянув еще об одном знаменитом ученом, известном здесь под именем универсального искусника. Он рассказал нам, что вот уже тридцать лет он посвящает все свои мысли улучшению человеческой жизни. В его распоряжении были две большие комнаты, наполненные удивительными диковинами, и пятьдесят помощников. Одни сгущали воздух в вещество сухое и осязаемое, извлекая из него селитру и процеживая водянистые и текучие его частицы; другие размягчали мрамор для подушек и подушечек для булавок; третьи приводили в окаменелое состояние копыта живой лошади, чтобы предохранить их от изнашивания. Что касается самого искусника, то он занят был в то время разработкой двух великих замыслов: первый из них — обсеменение полей мякиной, в

которой, по его утверждению, заключена настоящая производительная сила, что он доказывал множеством экспериментов, которые, по моему невежеству, остались для меня совершенно непонятными; а второй — приостановка роста шерсти на двух ягнятах при помощи особого прикладываемого снаружи состава из камеди, минеральных и растительных веществ; и он надеялся в недалеком будущем развести во всем королевстве породу голых овец.

После этого мы пересекли улицу и вошли в другое отделение Академии, где, как я уже сказал, заседали прожектеры в области спекулятивных наук.

Первый профессор, которого я здесь увидел, помещался в огромной комнате, окруженный сорока учениками. После взаимных приветствий, заметив, что я внимательно рассматриваю раму, занимавшую большую часть комнаты, он сказал, что меня, быть может, удивит его работа над проектом усовершенствования умозрительного знания при помощи технических и механических операций. Но мир вскоре оценит всю полезность этого проекта; и он льстил себя уверенностью, что более возвышенная идея никогда еще не зарождалась ни в чьей голове. Каждому

известно, как трудно изучать науки и искусства по общепринятой методе; между тем благодаря его изобретению самый невежественный человек с помощью умеренных затрат и небольших физических усилий может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию при полном отсутствии эрудиции и таланта. Затем он подвел меня к раме, по бокам которой рядами стояли все его ученики. Рама эта имела двадцать квадратных футов и помещалась посредине комнаты. Поверхность ее состояла из множества деревянных дощечек, каждая величиною в игральную кость, одни побольше, другие поменьше. Все они были сцеплены между собой тонкими проволоками. Со всех сторон каждой дощечки приклеено было по кусочку бумаги, и на этих бумажках были написаны все слова их языка в различных наклонениях, временах и падежах, но без всякого порядка. Профессор попросил меня быть внимательнее, так как он собирался пустить в ход свою машину. По его команде каждый ученик взялся за железную рукоятку, которые в числе сорока были вставлены по краям рамы, и быстро повернул ее, после чего расположение слов совершенно изменилось. Тогда профессор приказал тридцати шести ученикам медленно

читать образовавшиеся строки в том порядке, в каком они разместились в раме; если случалось, что три или четыре слова составляли часть фразы, ее диктовали остальным четырем ученикам, исполнявшим роль писцов. Это упражнение было повторено три или четыре раза, и машина была так устроена, что после каждого оборота слова принимали все новое расположение, по мере того как квадратики переворачивались с одной стороны на другую.

Ученики занимались этими упражнениями по шесть часов в день, и профессор показал мне множество фолиантов, составленных из подобных отрывочных фраз; он намеревался связать их вместе и от этого богатого материала дать миру полный компендий всех искусств и наук; его работа могла бы быть, однако, облегчена и значительно ускорена, если бы удалось собрать фонд для сооружения пятисот таких станков в Лагадо и обязать руководителей объединить полученные ими коллекции.

Он сообщил мне, что это изобретение с юных лет поглощало все его мысли, что теперь в его станок входит целый словарь и что им точнейшим образом высчитано соотношение числа частиц, имен, глаголов и других частей речи, употребля-

емых в наших книгах.

Я принес глубочайшую благодарность этому почтенному мужу за его любезное посвящение меня в тайны своего великого изобретения и дал обещание, если мне удастся когда-нибудь вернуться на родину, воздать ему должное как единственному изобретателю этой изумительной машины, форму и устройство которой я попросил у него позволения срисовать на бумаге и прилагаю свой рисунок к настоящему изданию. Я сказал ему, что в Европе хотя и существует между учеными обычай похищать друг у друга изобретения, имеющий, впрочем, ту положительную сторону, что возбуждает полемику для разрешения вопроса, кому принадлежит подлинное первенство, тем не менее я обещаю принять все меры, чтобы честь этого изобретения всецело осталась за ним и никем не оспаривалась.

После этого мы пошли в школу языкознания, где заседали три профессора на совещании, посвященном вопросу об усовершенствовании родного языка. Первый проект предлагал сократить разговорную речь путем сведения многосложных слов к односложным и упразднения глаголов и причастий, так как в действительности все мыслимые вещи суть только имена. Второй проект требовал

полного упразднения всех слов; автор этого проекта ссылался главным образом на его пользу для здоровья и сбережение времени. Ведь очевидно, что каждое произносимое нами слово сопряжено с некоторым изнашиванием легких и, следовательно, приводит к сокращению нашей жизни. А так как слова суть только названия вещей, то автор проекта высказывает предположение, что для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний. Это изобретение благодаря его большим удобствам и пользе для здоровья, по всей вероятности, получило бы широкое распространение, если бы женщины, войдя в стачку с невежественной чернью, не пригрозили поднять восстание, требуя, чтобы языку их была предоставлена полная воля, согласно старому дедовскому обычаю: так простой народ постоянно оказывается непримиримым врагом науки! Тем не менее многие весьма ученые и мудрые люди пользуются этим новым способом выражения своих мыслей при помощи вещей. Единственным его неудобством является то обстоятельство, что, в случае необходимости вести пространный разговор на разнообразные темы, собеседникам приходится таскать на плечах большие узлы с

вещами, если средства не позволяют нанять для этого одного или двух дюжих парней. Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, изнемогавших под тяжестью ноши, подобно нашим торговцам вразнос. При встрече на улице они снимали с плеч мешки, открывали их и, достав оттуда необходимые вещи, вели таким образом беседу в продолжение часа; затем складывали свою утварь, помогали друг другу взваливать груз на плечи, прощались и расходились.

Впрочем, для коротких и несложных разговоров можно носить все необходимое в кармане или под мышкой, а разговор, происходящий в домашней обстановке, не вызывает никаких затруднений. Поэтому комнаты, где собираются лица, применяющие этот метод, наполнены всевозможными предметами, пригодными служить материалом для таких искусственных разговоров.

Другим великим преимуществом этого изобретения является то, что им можно пользоваться как всемирным языком, понятным для всех цивилизованных наций, ибо мебель и домашняя утварь всюду одинакова или очень похожа, так что ее употребление легко может быть понято. Таким образом, посланники без труда могут говорить с

иностранными королями или министрами, язык которых им совершенно неизвестен.

Я посетил также математическую школу, где учитель преподает по такому методу, какой едва ли возможно представить себе у нас в Европе. Каждая теорема с доказательством тщательно переписывается на тоненькой облатке чернилами, составленными из микстуры против головной боли. Ученик глотает облатку натощак и в течение трех следующих дней не ест ничего, кроме хлеба и воды. Когда облатка переваривается, микстура поднимается в его мозг, принося с собой туда же теорему. Однако до сих пор успех этого метода незначителен, что объясняется отчасти какой-то ошибкой в определении дозы или состава микстуры, а отчасти озорством мальчишек, которым эта пилюля так противна, что они обыкновенно отходят в сторону и выплевывают ее прежде, чем она успеет оказать свое действие; к тому же до сих пор их не удалось убедить соблюдать столь продолжительное воздержание, которое требуется для этой операции.

Глава VI

Продолжение описания Академии.

Автор предлагает некоторые усовершенствования, которые с благодарностью принимаются

В школе политических прожектеров я не нашел ничего занятного. Ученые там были, на мой взгляд, людьми совершенно рехнувшимися, а такое зрелище всегда наводит на меня тоску. Эти несчастные предлагали способы убедить монархов выбирать себе фаворитов из людей умных, способных и добродетельных; научить министров считаться с общественным благом, награждать людей достойных, одаренных, оказавших обществу выдающиеся услуги; учить монархов познанию их истинных интересов, которые основаны на интересах их народов; поручать должности лицам, обладающим необходимыми качествами для того, чтобы занимать их, и множество других диких и невозможных фантазий, которые никогда еще не зарождались в головах людей здравомыслящих. Таким образом, я еще раз убедился в справедливости старинного

изречения, что на свете нет такой нелепости, которую бы иные философы не защищали как истину.

Я должен, однако, отдать справедливость этому отделению Академии и признать, что не все здесь были такими фантастами. Так, я познакомился там с одним весьма остроумным доктором, который, по-видимому, в совершенстве изучил природу и механизм управления государством. Этот знаменитый муж с большой пользой посвятил свое время нахождению радикальных лекарств от всех болезней и нравственного разложения, которым подвержены различные общественные власти благодаря порокам и слабостям правителей, с одной стороны, и распущенности управляемых — с другой. Так, например, поскольку все писатели и философы единогласно утверждают, что существует полная аналогия между естественным и политическим телом, то не яснее ли ясного, что здоровье обоих тел должно сохраняться и болезни лечиться одними и теми же средствами? Всеми признано, что сенаторы и члены высоких палат часто страдают многословием, запальчивостью и другими дурными наклонностями; многими болезнями головы и особенно сердца; сильными

конвульсиями с мучительными сокращениями нервов и мускулов обеих рук и особенно правой; разлитием желчи, ветрами в животе, головокружением, бредом; золотушными опухолями, наполненными гнойной и зловонной материей; кислыми отрыжками, волчьим аппетитом, несварением желудка и массой других болезней, которые ни к чему перечислять. Вследствие этого знаменитый доктор предлагает, чтобы во время созыва сената на первых трех его заседаниях присутствовало несколько врачей, которые, по окончании прений, щупали бы пульс у каждого сенатора; затем, по зрелом обсуждении характера каждой болезни и метода ее лечения, врачи эти должны возвратиться на четвертый день в залу заседаний в сопровождении аптекарей, снабженных необходимыми медикаментами, и, прежде чем сенаторы начнут совещание, дать каждому из них утолительного, слабительного, очищающего, разъедающего, вяжущего, облегчительного, расслабляющего, противоголовного, противожелтушного, противомокротного, противоушного, смотря по роду болезни; испытав действие лекарств, в следующее заседание врачи должны или повторить, или переменить, или перестать давать их.

Осуществление этого проекта должно обойтись недорого, и он может, по моему скромному мнению, принести много пользы для ускорения делопроизводства в тех странах, где сенат принимает какое-нибудь участие в законодательной власти; породить единодушие, сократить прения, открыть несколько ртов, теперь закрытых, и закрыть гораздо большее число открытых, обуздать пыл молодости и смягчить сухость старости, расшевелить тупых и охладить горячих.

Далее: так как все жалуются, что фавориты государей страдают короткой и слабой памятью, то тот же доктор предлагает каждому, получившему аудиенцию у первого министра, по изложении в самых коротких и ясных словах сущности дела, на прощание потянуть его за нос, или дать ему пинок в живот, или наступить на мозоль, или надрать ему уши, или уколоть через штаны булавкой, или ущипнуть до синяка руку и тем предотвратить министерскую забывчивость. Операцию следует повторять каждый приемный день, пока просьба не будет исполнена или не последует категорический отказ.

Он предлагает также, чтобы каждый сенатор, высказав в большом национальном совете свое мнение и приведя в его пользу доводы, подавал

свой голос за прямо противоположное мнение, и ручается, что при соблюдении этого условия исход голосования всегда будет благодетелен для общества.

Если раздоры между партиями становятся ожесточенными, он рекомендует замечательное средство для их примирения. Оно заключается в следующем: вы берете сотню лидеров каждой партии и разбиваете их на пары, так, чтобы головы людей, входящих в каждую пару, были приблизительно одной величины; затем пусть два искусных хирурга отпилят одновременно затылки у каждой пары таким образом, чтобы мозг разделился на две равные части. Пусть будет произведен обмен срезанными затылками и каждый из них приставлен к голове политического противника. Операция эта требует, по-видимому, большой тщательности, но профессор уверял нас, что если она сделана искусно, то выздоровление обеспечено. Он рассуждал следующим образом: две половинки головного мозга, принужденные спорить между собой в пространстве одного черепа, скоро придут к доброму согласию и породят ту умеренность и ту правильность мышления, которые так желательны для голов людей, воображающих, будто они появились на свет только

для того, чтобы стоять на страже его и управлять его движениями. Что же касается качественного или количественного различия между мозгами вождей враждующих партий, то, по уверениям доктора, основанным на продолжительном опыте, это сущие пустяки.

Я присутствовал при жарком споре двух профессоров о наиболее удобных и действительных путях и способах взимания податей, так чтобы они не отягощали население. Один утверждал, что справедливее всего обложить известным налогом пороки и безрассудства, причем сумма обложения в каждом отдельном случае должна определяться самым беспристрастным образом жюри, составленным из соседей облагаемого. Другой был прямо противоположного мнения: должны быть обложены налогом те качества тела и души, за которые люди больше всего ценят себя; налог должен повышаться или понижаться, смотря по степени совершенства этих качеств, оценку которых следует всецело предоставить совести самих плательщиков. Наиболее высоким налогом облагаются лица, пользующиеся наибольшей благосклонностью другого пола, и ставка налога определяется соответственно количеству и природе полученных ими знаков

благорасположения; причем сборщики податей должны довольствоваться их собственными показаниями. Он предлагал также обложить высоким налогом ум, храбрость и учтивость и взимать этот налог тем же способом, то есть сам плательщик определяет степень, в какой он обладает указанными качествами. Однако честь, справедливость, мудрость и знания не подлежат обложению, потому что оценка их до такой степени субъективна, что не найдется человека, который признал бы их существование у своего ближнего или правильно оценил их в самом себе.

Женщины, по его предложению, должны быть обложены соответственно их красоте и уменью одеваться, причем им, как и мужчинам, следует предоставить право самим расценивать себя. Но женское постоянство, целомудрие, здравый смысл и добрый нрав не должны быть облагаемы, так как доходы от этих статей не покроют издержек по взиманию налога.

Чтобы заставить сенаторов служить интересам короны, он предлагает распределять среди них высшие должности по жребию; причем каждый из сенаторов должен сперва присягнуть и поручиться в том, что будет голосовать в интересах

двора, независимо от того, какой жребий ему выпадет; однако неудачники обладают правом снова тянуть жребий при появлении вакансии. Таким образом, у сенаторов всегда будет поддерживаться надежда на получение места; никто из них не станет жаловаться на неисполнение обещания, и неудачники будут взваливать свои неудачи на судьбу, у которой плечи шире и крепче, чем у любого министра.

Другой профессор показал мне обширную рукопись инструкций для открытия противоправительственных заговоров. Он рекомендует государственным мужам исследовать пищу всех подозрительных лиц; разузнать, в какое время они садятся за стол; на каком боку спят, какой рукой подтираются; тщательно рассмотреть их экскременты и на основании цвета, запаха, вкуса, густоты и степени переваренности составить суждение об их мыслях и намерениях: ибо люди никогда не бывают так серьезны, глубокомысленны и сосредоточенны, как в то время, когда они сидят на стульчаке, в чем он убедился на собственном опыте; в самом деле, когда, находясь в таком положении, он пробовал, просто в виде опыта, размышлять, каков наилучший способ убийства короля, то кал его приобретал зелено-

ватую окраску, и цвет его бывал совсем другой, когда он думал только поднять восстание или поджечь столицу.

Все рассуждение написано с большой проницательностью и заключает в себе много наблюдений, любопытных и полезных для политиков, хотя эти наблюдения показались мне недостаточно полными. Я отважился сказать это автору и предложил, если он пожелает, сделать некоторые добавления. Он принял мое предложение с большей благожелательностью, чем это обычно бывает у писателей, особенно тех, которые занимаются составлением проектов, заявив, что будет рад услышать дальнейшие указания.

Тогда я сказал ему, что в королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден, где я пробыл некоторое время в одно из моих путешествий, большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и прислужниками, находящимися на жалованье у министров и их помощников. Заговоры в этом королевстве обыкновенно являются махинацией людей, желающих укрепить свою репутацию тонких политиков, вдохнуть новые силы в одряхлевшие

органы власти, задушить или отвлечь общественное недовольство, наполнить свои сундуки конфискованным имуществом, укрепить или подорвать доверие к государственному кредиту, согласуя то и другое со своими личными выгодами. Прежде всего они соглашаются и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвинить в заговоре; затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их собственников заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков, больших искусников по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв. Так, например, они открыли, что: сидение на стульчаке означает тайное совещание; стая гусей — сенат; хромая собака — претендента; чума — постоянную армию; сарыч — первого министра; подагра — архиепископа; виселица — государственного секретаря; ночной горшок — комитет вельмож; решето — фрейлину; метла — революцию; мышеловка — государственную службу; бездонный колодезь — казначейство; помойная яма — двор; дурацкий колпак — фаворита; сломанный тростник — судебную палату; пустая бочка — генерала; гноящаяся рана — систему управления.

Если этот метод оказывается недостаточным, они руководствуются двумя другими, более действительными, известными между учеными под именем акростихов и анаграмм. Один из этих методов позволяет им расшифровать все инициалы, согласно их политическому смыслу. Так, *N* будет означать заговор; *B* — кавалерийский полк; *L* — флот на море.

Пользуясь вторым методом, заключающимся в перестановке букв подозрительного письма, можно прочитать самые затаенные мысли и узнать самые сокровенные намерения недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю: «Наш брат Том нажил геморрой», искусный дешифровальщик из этих самых букв прочитает фразу, что заговор открыт, надо сопротивляться и т. д. Это и есть анаграмматический метод.

Профессор горячо поблагодарил меня за сообщение этих наблюдений и обещал сделать почетное упоминание обо мне в своем трактате.

Больше ничто не привлекало к себе моего внимания в этой стране, и я стал подумывать о возвращении в Англию.

Глава VII

Автор оставляет Аагадо и прибывает в Мальдонаду.

Он не попадает на корабль.

Совершает короткое путешествие в Глаббдобдриб.

Прием, оказанный автору правителем этого острова

Континент, частью которого является это королевство, простирается, как я имею основание думать, на восток по направлению к неисследованной области Америки, к западу от Калифорнии; на север он тянется по направлению к Тихому океану, который находится на расстоянии не более ста пятидесяти миль от Лагадо; здесь есть прекрасный порт, ведущий оживленную торговлю с большим островом Лаггнегг, расположенным на северо-запад под 29° северной широты и 140° долготы. Остров Лаггнегг лежит на юго-восток от Японии на рас-

стоянии около ста лиг. Японский император и король Лаггнегга живут в тесной дружбе, благодаря которой между двумя этими островами происходят частые сообщения. Поэтому я решил направить свой путь туда с целью при первом случае возвратиться в Европу. Я нанял двух мулов и проводника, чтобы он указал мне дорогу и перевез мой небольшой багаж. Простившись с моим благородным покровителем, оказавшим мне столько услуг и сделавшим богатый подарок, я отправился в путь.

Мое путешествие прошло без всяких случайностей или приключений, о которых стоило бы упомянуть. Когда я прибыл в Мальдонаду (морской порт острова), там не только не было корабля, отправляющегося в Лаггнегг, но и не предвиделось в близком будущем. Город этот величиной с Портсмут. Вскоре я завел некоторые знакомства и был принят весьма гостеприимно. Один знатный господин сказал мне, что так как корабль, идущий в Лаггнегг, будет готов к отплытию не ранее, чем через месяц, то мне, может быть, доставит некоторое удовольствие экскурсия на островок Глаббдобдриб, лежащий в пяти лигах к юго-западу. Он предложил сопровождать меня вместе со своим другом и достать мне для

этой поездки небольшой удобный баркас.

Слово Глаббдобдриб, насколько для меня понятен его смысл, означает остров чародеев или волшебников. Он равняется одной трети острова Уайта и очень плодороден. Им управляет глава племени, сплошь состоящего из волшебников. Жители этого острова вступают в браки только между собою, и старейший в роде является монархом или правителем. У него великолепный дворец с огромным парком в три тысячи акров, окруженным каменной стеной в двадцать футов вышины. В этом парке есть несколько огороженных мест для скотоводства, хлебопашества и садоводства.

Слуги этого правителя и его семьи имеют несколько необычный вид. Благодаря хорошему знанию некромантии правитель обладает силой вызывать по своему желанию мертвых и заставлять их служить себе в течение двадцати четырех часов, но не дольше; равным образом, он не может вызывать одно и то же лицо чаще чем раз в три месяца, кроме каких-нибудь чрезвычайных случаев.

Когда мы прибыли на остров, было около одиннадцати часов утра; один из моих спутников отправился к правителю испросить у него

аудиенцию для иностранца, который явился на остров в надежде удостоиться высокой чести быть принятым его высочеством. Правитель немедленно дал свое согласие, и мы все трое вошли в дворцовые ворота между двумя рядами стражи, вооруженной и одетой по весьма старинной моде; на лицах у нее было нечто такое, что наполнило меня невыразимым ужасом. Мы миновали несколько комнат между двумя рядами таких же слуг и пришли в аудиенц-залу, где, после трех глубоких поклонов и нескольких общих вопросов, нам было разрешено сесть на три табурета у нижней ступеньки трона его высочества. Правитель понимал язык Бальнибарби, хотя он отличается от местного наречия. Он попросил меня сообщить о моих путешествиях и, желая показать, что со мной будут обращаться запросто, дал знак присутствующим удалиться, после чего, к моему величайшему изумлению, они мгновенно исчезли, как исчезает сновидение, когда мы внезапно просыпаемся. Некоторое время я не мог прийти в себя, пока правитель не уверил меня, что я нахожусь здесь в полной безопасности. Видя спокойствие на лицах моих двух спутников, привыкших к подобного рода приемам, я понемногу оправился и вкратце рассказал его

высочеству некоторые из моих приключений; но я не мог окончательно подавить своего волнения и часто оглядывался назад, чтобы взглянуть на те места, где стояли исчезнувшие слуги-призраки. Я удостоился чести обедать вместе с правителем, причем новый отряд привидений подавал кушанья и прислуживал за столом. Однако теперь все это не так пугало меня, как утром. Я оставался во дворце до захода солнца, но почтительно попросил его высочество извинить меня за то, что я не могу принять его приглашение остановиться во дворце. Вместе со своими друзьями я переночевал на частной квартире в городе, являющемся столицей этого островка, и на другой день утром мы снова отправились к правителю засвидетельствовать ему свое почтение и предоставить себя в его распоряжение.

Так мы провели на острове десять дней, оставаясь большую часть дня у правителя и ночуя на городской квартире. Скоро я до такой степени свыкся с обществом теней и духов, что на третий или четвертый день они уже совсем не волновали меня, или, по крайней мере, если у меня и осталось немного страха, то любопытство превозмогло его. Видя это, его высочество правитель предложил мне назвать имена каких мне

вздумается лиц и в каком угодно числе среди всех умерших от начала мира и до настоящего времени и задать им какие угодно вопросы, лишь бы только они касались событий при их жизни. И я, во всяком случае, могу быть уверен, что услышу только правду, так как ложь есть искусство, совершенно бесполезное на том свете.

Я почтительно выразил его высочеству свою признательность за такую высокую милость. В это время мы находились в комнате, откуда открывался красивый вид на парк, и так как мне хотелось сперва увидеть сцены торжественные и величественные, то я попросил показать Александра Великого во главе его армии, тотчас после битвы под Арбелой. И вот, по мановению пальца правителя, он немедленно появился передо мной на широком поле под окном, у которого мы стояли. Александр был приглашен в комнату; с большими затруднениями я разбирал его речь на древнегреческом языке, с своей стороны он тоже плохо понимал меня. Он поклялся мне, что не был отравлен, а умер от лихорадки благодаря неумеренному пьянству.

Затем я увидел Ганнибала во время его перехода через Альпы, который объявил мне, что у него в лагере не было ни капли уксуса.

Я видел Цезаря и Помпея во главе их войск, готовых вступить в сражение. Я видел также Цезаря во время его последнего триумфа. Затем я попросил вызвать римский сенат в одной большой комнате и для сравнения с ним современный парламент в другой. Первый казался собранием героев и полубогов, второй — сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов.

По моей просьбе правитель сделал знак Цезарю и Бруту приблизиться к нам. При виде Брута я проникся глубоким благоговением: в каждой черте его лица нетрудно было увидеть самую совершенную добродетель, величайшее бесстрастие и твердость духа, преданнейшую любовь к родине и благожелательность к людям. С большим удовольствием я убедился, что оба эти человека находятся в отличных отношениях друг с другом, и Цезарь откровенно признался мне, что величайшие подвиги, совершенные им в течение жизни, далеко не могут сравниться со славой того, кто отнял у него эту жизнь. Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, в которой он между прочим сообщил мне, что его предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон-младший, сэр Томас Мор и он сам всегда находятся вместе — секстум-

вират, к которому вся история человечества не в состоянии прибавить седьмого члена.

Я утомил бы читателя перечислением всех знаменитых людей, вызванных правителем для удовлетворения моего ненасытного желания видеть мир во все эпохи его древней истории. Больше всего я наслаждался лицезрением людей, истреблявших тиранов и узурпаторов и восстановлявших свободу и попранные права угнетенных народов. Но я не способен передать волновавшие меня чувства в такой форме, чтобы они заинтересовали читателя.

Глава VIII

Продолжение описания Глаббдобдриба.

Поправки к древней и новой истории

Желая увидеть мужей древности, наиболее прославившихся умом и познаниями, я посвятил этому особый день. Мне пришло на мысль вызвать Гомера и Аристотеля во главе всех их комментаторов; но последних оказалось так много, что несколько сот их принуждены были подождать на дворе и в других комнатах дворца. С первого же взгляда я узнал этих двух героев и не только отличил их от толпы, но и друг от друга. Гомер был красивее и выше Аристотеля, держался очень прямо для своего возраста, и глаза у него были необыкновенно живые и проницательные. Аристотель был сильно сгорблен и опирался на палку; у него были худощавое лицо, прямые редкие волосы и глухой голос. Я скоро заметил, что оба великих мужа совершенно чужды остальной компании, никогда этих людей не видали и ничего о них не слышали. Один из призраков, имени которого я не назову, шепнул мне на ухо, что на

том свете все эти комментаторы держатся на весьма почтительном расстоянии от своих принципалов благодаря чувству стыда и сознанию своей виновности в чудовищном искажении для потомства смысла произведений этих авторов. Я познакомил Дидима и Евстафия с Гомером и убедил его отнестись к ним лучше, чем, может быть, они заслужили, ибо он скоро обнаружил, что оба комментатора слишком бездарны и не способны проникнуть в дух поэта. Но Аристотель потерял всякое терпение, когда я представил ему Скотта и Рамуса и стал излагать ему их взгляды; он спросил их, неужели и все остальное племя комментаторов состоит из таких же олухов, как они.

Затем я попросил правителя вызвать Декарта и Гассенди, которым предложил изложить Аристотелю их системы. Этот великий философ откровенно признал свои ошибки в естественной философии, потому что во многих случаях его рассуждения были основаны на догадках, как это приходится делать всем людям; и он высказал предположение, что Гассенди, подновивший по мере сил учение Эпикура, и Декарт с его теорией вихрей будут одинаково отвергнуты потомством. Он предсказал ту же участь теории тяготения, ко-

торую с таким рвением отстаивают современные ученые. При этом он заметил, что новые системы природы, подобно новой моде, меняются с каждым поколением и что даже философы, которые пытаются доказать их математическим методом, успевают в этом ненадолго и выходят из моды в назначенные судьбой сроки.

В продолжение пяти дней я вел беседы также и со многими другими учеными древнего мира. Я видел большинство римских императоров. Я стал упрашивать правителя вызвать поваров Гелиогабала, чтобы они приготовили для нас обед, но за недостатком материалов они не могли показать нам как следует свое искусство. Один илот Агесилая сварил нам спартанскую похлебку, но, отведав ее, я не мог проглотить второй ложки.

Сопровождавшие меня на остров два джентльмена принуждены были вернуться по делам домой на три дня. Это время я употребил на свидания с великими людьми, умершими в течение двух или трех последних столетий, славными в моем отечестве или в других европейских странах. Будучи всегда большим поклонником древних знаменитых родов, я попросил правителя вызвать дюжину или две королей с их предками, в количестве восьми или девяти

поколений. Но меня постигло мучительное и неожиданное разочарование. Вместо величественного ряда венценосных особ я увидел в одной династии двух скрипачей, трех ловких царедворцев и одного итальянского прелата; в другой — цирюльника, аббата и двух кардиналов. Но я питаю слитком глубокое почтение к коронованным головам, чтобы останавливаться дольше на этом щекотливом предмете. Что же касается графов, маркизов, герцогов и тому подобных людей, то с ними я не был так щепетилен и, признаюсь, не без удовольствия прослеживал до первоисточника своеобразные черточки, которыми отличаются некоторые знатные роды. Я без труда мог открыть, откуда в одном роду происходит длинный подбородок; почему другой род в двух поколениях изобилует мошенниками, а в двух следующих дураками; почему третий состоит из помешанных, а четвертый из плутов; чем объясняются слова, сказанные Полидором Вергилием по поводу одного знатного рода: Nec vir fortis, nec foemina casta[1]; каким образом жестокость, лживость и трусость стали характерными чертами некоторых родов, отличающими

[1] Примечания: 1
Не было ни мужа доблестного, ни жены целомудренной (*лат.*).

их так же ясно, как фамильные гербы; кто первый занес в тот или другой благородный род сифилис, перешедший в следующие поколения в форме золотушных опухолей. Все это перестало меня поражать, когда я увидел столько нарушений родословных линий пажами, лакеями, кучерами, игроками, скрипачами, комедиантами, военными и карманными воришками.

Особенно сильное отвращение почувствовал я к новой истории. И в самом деле, тщательно рассмотрев людей, которые в течение прошедшего столетия пользовались громкой славой при дворах королей, я понял, в каком заблуждении держат мир продажные писаки, приписывая величайшие военные подвиги трусам, мудрые советы дуракам, искренность льстецам, римскую доблесть изменникам отечеству, набожность безбожникам, целомудрие содомитам, правдивость доносчикам. Я узнал, сколько невинных превосходных людей было приговорено к смерти или изгнанию благодаря происка могущественных министров, подкупавших судей, и партийной злобе; сколько подлецов возводилось на высокие должности, облекалось доверием, властью, почетом и осыпалось материальными благами; какое огромное участие принимали в решени-

ях дворов, государственных советов и сенатов сводники, проститутки, паразиты и шуты. Какое невысокое составилось у меня мнение о человеческой мудрости и честности, когда я получил правильные сведения о пружинах и мотивах великих мировых событий и революций и о тех ничтожных случайностях, которым они обязаны своим успехом.

Там я открыл недобросовестность и невежество тех, кто берется писать *анекдоты* или секретную историю; кто отправляет стольких королей в могилу, поднося им кубок с ядом; кто пересказывает происходившие без свидетелей разговоры государя с первым министром; кто открывает мысли и ящики посланников и государственных секретарей, но, к несчастью, постоянно при этом ошибается. Там узнал я истинные причины многих великих событий, поразивших мир; увидел, как непотребная женщина может управлять задней лестницей, задняя лестница советом министров, а совет министров сенатом. Один генерал сознался в моем присутствии, что он одержал победу единственно благодаря своей трусости и дурному командованию, а один адмирал открыл, что он победил неприятеля вследствие плохой осведомленности, тогда как

собирался сдать ему свой флот. Три короля объявили мне, что за все их царствование они ни разу не назначили на государственные должности ни одного достойного человека, разве что по ошибке или вследствие предательства какого-нибудь министра, которому они доверились, но они ручались, что подобная ошибка не повторилась бы, если бы им пришлось царствовать снова; и с большой убедительностью они доказали мне, что без развращенности нравов невозможно удержать королевский трон, потому что положительный, смелый, настойчивый характер, который создается у человека добродетелью, является постоянной помехой в государственной деятельности.

Я любопытствовал получить точные сведения, каким способом масса людей добыла знатные титулы и огромные богатства. Я ограничил свои исследования самой недавней эпохой, не касаясь, впрочем, настоящего времени, из страха причинить обиду хотя бы иноземцам (ибо, я надеюсь, читателю нет надобности говорить, что все сказанное мной по этому поводу не имеет ни малейшего касательства к моей родине). По моей просьбе вызвано было множество интересовавших меня лиц, и после самых поверхностных

расспросов передо мной раскрылась такая картина бесчестья, что я не могу спокойно вспоминать об этом. Вероломство, угнетение, подкуп, обман, сводничество и тому подобные вещи были еще самыми простительными средствами из упомянутых ими, и потому, как требовало того благоразумие, я отнесся к ним весьма снисходительно. Но когда одни из них сознались, что своим величием и богатством они обязаны содомии и кровосмешению, другие — торговле своими женами и дочерьми; третьи — измене своему отечеству или государю, четвертые — отраве, а большая часть — нарушению правосудия с целью погубить невинного, — то эти открытия, — я надеюсь, мне простят это, — побудили меня несколько умерить чувство глубокого почтения, которым я от природы проникнут к высокопоставленным особам, как и подобает маленькому человеку по отношению к лицам, наделенным высокими достоинствами.

Часто мне приходилось читать о великих услугах, оказанных монархам и отечеству, и я исполнился желанием увидеть людей, которыми эти услуги были оказаны. Однако мне ответили, что имена их невозможно найти в архивах, за исключением немногих, которых история

изобразила отъявленнейшими мошенниками и предателями. Об остальных мне никогда не приходилось слышать ни слова. Все они появились передо мной с удрученным видом и в очень худом платье, заявляя в большинстве случаев, что умерли от нищеты и немилости, иногда даже на эшафоте или на виселице;

Среди них находился человек, судьба которого показалась мне исключительной. Подле него стоял восемнадцатилетний юноша. Человек этот сказал мне, что много лет он командовал кораблем, и в морском сражении при Акциуме счастливая судьба помогла ему пробиться сквозь ряды неприятельского флота и потопить три первоклассных неприятельских корабля, а четвертый захватить в плен, что было единственной причиной бегства Антония и последовавшей затем победы; юноша же, стоявший подле него, был его единственный сын, убитый в этом сражении. Он прибавил, что в сознании своих заслуг он явился по окончании войны в Рим ко двору Августа с просьбой назначить его командиром большого корабля, капитан которого был убит; но ходатайство его было оставлено без внимания, и командование кораблем было поручено юноше, никогда не видевшему моря, сыну либертины,

служанки одной из любовниц императора. По возвращении на свой корабль достойный человек был обвинен в нерадивом исполнении служебных обязанностей, и его судно передано одному пажу, фавориту вице-адмирала Публиколы; после этого он удалился на бедную ферму, вдали от Рима, где и окончил свою жизнь. Мне так хотелось узнать, насколько справедлива эта история, что я попросил вызвать Агриппу, который командовал римским флотом в сражении при Акциуме. Явившийся Агриппа подтвердил справедливость рассказа и добавил к нему много подробностей в пользу капитана, из скромности преуменьшившего или утаившего большую часть своих заслуг в этом деле.

Я был поражен глубиной и быстротой роста развращенности этой империи, обусловленными поздно проникшей в нее роскошью. Вследствие этого на меня не произвели уже такого впечатления подобные явления в других странах, где всевозможные пороки царили гораздо дольше и где вся слава и вся добыча издавна присвоены главнокомандующими, которые, быть может, меньше всего имеют право и на то и на другое.

Так как все вызываемые с того света люди сохранили в мельчайших подробностях внешность,

которую они имели при жизни, то я наполнился мрачными мыслями при виде вырождения человечества за последнее столетие; насколько венерические болезни со всеми их последствиями и наименованиями изменили черты лица англичанина, уменьшили рост, расслабили нервы, размягчили сухожилия и мускулы, прогнали румянец, сделали все тело дряблым и протухшим.

Я опустился до того, что попросил вызвать английских поселян старого закала, некогда столь славных простотою нравов, пищи и одежды, справедливостью своих поступков, подлинным свободолюбием, храбростью и любовью к отечеству. Сравнив живых с покойниками, я не мог остаться равнодушным при виде того, как все эти чистые отечественные добродетели опозорены из-за мелких денежных подачек их внуками, которые, продавая свои голоса и орудуя на выборах в парламент, приобрели все пороки и развращенность, каким только можно научиться при дворе.

Глава IX

Автор возвращается в Мальдонаду и отплывает в королевство Лаггнегг.

Его арестовывают и отправляют во дворец.

Прием, оказанный ему во дворце.

Милостливое отношение короля к своим подданным

Когда наступил день нашего отъезда, я простился с его высочеством правителем Глаббдобдриба и возвратился с двумя моими спутниками в Мальдонаду, где после двухнедельного ожидания один корабль приготовился к отплытию в Лаггнегг. Два моих друга и еще несколько лиц были настолько любезны, что снабдили меня провизией и проводили на корабль. Я провел в дороге месяц. Мы перенесли сильную бурю и вынуждены были взять курс на запад, чтобы достигнуть области пассатных ветров, дующих здесь на пространстве около шестидесяти лиг. 21 апреля 1708 года мы вошли в реку Клюмегниг, устье которой служит

морским портом, расположенным на юго-восточной оконечности Лаггнегга. Мы бросили якорь на расстоянии одной лиги от города и потребовали сигналом лоцмана. Менее чем через полчаса к нам на борт взошли два лоцмана и провели нас между рифами и скалами по очень опасному проходу в большую бухту, где корабли могли стоять в совершенной безопасности на расстоянии одного кабельтова от городской стены.

Некоторые из наших матросов, со злым ли умыслом или по оплошности, рассказали лоцманам, что у них на корабле есть иностранец, знаменитый путешественник. Последние сообщили об этом таможенному чиновнику, который подверг меня тщательному досмотру, когда я вышел на берег. Он говорил со мной на языке бальнибарби, который благодаря оживленной торговле хорошо известен в этом городе, особенно между моряками и служащими в таможне. Я вкратце рассказал ему некоторые из моих приключений, стараясь придать рассказу возможно больше правдоподобия и связности. Однако я счел необходимым скрыть мою национальность и назвался голландцем, так как у меня было намерение отправиться в Японию, куда, как известно, из всех европейцев открыт доступ только

голландцам. Поэтому я сказал таможенному чиновнику, что, потерпев кораблекрушение у берегов Бальнибарби и будучи выброшен на скалу, я был поднят на Лапуту, или Летучий Остров (о котором таможеннику часто приходилось слышать), а теперь пытаюсь добраться до Японии, откуда мне может представиться случай возвратиться на родину. Чиновник ответил мне, что он должен меня арестовать до получения распоряжений от двора, куда он напишет немедленно, и надеется получить ответ в течение двух недель. Мне отвели удобное помещение, у входа в которое был поставлен часовой. Однако я мог свободно гулять по большому саду; обращались со мною довольно хорошо, и содержался я все время на счет короля. Множество людей посещали меня, главным образом из любопытства, ибо разнесся слух, что я прибыл из весьма отдаленных стран, о существовании которых здесь никто не слышал.

Я пригласил переводчиком одного молодого человека, прибывшего вместе со мною на корабле; он был уроженец Лаггнегга, но несколько лет прожил в Мальдонаде и в совершенстве владел обоими языками. При его помощи я мог разговаривать с посетителями, но разговор этот состоял лишь из их вопросов и моих ответов.

Письмо из дворца было получено к ожидаемому сроку. В нем содержался приказ привезти меня со свитой, под конвоем десяти человек, в Тральдрегдаб, или Трильдрогдриб (насколько я помню, это слово произносится двояко). Вся моя свита состояла из упомянутого бедного юноши-переводчика, которого я уговорил поступить ко мне на службу; по моей почтительной просьбе каждому из нас дали по мулу. За полдня до нашего отъезда был послан гонец с донесением королю о моем скором прибытии и просьбой, чтобы его величество назначил день и час, когда он милостиво соизволит удостоить меня чести лизать пыль у подножия его трона. Таков стиль здешнего двора, и я убедился на опыте, что это не иносказание. В самом деле, когда через два дня по моем прибытии я получил аудиенцию, то мне приказали ползти на брюхе и лизать пол по дороге к трону; впрочем, из уважения ко мне, как иностранцу, пол был так чисто выметен, что пыли на нем осталось немного. Это была исключительная милость, оказываемая лишь самым высоким сановникам, когда они испрашивают аудиенцию. Больше того: пол иногда нарочно посыпают пылью, если лицо, удостоившееся высочайшей аудиенции, имеет много могущественных врагов при дворе. Мне

самому случилось раз видеть одного важного сановника, у которого рот до такой степени был набит пылью, что, подползя к трону на надлежащее расстояние, он неспособен был вымолвить ни слова. И ничем от этого не избавиться, так как плевать и вытирать рот во время аудиенции в присутствии его величества считается тяжким преступлением. При этом дворе существует еще один обычай, к которому я отношусь с крайним неодобрением. Когда король желает мягким и милостивым образом казнить кого-нибудь из сановников, он повелевает посыпать пол особым ядовитым коричневым порошком, полизав который приговоренный умирает в течение двадцати четырех часов. Впрочем, следует отдать должное великому милосердию этого монарха и его попечению о жизни подданных (в этом отношении европейским монархам не мешало бы подражать ему) и к чести его сказать, что после каждой такой казни отдается строгий приказ начисто вымыть пол в аудиенц-зале, и в случае небрежного исполнения этого приказа слугам угрожает опасность навлечь на себя немилость монарха. Я сам слышал, как его величество давал распоряжение отстегать плетьми одного пажа за то, что тот, несмотря на свою очередь, злонамеренно

пренебрег своей обязанностью и не позаботился об очистке пола после казни; благодаря этой небрежности был отравлен явившийся на аудиенцию молодой, подававший большие надежды вельможа, хотя король в то время вовсе не имел намерения лишить его жизни. Однако добрый монарх был настолько милостив, что освободил пажа от порки, после того как тот пообещал, что больше не будет так поступать без специального распоряжения короля.

Возвратимся, однако, к нашему повествованию: когда я дополз ярда на четыре до трона, я осторожно стал на колени и, стукнув семь раз лбом о пол, произнес следующие слова, заученные мною накануне: *Икплинг глоффзсроб сквутсеромм блиоп мляшналып звин тнодбокеф слиофед гардлеб ашт*! Это приветствие установлено законами страны для всех лиц, допущенных к королевской аудиенции. Перевести его можно так: *Да переживет ваше небесное величество солнце на одиннадцать с половиною лун*! Выслушав приветствие, король задал мне вопрос, которого я хотя и не понял, но ответил ему, как меня научили: *Флофт дрин клерик дуолъдам прастред мирпуш*, что означает: *Язык мой во рту моего друга*. Этими словами я давал понять, что прошу обратиться

к услугам моего переводчика. Тогда был введен уже упомянутый мной молодой человек, и с его помощью я отвечал на все вопросы, которые его величеству было угодно задавать мне в течение более часа. Я говорил на бальнибарбийском языке, а переводчик передавал все сказанное мною по-лаггнежски.

Я очень понравился королю, и он приказал своему *блиффмарклубу*, то есть обер-гофмейстеру, отвести во дворце помещение для меня и моего переводчика, назначив мне довольствие и предоставив кошелек с золотом на прочие расходы.

Я прожил в этой стране три месяца, повинуясь желанию его величества, который изволил осыпать меня высокими милостями и делал мне очень лестные предложения. Но я счел более благоразумным и справедливым провести остаток дней моих с женою и детьми.

Глава X

Похвальное слово лаггнежцам.

Подробное описание струльдбругов со включением многочисленных бесед автора по этому поводу с некоторыми выдающимися людьми

Лаггнежцы обходительный и великодушный народ. Хотя они не лишены некоторой гордости, свойственной всем восточным народам, тем не менее они очень любезны с иностранцами, особенно с теми, кто пользуется расположением двора. Я сделал много знакомств среди людей самого высшего общества и при посредстве переводчика вел с ними не лишенные приятности беседы.

Однажды, когда я находился в избранном обществе, мне был задан вопрос: видел ли я кого-нибудь из струльдбругов; или бессмертных? Я отвечал отрицательно и попросил объяснить мне, что может означать это слово в приложении к смертным существам. Мой собеседник сказал мне, что время от времени, впрочем, очень редко, у кого-нибудь из лаггнежцев рождается ребенок с

круглым красным пятнышком на лбу, как раз над левой бровью; это служит верным признаком, что такой ребенок никогда не умрет. Пятнышко, как он описал его, имеет сначала величину серебряной монеты в три пенса, но с течением времени разрастается и меняет свой цвет; в двадцать лет оно делается зеленым и остается таким до двадцати пяти, затем цвет его переходит в темно-синий; в сорок пять лет пятно становится черным, как уголь, и увеличивается до размеров английского шиллинга, после чего не подвергается дальнейшим изменениям. Дети с пятнышком рождаются, впрочем, так редко, что, по мнению моего собеседника, во всем королевстве не наберется больше тысячи ста *струльдбругов* обоего пола; до пятидесяти человек живет в столице, и среди них есть девочка, родившаяся около трех лет тому назад. Рождение таких детей не составляет принадлежности определенных семей, но является чистой случайностью, так что даже дети *струльдбругов* смертны, как и все люди.

Признаюсь откровенно, этот рассказ привел меня в неописуемый восторг; и так как мой собеседник понимал язык бальнибарби, на котором я очень хорошо говорил, то я не мог сдержать свои чувства, выразив их, быть может, чересчур

пылко. В восхищении я воскликнул: Счастливая нация, где каждый рождающийся ребенок имеет шанс стать бессмертным! Счастливый народ, имеющий столько живых примеров добродетелей предков и стольких наставников, способных научить мудрости, добытой опытом всех прежних поколений! Но стократ счастливы несравненные *струльдбруги*, самой природой изъятые от подчинения общему бедствию человеческого рода, а потому обладающие умами, независимыми и свободными от подавленности и угнетенности, причиняемыми постоянным страхом смерти! Я выразил удивление, что не встретил при дворе ни одного из этих славных бессмертных; черное пятно на лбу — настолько бросающаяся в глаза примета, что я не мог бы не обратить на нее внимания; между тем невозможно допустить, чтобы его величество, рассудительнейший монарх, не окружил себя столь мудрыми и опытными советниками. Разве что добродетель этих почтенных мудрецов слишком сурова для испорченных и распущенных придворных нравов; ведь мы часто познаем на опыте, с каким упрямством и легкомыслием молодежь не хочет слушаться трезвых советов старших. Как бы то ни было, если его величество соизволило предоставить

мне свободный доступ к его особе, я воспользуюсь первым удобным случаем и при помощи переводчика подробно и свободно выскажу ему мое мнение по этому поводу. Однако, угодно ли ему будет последовать моему совету или нет, сам я, во всяком случае, с глубочайшей благодарностью приму неоднократно высказанное его величеством милостивое предложение поселиться в его государстве и проведу всю свою жизнь в беседах со *струльдбругами*, этими высшими существами, если только им угодно будет допустить меня в свое общество.

Человек, к которому я обратился с этой речью, потому что (как я уже заметил) он говорил на бальнибарбийском языке, взглянув на меня с той улыбкой, какая обычно вызывается жалостью к простаку, сказал, что он рад всякому предлогу удержать меня в стране и просит моего позволения перевести всем присутствующим то, что мной было только что сказано. Закончив свой перевод, он в течение некоторого времени разговаривал с ними на местном языке, которого я совершенно не понимал; точно так же я не мог догадаться по выражению их лиц, какое впечатление произвела на них моя речь. После непродолжительного молчания мой собеседник

сказал мне, что его и мои друзья (так он счел удобным выразиться) восхищены моими тонкими замечаниями по поводу великого счастья и преимуществ бессмертной жизни и что они очень желали бы знать, какой образ жизни я избрал бы себе, если бы волей судьбы я родился *струльдбругом*.

Я отвечал, что нетрудно быть красноречивым на столь богатую и увлекательную тему, особенно мне, так часто тешившему себя мечтами о том, как бы я устроил свою жизнь, если бы был королем, генералом или видным сановником; что же касается бессмертия, то я нередко до мелочей обдумывал, как бы я распорядился собой и проводил время, если бы обладал уверенностью, что буду жить вечно.

Итак, если бы мне суждено было родиться на свет *струльдбругом*, то, едва только научившись различать между жизнью и смертью и познав, таким образом, мое счастье, я бы прежде всего решил всеми способами и средствами добыть себе богатство. Преследуя эту цель при помощи бережливости и умеренности, я с полным основанием мог бы рассчитывать лет через двести стать первым богачом в королевстве. Далее, с самой ранней юности я предался бы изучению наук и

искусств и таким образом со временем затмил бы всех своей ученостью. Наконец, я вел бы тщательную летопись всех выдающихся общественных событий и беспристрастно зарисовывал бы характеры сменяющих друг друга монархов и выдающихся государственных деятелей, сопровождая эти записи своими размышлениями и наблюдениями. Я бы аккуратно заносил в эту летопись все изменения в обычаях, в языке, в покрое одежды, в пище и в развлечениях. Благодаря своим знаниям и наблюдениям я стал бы живым кладезем премудрости и настоящим оракулом своего народа.

После шестидесяти лет я перестал бы мечтать о женитьбе, но был бы гостеприимен, оставаясь по-прежнему бережливым. Я занялся бы формированием умов подающих надежды юношей, убеждая их на основании моих воспоминаний, опыта и наблюдений, подкрепленных бесчисленными примерами, сколь полезна добродетель в общественной и личной жизни. Но самыми лучшими и постоянными моими друзьями и собеседниками были бы мои собратья по бессмертию, между которыми я бы избрал человек двенадцать, начиная от самых глубоких стариков и кончая своими сверстниками. Если бы между

ними оказались нуждающиеся, я отвел бы им удобные жилища вокруг моего поместья и всегда приглашал бы некоторых из них к своему столу, присоединяя к ним небольшое число наиболее выдающихся смертных; с течением времени я привык бы относиться равнодушно к смерти друзей и не без удовольствия смотрел бы на их потомков, вроде того как мы любуемся ежегодной сменой гвоздик и тюльпанов в нашем саду, нисколько не сокрушаясь о тех, что увяли в прошлое лето.

Мы, *струльдбруги*, будем обмениваться друг с другом собранными нами в течение веков наблюдениями и воспоминаниями, отмечать все степени проникновения в мир разврата и бороться с ним на каждом шагу нашими предостережениями и наставлениями, каковые, в соединении с могущественным влиянием нашего личного примера, может быть, предотвратят непрестанное вырождение человечества, вызывавшее испокон веков столь справедливые сокрушения.

Ко всему этому прибавьте удовольствие быть свидетелем различных переворотов в державах и империях, удовольствие видеть перемены во всех слоях общества от высших до низших; древ-

ние города в развалинах; безвестные деревушки, ставшие резиденцией королей; знаменитые реки, высохшие в ручейки; океан, обнажающий один берег и наводняющий другой; открытие многих неизвестных еще стран; погружение в варварство культурнейших народов и приобщение к культуре народов самых варварских. Я был бы, вероятно, свидетелем многих великих открытий, например, непрерывного движения, универсального лекарства и определения долготы.

Каких только чудесных открытий мы не сделали бы тогда в астрономии, обладая возможностью самолично проверять правильность наших собственных предсказаний, наблюдать появление и возвращение комет и все перемены в движениях солнца, луны и звезд!

Я распространился также на множество других тем, которые в изобилии были доставлены мне естественным желанием бесконечной жизни и подлунного счастия. Когда я кончил и содержание моей речи было переведено тем из присутствующих, которые не понимали ее, лагнежцы начали оживленно разговаривать между собой на местном языке, по временам с насмешкой поглядывая на меня. Наконец господин, служивший мне переводчиком, сказал,

что все просят его вывести меня из заблуждений, в которые я впал вследствие слабоумия, свойственного человеческой природе вообще, что до некоторой степени извиняет меня; тем более что порода *струльдбругов* составляет исключительную особенность их страны, ибо подобных людей нельзя встретить ни в Бальнибарби, ни в Японии, где он имел честь быть посланником его величества и где к его рассказу о существовании этого замечательного явления отнеслись с большим недоверием; да и мое удивление, когда он в первый раз упомянул мне о бессмертных, ясно свидетельствует, насколько новым был для меня этот факт и с каким трудом я верил своим ушам. Во время своего пребывания в обоих названных королевствах он вел долгие беседы с местными жителями и сделал наблюдение, что долголетие является общим желанием, заветнейшей мечтой всех людей, и что всякий стоящий одной ногой в могиле старается как можно прочнее утвердить свою другую ногу на земле. Самые дряхлые старики дорожат каждым лишним днем жизни и смотрят на смерть как на величайшее зло, от которого природа всегда побуждает бежать подальше; только здесь, на острове Лаггнегге, нет этой бешеной жажды жизни, ибо у всех перед

глазами пример долголетия — *струльдбруги*.

Придуманный мной образ жизни безрассуден и нелеп, потому что предполагает вечную молодость, здоровье и силу, на что не вправе надеяться ни один человек, как бы ни были необузданны его желания. Вопрос, стало быть, не в том, предпочтет ли человек сохранить навсегда свежесть молодости и ее спутников — силу и здоровье, а в том, как он проведет бесконечную жизнь, подверженную всем невзгодам, которые приносит с собой старость. Ибо, хотя немного людей изъявят желание остаться бессмертными на таких тяжелых условиях, все же собеседник мой заметил, что в обоих упомянутых королевствах, то есть в Бальнибарби и в Японии, каждый старается по возможности отдалить от себя смерть, в каком бы преклонном возрасте она ни приходила; и ему редко приходилось слышать о людях, добровольно лишавших себя жизни, разве что их побуждали к этому нестерпимые физические страдания или большое горе. И он спросил меня, не наблюдается ли то же самое явление и в моем отечестве, а также в тех странах, которые привелось посетить мне во время моих путешествий.

После этого предисловия он сделал мне подробное описание живущих среди них *струльдбругов*.

Он сказал, что почти до тридцатилетнего возраста они ничем не отличаются от остальных людей; затем становятся мало-помалу мрачными и угрюмыми, и меланхолия их растет до восьмидесяти лет. Это он узнал из их признаний; так как их рождается не больше двух или трех в столетие, то они слишком малочисленны для того, чтобы можно было прийти к прочному выводу на основании общих наблюдений над ними.

По достижении восьмидесятилетнего возраста, который здесь считается пределом человеческой жизни, они не только подвергаются всем недугам и слабостям, свойственным прочим старикам, но бывают еще подавлены страшной перспективой влачить такое существование вечно. *Струльдбруги* не только упрямы, сварливы, жадны, угрюмы, тщеславны и болтливы, но они не способны также к дружбе и лишены естественных добрых чувств, которые у них не простираются дальше чем на внуков. Зависть и немощные желания непрестанно снедают их, причем главными предметами зависти являются у них, по-видимому, пороки молодости и смерть стариков. Размышляя над первыми, они с горечью сознают, что для них совершенно отрезана всякая возможность наслаждения; а при виде похорон ропщут

и жалуются, что для них нет надежды достигнуть тихой пристани, в которой находят покой другие. В их памяти хранится лишь усвоенное и воспринятое в юности или в зрелом возрасте, да и то в очень несовершенном виде, так что при проверке подлинности какого-нибудь события или осведомлении о его подробностях надежнее полагаться на устные предания, чем на самые ясные их воспоминания. Наименее несчастными среди них являются впавшие в детство и совершенно потерявшие память; они внушают к себе больше жалости и участия, потому что лишены множества дурных качеств, которые изобилуют у остальных бессмертных.

Если случится, что *струльдбруг* женится на женщине, подобно ему обреченной на бессмертие, то этот брак, благодаря снисходительности законов королевства, расторгается, лишь только младший из супругов достигает восьмидесятилетнего возраста. Ибо закон считает неразумной жестокостью отягчать бедственную участь безвинно осужденных на вечную жизнь бременем вечной жены.

Как только *струльдбругам* исполняется восемьдесят лет, для них наступает гражданская смерть; наследники немедленно получают их

имущество; лишь небольшой паек оставляется для их пропитания, бедные же содержатся на общественный счет. По достижении этого возраста они считаются неспособными к занятию должностей, соединенных с доверием или доходами; они не могут ни покупать, ни брать в аренду землю, им не разрешается выступать свидетелями ни по уголовным, ни по гражданским делам, ни даже по тяжбам из-за границ земельных владений.

В девяносто лет у *струльдбругов* выпадают зубы и волосы; в этом возрасте они перестают различать вкус пищи, но едят и пьют все, что попадается под руку, без всякого удовольствия и аппетита. Болезни, которым они подвержены, продолжаются без усиления и ослабления. В разговоре они забывают названия самых обыденных вещей и имена лиц, даже своих ближайших друзей и родственников. Вследствие этого они не способны развлекаться чтением, так как их память не удерживает начала фразы, когда они доходят до ее конца; таким образом, они лишены единственного доступного им развлечения.

Так как язык этой страны постоянно изменяется, то *струльдбруги*, родившиеся в одном столетии, с трудом понимают язык людей, родившихся в другом, а после двухсот лет вообще

не способны вести разговор (кроме небольшого количества фраз, состоящих из общих слов) с окружающими их смертными, и, таким образом, они подвержены печальной участи чувствовать себя иностранцами в своем отечестве.

Вот какое описание *струльдбругов* было сделано мне, и я думаю, что передаю его совершенно точно. Позднее я собственными глазами увидел пять или шесть *струльдбругов* различного возраста, и самым молодым из них было не больше двухсот лет; мои друзья, приводившие их ко мне несколько раз, хотя и говорили им, что я великий путешественник и видел весь свет, однако *струльдбруги* не полюбопытствовали задать мне ни одного вопроса: они просили меня только дать им *сломскудаск*, то есть подарок на память. Это благовидный способ выпрашивания милостыни в обход закона, строго запрещающего *струльдбругам* нищенство, так как они содержатся на общественный счет, хотя, надо сказать правду, очень скудно.

Струльдбругов все ненавидят и презирают. Рождение каждого из них служит дурным предзнаменованием и записывается с большой аккуратностью; так что возраст каждого можно узнать, справившись в государственных архивах,

которые, впрочем, не восходят дальше тысячи лет или, во всяком случае, были уничтожены временем или общественными волнениями. Но обыкновенный способ узнать лета *струльдбруга* — это спросить его, каких королей и каких знаменитостей он может припомнить, и затем справиться с историей, ибо последний монарх, удержавшийся в его памяти, мог начать свое царствование только в то время, когда этому *струльдбругу* еще не исполнилось восьмидесяти лет.

Мне никогда не приходилось видеть такого омерзительного зрелища, какое представляли эти люди, причем женщины были еще противнее мужчин. Помимо обыкновенной уродливости, свойственной глубокой дряхлости, они с годами все явственней становятся похожими на привидения, ужасный вид которых не поддается никакому описанию. Среди пяти или шести женщин я скоро различил тех, что были старше, хотя различие в годах между ними измерялось всего какой-нибудь сотней или двумя годов.

Читатель легко поверит, что после всего мной услышанного и увиденного мое горячее желание быть бессмертным значительно поостыло. Я искренне устыдился заманчивых картин, которые

рисовало мое воображение, и подумал, что ни один тиран не мог бы изобрести казни, которую я с радостью не принял бы, лишь бы только избавиться от такой жизни.

Король весело посмеялся, узнав о разговоре, который я вел с друзьями, и предложил мне взять с собой на родину парочку *струльдбругов*, чтобы излечить моих соотечественников от страха смерти. Я бы охотно принял на себя заботу и расходы по их перевозке, если бы основные законы королевства не запрещали *струльдбругам* оставлять свое отечество.

Нельзя не согласиться, что здешние законы относительно *струльдбругов* отличаются большой разумностью и что всякая другая страна должна была бы в подобных обстоятельствах ввести такие же законы. Иначе благодаря алчности, являющейся необходимым следствием старости, эти бессмертные со временем захватили бы в собственность всю страну и присвоили бы себе всю гражданскую власть, что, вследствие их полной неспособности к управлению, привело бы к гибели государства.

Глава XI

Автор оставляет Лаггнег и отплывает в Японию.

Отсюда он возвращается на голландском корабле в Амстердам, а из Амстердама в Англию

Я полагаю, что рассказ о струльдбругах доставил некоторое развлечение читателю, так как он отличается некоторой необычностью; по крайней мере, а не помню, чтобы встречал что-нибудь подобное в других книгах путешествий, попадавших мне в руки. Если же я ошибаюсь, пусть извинением моим послужит то, что путешественники, описывая одну и ту же страну, часто невольно останавливаются на одних и тех же подробностях, не заслуживая вследствие этого упрека в заимствовании или списывании у тех, кто раньше их побывал в посещенных ими местах.

Между королевством Лаггнегг и великой Японской империей существуют постоянные торговые сношения, и весьма вероятно, что японские писатели упоминают о *струльдбругах*, но мое пребы-

вание в Японии было настолько кратковременно и мне настолько непонятен японский язык, что я не имел возможности узнать что-нибудь по этому поводу. Но я надеюсь, что голландцы, на основании моего рассказа, заинтересуются бессмертными и исправят мои неточности.

Его величество очень уговаривал меня занять при его дворе какую-нибудь должность, но, видя мое непреклонное решение возвратиться на родину, согласился отпустить меня и соизволил даже собственноручно написать рекомендательное письмо к японскому императору. Он подарил мне также четыреста сорок четыре крупных золотых монеты (здесь любят четные числа) вместе с красным алмазом, который я продал в Англии за тысячу сто фунтов.

Шестого мая 1709 года я торжественно расстался с его величеством и со всеми моими друзьями. Король был настолько любезен, что повелел отряду своей гвардии сопровождать меня до Глянгвенстальда, королевского порта, лежащего на юго-западной стороне острова. Через шесть дней я нашел корабль, готовый к отплытию в Японию, и провел в пути пятнадцать дней. Мы бросили якорь в небольшом порту Ксамоши, расположенном в юго-восточной части Японии.

Город построен на длинной косе, от которой узкий пролив ведет к северу в длинный морской рукав, на северо-западной стороне которого находится Иедо, столица империи. Высадившись на берег, я показал таможенным чиновникам письмо его императорскому величеству от короля Лаггнегга. В таможне прекрасно знали королевскую печать величиной с мою ладонь. На ней изображен был король, помогающий хромому нищему подняться с земли. Городской магистрат, услыхав об этом письме, принял меня как посла дружественной державы. Он снабдил меня экипажами и слугами и взял на себя расходы по моей поездке в Иедо. По прибытии туда я получил аудиенцию и вручил письмо. Оно было вскрыто с большими церемониями и прочитано императору через переводчика, который, по приказанию его величества, предложил мне выразить какую-нибудь просьбу, и она немедленно будет исполнена императором в уважение к его царственному брату, королю Лаггнегга. На обязанности этого переводчика лежало ведение дел с голландцами; поэтому он скоро догадался по моей внешности, что я европеец, и повторил слова его величества на нижнеголландском языке, которым он владел в совершенстве. Согласно ранее принятому

решению я отвечал, что я голландский купец, потерпевший кораблекрушение в одной далекой стране, откуда морем и сушей добрался в Лаггнегг, а из Лаггнегга прибыл на корабле в Японию, с которой, как мне было известно, мои соотечественники ведут торговлю; я надеюсь, что мне представится случай вернуться с кем-нибудь из них на родину, и в ожидании такого случая я почтительно прошу его величество разрешить мне под охраной отправиться в Нагасаки. Я попросил также, чтобы его величество, из уважения к моему покровителю, королю Лаггнегга, милостиво освободил меня от совершения возлагаемого на моих соотечественников обряда попрания ногами распятия, ибо заброшен в его страну несчастиями и не имею намерения вести торговлю. Когда переводчик передал императору эту просьбу, его величество был несколько удивлен и сказал, что я первый из моих соотечественников обнаруживаю щепетильность в этом вопросе, так что у него закрадывается сомнение, действительно ли я голландец; из моих слов видно только, что я настоящий христианин. Тем не менее во внимание к моим доводам и главным образом из желания оказать любезность королю Лаггнегга необычным знаком своего благоволе-

ния, он соглашается на мою странную прихоть, но предупреждает, что придется действовать осторожно, и он отдаст своим чиновникам приказание пропустить меня как бы по забывчивости; ибо если узнают об этом мои соотечественники — голландцы, то они, по уверению императора, перережут мне по дороге горло. Я выразил при помощи переводчика благодарность за столь исключительную милость. Так как в это время в Нагасаки собирался выступить отряд солдат, то офицер, начальствовавший над этим отрядом, получил приказ охранять меня по пути и специальные инструкции насчет распятия.

После весьма долгого и утомительного путешествия я прибыл в Нагасаки 9 июня 1709 года. Здесь скоро я познакомился с компанией голландских моряков, служивших на амстердамском корабле Амбоина, вместимостью в 450 тонн. Я долго жил в Голландии, учился в Лейдене и хорошо говорил по-голландски. Матросы скоро узнали, откуда я прибыл, и стали с любопытством расспрашивать о моих путешествиях и о моей жизни. Я сочинил коротенькую, но правдоподобную историю, утаив большую часть событий. У меня было много знакомых в Голландии, и потому я без труда придумал фамилию моих родителей,

которые, по моим словам, были скромные поселяне из провинции Гельдерланд. Я предложил капитану корабля (некоему Теодору Вангрульту) взять с меня сколько ему будет угодно за доставку в Голландию; но, узнав, что я хирург, он удовольствовался половиной обычной платы с условием, чтобы я исполнял у него на корабле обязанности врача. Перед тем как отправиться в путь, матросы не раз спрашивали меня, исполнил ли я упомянутую выше церемонию, но я отделывался неопределенным ответом, что мной были исполнены все требования императора и двора. Однако шкипер, злобный парень, указал на меня японскому офицеру, говоря, что я еще не топтал распятие. Но офицер, получивший секретный приказ не требовать от меня исполнения формальностей, дал негодяю в ответ двадцать ударов бамбуковой палкой по плечам, после чего ко мне никто больше не приставал с подобными вопросами.

Во время этого путешествия не произошло ничего заслуживающего упоминания. До мыса Доброй Надежды у нас был попутный ветер. Мы сделали там небольшую остановку, чтобы взять пресной воды. 10 апреля 1710 года мы благополучно прибыли в Амстердам, потеряв в дороге только

четырех человек: трое умерли от болезней, а четвертый упал с бизань-мачты в море у берегов Гвинеи. Из Амстердама я скоро отправился в Англию на небольшом судне, принадлежащем этому городу.

Шестнадцатого апреля мы бросили якорь в Даунсе. Я высадился на другой день утром и снова увидел свою родину после пяти с половиной лет отсутствия. Я отправился прямо в Редриф, куда прибыл в два часа пополудни того же дня, и застал жену и детей в добром здоровье.

Часть четвертая. Путешествие в страну Гуигнгнмов

Глава I

Автор отправляется в путешествие капитаном корабля.

Его экипаж составляет против него заговор, держит долгое время под стражей в каюте и высаживает на берег в неизвестной стране.

Он направляется внутрь этой страны.

Описание особенной породы животных еху.

Автор встречает двух гуигнгнмов

Я провел дома с женой и детьми около пяти месяцев и мог бы назвать себя очень счастливым, если бы научился наконец познавать, что такое счастье. Я оставил мою бедную жену беременной и принял выгодное предложение занять должность капитана на корабле Адвенчюрер, хорошем купеческом судне вместимостью в 350 тонн. Я хорошо изучил мореходное искусство, в обязанности хирурга мне порядочно надоели; вот почему, не отказываясь при случае заняться и этим делом, я пригласил в качестве корабельного

врача Роберта Пьюрефой, человека молодого, но искусного. Мы отплыли из Портсмута 7 сентября 1710 года; 14-го мы встретили у Тенерифа капитана Пококка, из Бристоля, который направлялся в Кампеши за сандаловым деревом. Но поднявшаяся 16-го числа буря разъединила нас; по возвращении в Англию я узнал, что корабль его потонул и из всего экипажа спасся один только юнга. Этот капитан был славный парень и хороший моряк, но отличался некоторым упрямством в своих мнениях, и этот недостаток погубил его, как он погубил уже многих других. Ибо если бы он последовал моему совету, то теперь, подобно мне, преспокойно находился бы дома в своей семье.

На моем корабле несколько матросов умерло от тропической лихорадки, так что я принужден был пополнить экипаж людьми с Барбадоса и других Антильских островов, у которых я останавливался согласно данным мне хозяевами корабля инструкциям. Но скоро мне пришлось горько раскаяться в этом: оказалось, что большая часть набранных мною матросов были морские разбойники. Я имел пятьдесят человек на борту, и мне было поручено вступить в торговые сношения с индейцами Южного океана и произвести исследование этих широт. Негодяи, которых я взял

на корабль, подговорили остальных матросов, и все они составили заговор с целью завладеть кораблем и арестовать меня. Однажды утром они привели свой замысел в исполнение: ворвались ко мне в каюту, связали мне руки и ноги и угрожали выбросить за борт, если я вздумаю сопротивляться. Мне оставалось только сказать им, что я их пленник и покоряюсь своей участи. Они заставили меня поклясться в этом и, когда я исполнил их требование, развязали меня, приковав лишь за ногу цепью к кровати и поставив возле моей двери часового с заряженным ружьем, которому приказали стрелять при малейшей моей попытке к освобождению. Они присылали мне пищу и питье, а управление кораблем захватили в свои руки. Целью их было сделаться пиратами и грабить испанцев; однако вследствие своей малочисленности они не могли заняться этим немедленно. Поэтому они решили распродать товары, находившиеся на корабле, и направиться к острову Мадагаскар для пополнения экипажа, так как некоторые из них умерли во время моего заключения. В течение немногих недель разбойники плавали по океану, занимаясь торговлей с индейцами. Но я не знал взятого ими курса, так как все это время находился под строжайшим

арестом в каюте, ежеминутно ожидая жестокой казни, которой они часто угрожали мне.

Девятого мая 1711 года ко мне в каюту спустился некий Джемс Уэлч и объявил, что по приказанию капитана он высадит меня на берег. Я пытался было усовестить его, но напрасно; он отказался даже сказать мне, кто был их новым капитаном. Разбойники посадили меня в баркас, позволив надеть мое лучшее, почти новое платье и взять небольшой узел белья, а из оружия оставили мне только тесак; и они были настолько любезны, что не обыскали моих карманов, в которых находились деньги и кое-какие мелочи. Отплыв от корабля на расстояние лиги, разбойники высадили меня на берег. Я просил сказать мне, что это за страна. Мои люди побожились, что знают об этом не больше меня; они сказали только, что капитан (как они называли его), распродав весь корабельный груз, решил отделаться от меня, лишь только они увидят где-нибудь землю. Затем они немедленно отчалили и, посоветовав мне торопиться, чтобы не быть захваченным приливом, пожелали мне счастливого пути.

В этом горестном положении я направился вперед наудачу и скоро выбрался с песчаного берега и присел за холмик отдохнуть и поразмыслить,

что делать дальше. Отдых немного подкрепил мои силы, и я продолжал путь, решив отдаться в руки первым дикарям, которых встречу по дороге, и купить у них жизнь за несколько браслетов, стекляшек и других безделушек, какими обыкновенно запасаются моряки, отправляясь в дикие страны; несколько таких безделушек находилось и у меня. Местность была пересечена длинными рядами деревьев, которые, по-видимому, были посажены здесь не рукою человека, а природой; между деревьями расстилались большие луга и поля, засеянные овсом. Я осторожно подвигался вперед, оглядываясь по сторонам из боязни, как бы кто-нибудь не напал на меня врасплох или не подстрелил сзади или сбоку из лука. Через несколько времени я вышел на проезжую дорогу, на которой заметил много следов человеческих ног, несколько коровьих, но больше всего лошадиных. Наконец я увидел в поле каких-то животных; два или три таких же животных сидели на деревьях. Их крайне странная и безобразная внешность несколько смутила меня, и я прилег за кустом, чтобы лучше их разглядеть. Некоторые подошли близко к тому месту, где я лежал, так что я мог видеть их очень отчетливо. Голова и грудь у них были покрыты густыми волосами — у

одних вьющимися, у других гладкими; бороды их напоминали козлиные; вдоль спины и передней части лап тянулись узкие полоски шерсти; но остальные части их тела были голые, так что я мог видеть кожу темно-коричневого цвета. Хвоста у них не было, и ягодицы были голые, исключая места вокруг заднего прохода; я полагаю, что природа покрыла эти места волосами, чтобы предохранить их во время сидения на земле; ибо эти существа сидели, лежали и часто становились на задние лапы. Вооруженные сильно развитыми крючковатыми и заостренными когтями на передних и задних лапах, они с ловкостью белки карабкались на самые высокие деревья. Они часто прыгали, скакали и бегали с удивительным проворством. Самки были несколько меньше самцов; на голове у них росли длинные гладкие волосы, но лица были чистые, а другие части тела были покрыты только легким пушком, кроме заднепроходного отверстия и срамных частей; вымя их висело между передними лапами и часто, когда они ползли на четвереньках, почти касалось земли. Волосы как у самцов, так и у самок были различных цветов: коричневые, черные, красные и желтые. В общем, я никогда еще во все мои путешествия не встречал более безобразного

животного, которое с первого же взгляда вызывало бы к себе такое отвращение. Полагая, что я достаточно насмотрелся на них, я встал с чувством омерзения и гадливости и продолжал свой путь по дороге в надежде, что она приведет меня к хижине какого-нибудь индейца. Но не успел я сделать нескольких шагов, как встретил одно из описанных мною животных, направлявшееся прямо ко мне. Заметив меня, уродина остановилась и с ужасными гримасами вытаращила на меня глаза как на существо, никогда ею не виданное; затем, подойдя ближе, подняла свою переднюю лапу — то ли из любопытства, то ли со злым умыслом, — я не мог определить. Тогда я вынул тесак и плашмя нанес им сильный удар по лапе животного; я не хотел бить его лезвием, ибо боялся, что навлеку на себя недовольство обитателей этой страны, если им станет известно, что я убил или изувечил принадлежащую им скотину. Почувствовав боль, животное пустилось наутек и завизжало так громко, что из соседнего поля прибежало целое стадо, штук около сорока, таких же тварей, которые столпились вокруг меня с воем и ужасными гримасами. Я бросился к дереву и, прислонясь спиной к его стволу, стал размахивать тесаком, не подпуская их к себе. Однако

же несколько представителей этой проклятой породы, ухватившись за ветви сзади меня, взобрались на дерево и начали оттуда испражняться мне на голову. Правда, мне удалось увернуться, прижавшись плотнее к стволу дерева, но я чуть не задохся от падавшего со всех сторон вокруг меня кала.

Вдруг в этом бедственном положении я увидел, что животные бросились убегать со всех ног. Тогда я решился оставить дерево и продолжать путь, недоумевая, что бы могло их так напугать. Но, взглянув налево, я увидел спокойно двигавшегося по полю коня; появление этого коня, которого мои преследователи заметили раньше, и было причиной их поспешного бегства. Приблизившись ко мне, конь слегка вздрогнул, но скоро оправился и стал смотреть мне прямо в лицо с выражением крайнего удивления. Он осмотрел мои руки и ноги и несколько раз обошел кругом меня. Я хотел было идти дальше, но конь загородил дорогу, продолжая кротко смотреть на меня и не выражая ни малейшего намерения причинить мне какое-либо насилие. Так мы и стояли некоторое время, оглядывая друг друга; наконец я набрался смелости протянуть руку к шее коня с намерением его погладить, насвистывая и пустив

в ход приемы, какие обычно применяются жокеями с целью приручить незнакомую лошадь. Но животное отнеслось к моей ласке, по-видимому, с презрением, замотало головой, нахмурилось и, тихонько подняв правую переднюю ногу, отстранило мою руку. Затем конь заржал три или четыре раза, так разнообразно акцентируя это ржание, что я готов был подумать, уж не разговаривает ли он на своем языке.

Когда мы стояли таким образом друг против друга, к нам подошел еще один конь. Он обратился к первому с самым церемонным приветствием: они легонько постукались друг с другом правыми передними копытами и стали поочередно ржать, варьируя звуки на разные лады, так что они казались почти членораздельными. Затем они отошли от меня на несколько шагов, как бы с намерением посовещаться, и начали прогуливаться рядышком взад и вперед подобно людям, решающим важный вопрос, но часто при этом посматривали на меня, словно наблюдая, чтобы я не удрал. Пораженный такими действиями и поведением неразумных животных, я пришел к заключению, что обитатели этой страны должны быть мудрейшим народом на земле, если только они одарены разумом в соответственной степени.

Эта мысль подействовала на меня так успокоительно, что я решил продолжать путь, пока не достигну какого-нибудь жилья или деревни, или не встречу кого-нибудь из туземцев, оставляя лошадей беседовать между собой, сколько им вздумается. Но первый конь, серый в яблоках, заметив, что я ухожу, заржал мне вслед таким выразительным тоном, что мне показалось, будто я понимаю, чего он хочет; я тотчас повернул назад и подошел к нему в ожидании дальнейших приказаний. При этом я всячески старался скрыть свой страх, ибо начал уже немного побаиваться исхода этого приключения; и читатель легко может себе представить, что положение мое было не из приятных.

Обе лошади подошли ко мне вплотную и с большим вниманием начали рассматривать мое лицо и руки. Серый конь потер со всех сторон мою шляпу правым копытом передней ноги, отчего она так помялась, что мне пришлось снять ее и поправить; проделав это, я снова надел ее. Мои движения, по-видимому, сильно поразили серого коня и его товарища (караковой масти): последний прикоснулся к полам моего кафтана, и то обстоятельство, что они болтались свободно, снова привело обоих в большое изумление.

Караковый конь погладил меня по правой руке, по-видимому, удивляясь ее мягкости и цвету, но он так крепко сжал ее между копытом и бабкой, что я не вытерпел и закричал. После этого оба коня стали прикасаться ко мне осторожнее. В большое замешательство повергли их мои башмаки и чулки, которые они многократно ощупывали с ржанием и жестами, очень напоминая философа, пытающегося понять какое-либо новое и трудное явление.

Вообще поведение этих животных отличалось такой последовательностью и целесообразностью, такой обдуманностью и рассудительностью, что в конце концов у меня возникла мысль, уж не волшебники ли это, которые превратились в лошадей с каким-нибудь неведомым для меня умыслом и, повстречав по дороге чужестранца, решили позабавиться над ним, а может быть, были действительно поражены видом человека, по своей одежде, чертам лица и телосложению очень непохожего на людей, живущих в этой отдаленной стране. Придя к такому заключению, я отважился обратиться к ним со следующей речью: Господа, если вы действительно колдуны, как я имею достаточные основания полагать, то вы понимаете все языки; поэтому осмеливаюсь

доложить вашей милости, что я — бедный англичанин, которого злая судьба забросила на ваш берег; и я прошу разрешения сесть верхом на одного из вас, как на настоящую лошадь, и доехать до какого-нибудь хутора или деревни, где я мог бы отдохнуть и найти приют. В благодарность за эту услугу я подарю вам вот этот ножик или этот браслет, — тут я вынул обе вещицы из кармана. Во время моей речи оба коня стояли молча, как будто слушая меня с большим вниманием; когда я кончил, они стали оживленно что-то ржать друг другу, словно ведя между собой серьезный разговор. Для меня стало ясно тогда, что их язык отлично выражает чувства и что при незначительном усилии слова его можно разложить на звуки и буквы, пожалуй, даже легче, чем китайские слова.

Я отчетливо расслышал слово *ehy*, которое оба коня повторили несколько раз. Хотя я не мог понять его значения, все же, пока они были заняты разговором, я сам старался произнести это слово; как только лошади замолчали, я громко прокричал *ehy, ehy*, всячески подражая ржанью лошади. Это, по-видимому, очень удивило их, и серый конь дважды повторил это слово, как бы желая научить меня правильному его произношению.

Я стал повторять за ним возможно точнее и нашел, что с каждым разом делаю заметные успехи, хотя и очень далек от совершенства. После этого караковый конь попробовал научить меня еще одному слову, гораздо более трудному для произношения; согласно английской орфографии его можно написать так: houyhnhnm (*гуигнгнм*). Произношение этого слова давалось мне не так легко, как произношение первого, но после двух или трех попыток дело пошло лучше, и оба коня были, по-видимому, поражены моей смышленостью. Поговорив еще немного, вероятно, по-прежнему обо мне, друзья расстались, постукавшись копытами, как и при встрече; затем серый конь сделал мне знак, чтобы я шел вперед, и я счел благоразумным подчиниться его приглашению, пока не найду лучшего руководителя. Когда я замедлял шаги, конь начинал ржать: *ггуун, ггуун*. Догадавшись, что означает это ржанье, я постарался по мере сил объяснить ему, что устал и не могу идти скорее; тогда конь останавливался, чтобы дать мне возможность отдохнуть.

Глава II

Гуигнгнм приводит автора к своему жилищу.

Описание этого жилища. Прием, оказанный автору.

Пища гуигнгнмов. Затруднения автора вследствие отсутствия подходящей для него пищи и устранение этого затруднения.

Чем питался автор в этой стране

Сделав около трех миль, мы подошли к длинному низкому строению, крытому соломой и со стенами из вбитых в землю и перевитых прутьями кольев. Здесь я почувствовал некоторое облегчение и вынул из кармана несколько безделушек, которыми обыкновенно запасаются путешественники для подарков дикарям-индейцам Америки и других стран; я надеялся, что благодаря этим безделушкам хозяева дома окажут мне более радушный прием. Конь знаком пригласил меня войти первым, и я очутился в просторной комнате с гладким глиняным полом;

по одной ее стене во всю длину тянулись ясли с решетками для сена. Там были трое лошаков и две кобылицы: они не стояли возле яслей и не ели, а сидели по-собачьи, что меня крайне удивило. Но я еще более удивился, когда увидел, что другие лошади заняты домашними работами, исполняя, по-видимому, обязанности рабочего скота. Все это окончательно укрепило меня в моем первоначальном предположении, что народ, сумевший так выдрессировать неразумных животных, несомненно, должен превосходить своею мудростью все другие народы земного шара. Серый конь вошел следом за мной, предупредив, таким образом, возможность дурного приема со стороны других лошадей. Он несколько раз заржал повелительным тоном хозяина, на что другие отвечали ему. Кроме этой комнаты, там было еще три, тянувшиеся одна за другой вдоль здания; мы прошли в них через три двери, расположенные по одной линии в виде просеки. Во второй комнате мы остановились; серый конь вошел в третью комнату один, сделав мне знак обождать. Я остался во второй комнате и приготовил подарки для хозяина и хозяйки дома; это были два ножа, три браслета с фальшивыми жемчужинами, маленькое зеркальце и ожерелье из бус. Конь

заржал три или четыре раза, и я насторожился в надежде услышать в ответ человеческий голос; но я услышал такое же ржание, только в немного более высоком тоне. Я начал думать тогда, что дом этот принадлежит очень важной особе, раз понадобилось столько церемоний, прежде чем быть допущенным к хозяину. Но чтобы важная особа могла обслуживаться только лошадьми — было выше моего понимания. Я испугался, уж не помутился ли мой рассудок от перенесенных мною лишений и страданий. Я сделал над собой усилие и внимательно осмотрелся кругом: комната, в которой я остался один, была убрана так же, как и первая, только с большим изяществом. Я несколько раз протер глаза, но передо мной находились все те же предметы. Я стал щипать себе руки и бока, чтобы проснуться, так как мне все еще казалось, что я вижу сон. После этого я окончательно пришел к заключению, что вся эта видимость есть не что иное, как волшебство и магия. Не успел я остановиться на этой мысли, как в дверях снова показался серый конь и знаками пригласил последовать за ним в третью комнату, где я увидел очень красивую кобылу с двумя жеребятами; они сидели, поджав под себя задние ноги, на недурно сделанных, очень опрятных и

чистых соломенных циновках.

Когда я вошел, кобыла тотчас встала с циновки и приблизилась ко мне; внимательно осмотрев мои руки и лицо, она отвернулась с выражением величайшего презрения; после этого она обратилась к серому коню, и я слышал, как в их разговоре часто повторялось слово *еху,* значения которого я тогда еще не понимал, хотя и изучил его произношение прежде других слов. Но, к величайшему своему уничижению, я скоро узнал, что оно значит. Случилось это таким образом: серый конь, кивнув мне головой и повторяя слово *ггуун, ггуун*, которое я часто слышал от него в дороге и которое означало приказание следовать за ним, вывел меня на задний двор, где находилось другое строение в некотором отдалении от дома. Когда мы вошли туда, я увидел трех таких же отвратительных тварей, с какими я повстречался вскоре по прибытии в эту страну; они пожирали коренья и мясо каких-то животных, — впоследствии я узнал, что то были трупы дохлых или погибших от какого-нибудь несчастного случая собак, ослов и изредка коров. Все они были привязаны за шею к бревну крепкими ивовыми прутьями; пищу свою они держали в когтях передних ног и разрывали ее зубами.

Хозяин-конь приказал своему слуге, гнедому лошаку, отвязать самое крупное из этих животных и вывезти его во двор; поставив нас рядом, хозяин и слуга произвели тщательное сравнение нашей внешности, после чего несколько раз повторили слово *ehy*. Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по моему строению в точности напоминает человека, правда, лицо у него было плоское и широкое, нос приплюснутый, губы толстые и рот огромный, но эти особенности свойственны всем вообще дикарям, потому что матери кладут своих детей ничком на землю и таскают их за спиной, отчего ребенок постоянно тыкается носом о плечи матери. Передние лапы *ehy* отличались от моих рук только длиной ногтей, загрубелостью и коричневым цветом ладоней да тем, что их мыльная сторона была покрыта волосами. Такое же сходство и такие же различия существовали и между нашими ногами; я сразу понял это, хотя лошади и не могли ничего заметить, так как на мне были чулки и башмаки; то же надо сказать и относительно всего тела вообще, исключая только цвет кожи и волос, что было уже описано мною выше.

Но обеих лошадей повергало, по-видимому, в

большое недоумение то обстоятельство, что благодаря платью, о котором они не имели никакого понятия, все металльные части моего тела сильно отличались от тела *еху*. Гнедой лошак подал мне какой-то корень, взяв его между копытом и бабкой (каким образом они это делают, будет описано в своем месте), я взял его и, понюхав, самым вежливым образом возвратил ему; тогда он принес из хлева *еху* кусок ослиного мяса, но от него шел такой противный запах, что я с омерзением отвернулся; лошак бросил мясо *еху*, и животное с жадностью сожрало его. Потом он показал мне охапку сена и полный гарнец овса; но я покачал головою, давая понять, что ни то, ни другое не годится мне в пищу. Тут я испугался, что мне придется умереть с голоду, если я не встречу здесь человека, подобного мне; что же касается трех гнусных *еху*, то хотя мало найдется больших поклонников рода человеческого, чем я был в ту пору, но, признаюсь, никогда я не видел столь отвратительных во всех отношениях одушевленных существ; и чем ближе я с ними знакомился во время моего пребывания в этой стране, тем более усиливалась моя ненависть к ним. Заметя это отвращение по моим жестам, конь-хозяин велел отвести *еху* обратно в хлев. После этого

он поднес ко рту переднее копыто, чем я был немало изумлен, хотя он совершил это движение с непринужденностью, свидетельствовавшей, что оно было для него самым естественным, и делал также другие знаки, желая узнать, что же я буду есть; но я не мог ответить на этот вопрос понятным для него образом, да если бы даже он и понял меня, было бы не легче, так как я не видел, откуда бы он мог достать мне подходящую пищу. Во время этих переговоров прошла мимо корова; я показал на нее пальцем и выразил желание подойти к ней и подоить ее. Меня поняли, ибо серый конь повел меня обратно в дом и приказал кобыле-служанке открыть одну комнату, где стояло много молока в глиняной и деревянной посуде, очень чистой и в большом порядке; кобыла подала мне большую чашку с молоком, и я с удовольствием напился, после чего почувствовал себя гораздо бодрее и свежее.

Около полудня к дому подкатила особенного устройства повозка, которую тащили подобно санкам четыре *ehу*. В повозке сидел старый конь, по-видимому, знатная особа; он сошел на землю, опираясь на задние ноги, потому что передняя левая нога у него была повреждена. Этот конь приехал обедать к моему хозяину, который при-

нял его с большой любезностью. Они обедали в лучшей комнате, и на второе блюдо им подали овес, варенный в молоке; гость ел это кушанье в горячем виде, а остальные лошади — в холодном. Их ясли расположены были кругообразно посреди комнаты и разгорожены на несколько отделений, возле которых все и уселись на подостланную солому. Над яслями помещалась большая решетка с сеном, разгороженная на столько же отделений, как и ясли, так что каждый конь и каждая кобыла ели отдельно свои порции сена и овсяной каши с молоком, очень благопристойно и аккуратно. Жеребята держали себя очень скромно, а хозяева были крайне любезны и предупредительны к своему гостю. Серый велел мне подойти к нему и завел со своим другом длинный разговор обо мне, как я мог заключить по тому, что гость часто поглядывал на меня и собеседники то и дело произносили слово *еху*.

Случилось, что я в то время надел перчатки; серый хозяин, заметив это, был поражен и знаками стал спрашивать, что это я сделал со своими передними ногами; три или четыре раза он прикоснулся к ним своим копытом, как бы давая понять, что я должен привести их в прежнее состояние, что я и сделал, сняв перчатки и положив

их в карман. Этот эпизод вызвал оживленный разговор, и я заметил, что мое поведение расположило всех в мою пользу, в благодетельных последствиях чего я вскоре убедился. Мне было приказано произнести усвоенные мной слова, и во время обеда хозяин научил меня называть овес, молоко, огонь, воду и некоторые другие предметы, что давалось мне очень легко, так как еще смолоду я отличался большими способностями к языкам.

После обеда конь-хозяин отвел меня в сторону и дал понять мне знаками и словами свое огорчение по поводу того, что для меня не было подходящей еды. Овес на языке *гуигнгнмов* называется глуннг. Это слово я произнес два или три раза, так как хотя сначала я отказался от овса, однако по некотором размышлении нашел, что из него можно приготовить нечто вроде хлеба; а хлеб с молоком могли бы поддержать мое существование до тех пор, пока мне не представится случай уйти отсюда в какую-нибудь другую страну к таким же людям, как и я. Конь тотчас же приказал белой кобыле-служанке принести овса на деревянном блюде. Я кое-как поджарил этот овес на огне и стал тереть, пока не отстала шелуха, которую я постарался отвеять от зерна;

затем я истолок зерно между двумя камнями, взял воды, приготовил тесто, испек его на огне и съел в горячем виде, запивая молоком. Сначала это кушанье показалось мне крайне безвкусным, хотя оно очень распространено во многих европейских странах, но с течением времени я к нему привык. К тому же это был не первый случай в моей жизни, когда приходилось довольствоваться самой грубой пищей, и я еще раз убедился в том, как мало взыскательна человеческая природа. Не могу не заметить при этом, что за все время моего пребывания на острове я ни одной минуты не был болен. Правда, иногда мне удавалось поймать в силки, сделанные из волос *еху*, кролика или какую-нибудь птицу, иногда я находил съедобные травы, которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам, а изредка сбивал себе масло и пил сыворотку. Сначала я очень болезненно ощущал отсутствие соли, но скоро привык обходиться без нее; и я убежден, что обильное употребление этого вещества есть результат сластолюбия, и соль была введена главным образом для возбуждения жажды, исключая, конечно, случаев, когда она необходима для сохранения мяса в далеких путешествиях или в местах, удаленных от рынков. Ведь мы не знаем

ни одного животного, которое любило бы соль. Что касается меня, то должен признаться, что, покинув эту страну, я очень нескоро научился переносить вкус соли в кушаньях, которые я ел.

Но довольно об этом; я не хочу подражать другим путешественникам, наполняющим целые главы своих книг описанием своей пищи, как будто читателю так уж интересно, хорошо или дурно кушал автор. Однако мне было необходимо коснуться этого предмета, чтобы устранить всякие недоразумения относительно того, каким образом мог я просуществовать три года в такой стране и среди такого населения.

С наступлением вечера конь-хозяин распорядился отвести мне особое помещение в шести ярдах от дома и отдельно от хлева *еху*. Я нашел там немного соломы и, покрывшись платьем, крепко заснул. Но вскоре я устроился гораздо удобнее, как читатель узнает из дальнейшего рассказа, посвященного более подробному описанию моего образа жизни в этой стране.

Глава III

Автор прилежно изучает туземный язык.

Гуигнгнм, его хозяин, помогает ему в занятиях.

Язык гуигнгнмов. Много знатных гуигнгнмов приходят взглянуть из любопытства на автора.

Он вкратце рассказывает хозяину о своем путешествии

Моим главным занятием было изучение языка; и все в доме, начиная с хозяина (так я буду с этих пор называть серого коня) и его детей и кончая последним слугою, усердно помогали мне в этом. Им казалось каким-то чудом, что грубое животное обнаруживает свойства разумного существа. Я показывал на предмет пальцем и спрашивал его название, которое запоминал; затем, оставшись наедине, записывал в свой путевой дневник; заботясь об улучшении выговора, я просил кого-нибудь из членов семьи произно-

сить почаще записанные слова. Особенно охотно помогал мне в этих занятиях гнедой лошак, слуга моего хозяина.

Произношение *гуигнгнмов* — носовое и гортанное, и из всех известных мне европейских языков язык их больше всего напоминает верхнеголландский или немецкий, но он гораздо изящнее и выразительнее. Император Карл V сделал почти аналогичное наблюдение, сказав, что если бы ему пришлось разговаривать со своею лошадью, то он обращался бы к ней по-верхнеголландски.

Любознательность и нетерпение моего хозяина были так велики, что он посвящал много часов своего досуга на обучение меня языку. Он был убежден (как рассказывал мне потом), что я *еху*; но моя понятливость, вежливость и опрятность поражали его, так как подобные качества были совершенно несвойственны этим животным. Более всего его сбивала с толку моя одежда, и он нередко задавался вопросом, составляет ли она часть моего тела или нет, ибо я никогда не снимал ее, пока все в доме не засыпали, и надевал рано утром, когда все еще спали. Мой хозяин сгорал желанием узнать, откуда я прибыл и каким образом я приобрел видимость разума, которую обнаруживал во всех моих поступках; ему хоте-

лось поскорее услышать из моих собственных уст всю историю моих приключений. Он надеялся, что ждать ему придется недолго: настолько велики были успехи, сделанные мной в заучивании и произношении слов и фраз. Для облегчения запоминания я расположил все выученные мною слова в порядке английского алфавита и записал их с соответствующим переводом. Спустя некоторое время я решился производить свои записи в присутствии хозяина. Мне стоило немало труда объяснить ему, что я делаю, ибо гуигнгнмы не имеют ни малейшего представления о книгах и литературе.

Приблизительно через десять недель я уже способен был понимать большинство вопросов моего хозяина, а через три месяца мог давать на них довольно сносные ответы. Мой хозяин особенно интересовался, из какой страны я прибыл к ним и каким образом научился подражать разумным существам, так как *еху* (на которых, по его мнению, я был поразительно похож головой, руками и лицом, то есть теми частями тела, которые не были закрыты одеждой), при всех свойственных им задатках хитрости и большом предрасположении к злобе, поддаются обучению хуже всех других животных. На это я ответил, что

я прибыл по морю очень издалека со многими другими подобными мне существами в большой полой посудине, сделанной из стволов деревьев, и что мои спутники высадили меня на этом берегу и оставили на произвол судьбы. С большими затруднениями и только при помощи знаков мне удалось сделать свою речь понятной. Мой хозяин ответил мне, что я, должно быть, ошибаюсь или говорю то, чего не было. (Дело в том, что на языке *гуигнгнмов* совсем нет слов, обозначающих ложь и обман.) Ему казалось невозможным, чтобы за морем были какие-либо земли и чтобы кучка диких зверей двигала по воде деревянное судно, куда ей вздумается. Он был уверен, что никто из гуигнгнмов не в состоянии соорудить такое судно, а тем более доверить управление им *еху*.

Слово *гуигнгнмы* на языке туземцев означает лошадь, а по своей этимологии — совершенство природы. Я ответил хозяину, что мне еще трудно выражать свои мысли, но я прилагаю все усилия к лучшему усвоению языка и надеюсь, что в скором времени буду в состоянии рассказать ему много чудес. Он был так добр, что поручил своей кобыле, жеребятам и прислуге не опускать ни одного случая для усовершенствования моих познаний в языке, и сам посвящал ежедневно два

или три часа занятиям со мной. Скоро всюду по окрестностям внеслась молва о появлении удивительного *еху*, который говорит как *гуигнгнм* и в своих словах и поступках как будто обнаруживает проблески разума, так что многие знатные кони и кобылы часто приходили к нам взглянуть на меня. Им доставляло удовольствие разговаривать со мной; они задавали мне много вопросов, на которые я отвечал как умел. Благодаря всем этим благоприятным обстоятельствам я сделал такие успехи, что через пять месяцев по приезде понимал все, что мне говорили, и мог довольно сносно объясняться сам.

Гуигнгнмы, приходившие в гости к моему хозяину с целью повидать меня и поговорить со мной, с трудом верили, чтобы я был настоящий *еху*, потому что поверхность моего тела отличалась от поверхности тела других *еху*. *Гуигнгнмы* были удивлены тем, что видят у меня голую кожу и волосы только на голове, лице и руках; однако вскоре одна случайность открыла хозяину мою тайну.

Я уже сказал читателю, что с наступлением ночи, когда весь дом ложился спать, я раздевался и укрывался моим платьем. Однажды рано утром хозяин послал за мной своего камерди-

нера, гнедого лошака; когда он вошел, я крепко спал, прикрывавшее меня платье свалилось, а рубашка задралась выше пояса. Проснувшись от произведенного им шума, я заметил, что он находится в некотором замешательстве. Кое-как исполнив свое поручение, он в большом испуге прибежал к своему господину и смущенно рассказал ему все, что увидел. Я сейчас же узнал об этом, ибо когда, наскоро одевшись, я отправился засвидетельствовать свое почтение его милости, то первым делом хозяин спросил меня, что означает рассказ слуги, доложившего, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда, и будто некоторые части моего тела совершенно белые, другие — желтые или, по крайней мере, не такие белые, а некоторые — совсем темные.

До сих пор я сохранял тайну моей одежды, чтобы как можно больше отличаться от гнусной породы *ehy*; но после этого случая было бесполезно хранить ее долее. Кроме того, моя одежда и башмаки сильно износились, и недалеко было время, когда они совсем развалятся и мне придется заменить их каким-нибудь изделием из кожи *ehy* или других животных и, следовательно, выдать всю свою тайну. Поэтому я сказал хозяину, что в стране, откуда я прибыл, подобные мне

существа всегда закрывают свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных, отчасти из скромности, а отчасти для защиты тела от жары и стужи. Что же касается лично меня, то, если ему угодно, я готов немедленно представить доказательство справедливости сказанного мной; я только прошу извинения, что не обнажу перед ним тех частей тела, которые сама природа научила нас скрывать. Выслушав меня, хозяин сказал, что вся моя речь показалась ему крайне странной и особенно ее последняя часть; он не мог понять, каким образом природа может научить нас скрывать то, что сама же дала нам. Ни сам он, ни его домочадцы не стыдятся никакой части своего тела; впрочем, я могу поступать, как мне угодно. В ответ на это я расстегнул кафтан и снял его, затем снял жилет, башмаки, чулки и штаны; спустив рубашку до поясницы, я обмотал ею, как поясом, середину тела, чтобы скрыть мою наготу.

Хозяин наблюдал все мои действия с огромным любопытством и удивлением. Он брал одну за другой все принадлежности моего туалета между копытом и бабкой и рассматривал их с большим вниманием; потом он легонько погладил мое тело и несколько раз осмотрел его со всех сто-

рон. Обследовав меня, он заявил, что без всякого сомнения я — настоящий *еху* и отличаюсь от остальных представителей моей породы только мягкостью, белизною и гладкостью кожи, отсутствием волос на некоторых частях тела, формой и длиной когтей на задних и передних ногах и, наконец, тем, что притворяюсь, будто постоянно хожу на задних ногах. Он не пожелал производить дальнейший осмотр и разрешил мне одеться, потому что я дрожал от холода.

Я выразил хозяину неудовольствие по поводу того, что он так часто называет меня *еху* — этой гнусной скотиной, к которой я питаю глубочайшее отвращение и презрение. Я просил его не прилагать ко мне этого слова, а также запретить его употребление по отношению ко мне как в его семье, так и среди его друзей, которым он позволял видеть меня. Я просил его также сохранить тайну искусственной оболочки моего тела, по крайней мере, до тех пор, пока она совершенно не износится; что же касается его слуги, гнедого лошака, то его милость пусть соблаговолит приказать ему молчать.

На все это мой хозяин благосклонно согласился, и таким образом тайна моей одежды была сохранена до тех пор, пока она не стала изнашиваться,

так что я должен был ухитриться чем-нибудь заменить ее, но об этом будет рассказано ниже. Со своей стороны хозяин выразил желание, чтобы я как можно старательнее продолжал изучать их язык, так как он больше поражен моим умом и способностями к членораздельной речи, чем видом моего тела, покрыто ли оно одеждой или нет, и с большим нетерпением ожидает услышать от меня чудеса, которые я обещал ему рассказать.

С этих пор хозяин с удвоенным усердием стал обучать меня: он водил меня с собой в гости и просил всех обращаться со мною вежливо, потому что, по его словам, такое обхождение приводит меня в хорошее расположение и я становлюсь более занятным.

Не ограничиваясь взятым на себя трудом обучать меня языку, хозяин задавал мне ежедневно, когда я бывал в его обществе, множество вопросов относительно меня самого, на которые я отвечал как умел; таким образом, у него постепенно составилось некоторое общее, хотя и очень несовершенное представление о том, что я собирался рассказать ему. Было бы скучно излагать шаг за шагом мои успехи, позволившие мне вести более связный разговор; скажу только, что первый мой более или менее обстоятельный рассказ о себе

был приблизительно таков.

Я прибыл, как я уже пробовал разъяснить ему, из весьма отдаленной страны вместе с пятьюдесятью такими же существами, как и я. Мы плавали по морям в большой деревянной посудине, размерами превосходящей дом его милости. Тут я описал хозяину корабль в возможно более понятных выражениях и при помощи развернутого носового платка показал, каким образом он приводится в движение ветром. После ссоры, происшедшей между нами, продолжал я, меня высадили на этот берег, и я пошел вперед куда глаза глядят, пока не подвергся нападению отвратительных *ehu*, от которых его появление освободило меня. Тогда хозяин спросил меня, кто сделал этот корабль и как случилось, что *гуигнгнмы* моей страны предоставили управление им диким животным. На это я ответил, что я только в том случае решусь продолжать свой рассказ, если он даст мне честное слово не обижаться, что бы он ни услышал; при этом условии я расскажу ему об обещанных мною чудесах. Он согласился. Тогда я сказал ему, что корабль был построен такими же существами, как и я, которые во всех странах, где мне приходилось путешествовать, так же как и в моем отечестве, являются единственными разум-

ными творениями, господствующими над всеми остальными животными; и что по прибытии сюда я был так же поражен при виде разумного поведения *гуигнгнмов*, как поразили бы его или его друзей проблески ума в том создании, которое ему угодно было назвать *еху*, я должен, конечно, признать полное сходство моего тела с телом этих животных, но не могу понять причину их вырождения и одичания. Я прибавил далее, что если судьба позволит мне возвратиться когда-нибудь на родину и я расскажу там об этом путешествии, как я решил это сделать, то мне никто не поверит, и каждый будет думать, будто я говорю то, чего не было, и что я выдумал свои приключения от начала до конца; и, несмотря на все мое уважение к нему, к его семье и его друзьям, я, помня его обещание не обижаться, беру на себя смелость утверждать, что мои соотечественники едва ли признают вероятным, чтобы *гуигнгнмы* были где-нибудь господствующей породой, а *еху* грубыми скотами.

Глава IV

Понятие гуигнгнмов об истине и лжи.

Речь автора приводит в негодование его хозяина.

Более подробный рассказ автора о себе и о своих путешествиях

Хозяин слушал меня с выражением большого неудовольствия на лице, так как сомнение и недоверие настолько неизвестны в этой стране, что гуигнгнмы не знают, как вести себя в таком положении. И я помню, что когда в моих продолжительных беседах с хозяином о качествах людей, живущих в других частях света, мне приходилось упоминать о лжи и обмане, то он лишь с большим трудом понимал, что я хочу сказать, несмотря на то что отличался большой остротой ума. Он рассуждал так: способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и получать сведения о различных предметах; но если кто-нибудь станет утверждать то, чего нет, то назначение нашей речи совершенно

извращается, потому что в этом случае тот, к кому обращена речь, не может понимать своего собеседника; и он не только не получает никакого осведомления, но оказывается в состоянии худшем, чем неведение, потому что его уверяют, что белое — черно, а длинное — коротко. Этим и ограничивались все его понятия относительно способности лгать, в таком совершенстве известной и так широко распространенной во всех человеческих обществах.

Но возвратимся к нашему рассказу. Когда я заявил, что *еху* являются единственными господствующими животными на моей родине, что, по словам моего хозяина, было совершенно недоступно его пониманию, он пожелал узнать, есть ли у нас *гуигнгнмы* и чем они занимаются. Я ответил ему, что их у нас очень много и летом они пасутся на лугах, а зимою их держат в особых домах и кормят сеном и овсом, где слуги *еху* чистят их скребницами, расчесывают им гриву, обмывают ноги, задают корм и готовят постель. «Теперь я понимаю вас, — заметил мой хозяин, — из сказанного вами ясно, что, как ваши *еху* ни льстят себя мыслью, будто они разумные существа, все-таки господами у вас являются *гуигнгнмы*, и я от всей души желал бы, чтобы и наши *еху* были

так же послушны». Тут я стал упрашивать его милость позволить мне не продолжать рассказ, так как я уверен, что подробности, которых он ожидает от меня, будут для него очень неприятны. Но он настаивал, говоря, что желает знать все, как хорошее, так и дурное. Я отвечал, что буду повиноваться, и признался, что наши *гуигнгнмы*, которых мы называем лошадьми, самые красивые и самые благородные из всех животных; что они отличаются силой и быстротой, и когда принадлежат особам знатным, то ими пользуются для путешествий, для бегов, запрягают в колесницы и обращаются с ними очень ласково и заботливо, пока они здоровы и ноги у них крепкие, но едва только силы изменяют им, как их продают и пускают во всевозможную грязную работу, за которой они и умирают; а после смерти с них сдирают кожу, продают ее за бесценок, труп же бросают на съедение собакам и хищным птицам. Но судьба лошадей простой породы не так завидна. Большая часть их принадлежит фермерам, извозчикам и другим низкого звания людям, которые заставляют их исполнять более тяжелую работу и кормят их хуже. Я подробно описал ему наш способ ездить верхом, форму и употребление уздечки, седла, шпор, кнута, упряжи и колес.

Я прибавил, что к копытам наших лошадей мы прикрепляем пластины из особого твердого вещества, называемого железом, для предохранения их от повреждений о каменистые дороги, по которым мы часто ездим.

Несколько раз выразив свое крайнее негодование, мой хозяин был особенно поражен тем, что мы осмеливаемся садиться верхом на *гуигнгнма*, так как он был уверен, что самый слабый слуга способен сбросить самого сильного *еху* или же, упав с ним на землю и катаясь на спине, раздавить скотину. На это я ответил, что наших лошадей объезжают с трех или четырех лет для различных целей, к которым мы их предназначаем; что тех, которые остаются все же норовистыми, запрягают в телеги; что в молодом возрасте их жестоко бьют кнутом за каждую своевольную выходку; что самцов, предназначаемых для упряжи или верховой езды, по достижении двухлетнего возраста обыкновенно холостят, чтобы выгнать из них дурь и сделать более ручными и послушными; что все они очень чувствительны к нарядам и наказаниям; но пусть его милость благоволит принять во внимание, что, подобно здешним *еху*, наши *гуигнгнмы* не обладают ни малейшими проблесками разума.

Мне пришлось прибегнуть ко множеству иносказаний, чтобы дать хозяину правильное представление о том, что я говорил; дело в том, что язык *гуигнгнмов* не отличается обилием и разнообразием слов, ибо потребностей и страстей у них меньше, чем у нас. Но невозможно описать благородное возмущение моего хозяина, которое вызвано было рассказом о нашем варварском обращении с *гуигнгнмами* и особенно описанием нашего способа холостить лошадей, чтобы сделать их более покорными и помешать им производить потомство. Он согласился с тем, что если есть страна, в которой только одни *еху* одарены разумом, то по всей справедливости им и должно принадлежать господство над остальными животными, так как разум в конце концов всегда возобладает над грубой силой; но, рассматривая внимательно строение нашего тела, в частности моего, он находит, что ни одно животное одинаковой с нами величины не является так худо приспособленным для употребления этого разума на службу повседневным жизненным потребностям. Поэтому он желал бы знать, с кем имеют большее сходство существа, среди которых я жил: со мною или с здешними *еху*. Я стал уверять его, что я так же хорошо сложен, как и

большинство моих сверстников; но что подростки и самки гораздо более деликатны и нежны, и кожа у самок обыкновенно бывает бела, как молоко. Хозяин ответил мне, что я действительно отличаюсь от других *ehy*, что я гораздо опрятнее их и далеко не так безобразен, но с точки зрения подлинных преимуществ сравнение с ними будет, по его мнению, не в мою пользу. Так, мои ногти мне совсем ни к чему ни на передних, ни на задних ногах; передние мои ноги, собственно, нельзя даже назвать ногами, так как он никогда не видел, чтобы я ходил на них; они слишком нежны, чтобы выдержать соприкосновение с твердой землей, и я по большей части держу их открытыми, а если иногда и закрываю, то покровы эти не той формы и не так прочны, как те, что я ношу на задних ногах; таким образом, я не могу ходить уверенно, потому что если одна из моих задних ног поскользнется, то я неизбежно должен упасть. Затем он стал находить недостатки в остальных частях моего тела: плоское лицо, выдающийся нос, глаза, помещенные прямо во лбу, так что я не могу смотреть по сторонам, не поворачивая головы, не могу есть, не прибегая к помощи передних ног, для чего, вероятно, природа и наделила их столькими суставами. Он не понимал

назначения расчлененных отростков на концах моих задних ног; по его мнению, не покрытые кожей какого-нибудь другого животного, они слишком нежны для твердых и острых камней, да и все мое тело не имеет никакой защиты от стужи и зноя, кроме платья, и я обречен на скучное и утомительное занятие ежедневно надевать и снимать его. Наконец, по его наблюдениям, все животные этой страны питают инстинктивное отвращение к *еху*, причем более слабые убегают от них, а те, что посильнее, прогоняют их от себя. Таким образом, если даже допустить, что мы одарены разумом, все же непонятно, как мы могли не только победить эту общую к нам антипатию всех живых существ, но даже приручить их и заставить служить себе. Однако он не стал вести дальнейшее обсуждение этого вопроса, потому что ему больше хотелось выслушать историю моей жизни, узнать, где я родился и что со мною было до моего прибытия сюда.

Я заверил его, что с величайшей охотой готов удовлетворить его любопытство, но сильно сомневаюсь, удастся ли мне быть достаточно ясным относительно вещей, о которых у его милости не может быть никакого представления, так как я не заметил в этой стране ничего похожего на

них; тем не менее я буду всячески стараться выражать свои мысли путем сравнений и прошу его любезной помощи, когда я встречу затруднение в подыскании нужных слов. Его милость обещал исполнить мою просьбу.

Я сказал ему, что родился от почтенных родителей на острове, называемом Англией, который так далеко отсюда, что самый крепкий слуга его милости едва ли мог бы добежать до него в течение годичного оборота солнца; что я изучал хирургию, то есть искусство излечивать раны и повреждения, полученные от несчастных случайностей или нанесенные чужой рукой; что моя родина находится под управлением самки той же породы, что и я, которую мы называем королевой; что я уехал с целью разбогатеть и по возвращении жить с семьей в достатке; что в последнее мое путешествие я был капитаном корабля и под моей командой находилось около пятидесяти *ehu*, из которых многие умерли в пути, и я принужден был заменить их другими *ehu*, набранными среди различных народов; что наш корабль дважды подвергался опасности потонуть — один раз во время сильной бури, а другой — наскочив на скалу. Здесь мой хозяин остановил меня, спросив, каким образом я мог

уговорить чужеземцев из разных стран отважиться на совместное со мной путешествие после всех понесенных мною потерь и испытанных опасностей. Я отвечал, что это были люди, отчаявшиеся в своей судьбе, которых выгнали с родины нищета или преступления. Одни были разорены бесконечными тяжбами; другие промотали свое имущество благодаря пьянству, разврату и азартной игре; многие из них обвинялись в измене, убийстве, воровстве, отравлении, грабеже, клятвопреступлении, подлоге, чеканке фальшивой монеты, изнасиловании или мужеложстве и дезертирстве к неприятелю; большинство были беглые из тюрем; они не отваживались вернуться на родину из страха быть повешенными или сгнить в заточении и потому были вынуждены искать средств к существованию в чужих краях.

Во время этого рассказа моему хозяину угодно было несколько раз прерывать меня. Мне часто пришлось прибегать к иносказаниям, чтобы описать ему многочисленные преступления, принудившие большую часть моего экипажа покинуть свою родину. Понадобилось несколько дней, прежде чем он научился понимать меня. Он был в полном недоумении, что могло побудить или вынудить этих людей предаваться таким по-

рокам. Чтобы уяснить ему это, я постарался дать ему некоторое представление о свойственной всем нам ненасытной жажде власти и богатства, об ужасных последствиях сластолюбия, невоздержанности, злобы и зависти. Все это приходилось определять и описывать при помощи примеров и сравнений. После моих объяснений хозяин с удивлением и негодованием поднял глаза к небу, как мы делаем это, когда наше воображение бывает поражено чем-нибудь никогда невиданным и неслыханным. Власть, правительство, война, закон, наказание и тысяча других вещей не имели соответствующих терминов на языке *гуигнгнмов*, что почти лишало меня возможности дать хозяину сколько-нибудь правильное представление о том, что я говорил ему. Но, обладая от природы большим умом, укрепленным размышлением и беседами, он в заключение довольно удовлетворительно уяснил себе, на что бывает способна природа человека в наших странах, и пожелал, чтобы я дал ему более подробное описание той части света, которую мы называем Европой, и особенно моего отечества.

Глава V

По приказанию своего хозяина автор знакомит его с положением Англии.

Причины войн между европейскими государствами.

Автор приступает к изложению английской конституции

Пусть читатель благоволит принять во внимание, что нижеследующие выдержки из многочисленных моих бесед с хозяином содержат лишь наиболее существенное из того, что было нами сказано в течение почти что двух лет, его милость требовал от меня все больших подробностей, по мере того как я совершенствовался в языке гуигнгнмов. Я изложил ему как можно яснее общее положение Европы, рассказал о торговле и промышленности, науках и искусствах; и ответы, которые я давал ему на вопросы, возникавшие у него по разным поводам, служили, в свою очередь, неиссякаемым источником для новых бесед. Но я ограничусь здесь только самым

существенным из того, что было нами сказано относительно моей родины, приведя эти разговоры в возможно более строгий порядок, при этом я не стану обращать внимание на хронологическую последовательность и другие побочные обстоятельства, а буду только заботиться об истине. Меня беспокоит лишь то, что я вряд ли сумею точно передать доводы и выражения моего хозяина, и они сильно пострадают как от моей неумелости, так и от их перевода на наш варварский язык.

Итак, исполняя желание его милости, я рассказал про последнюю английскую революцию, произведенную принцем Оранским, и про многолетнюю войну с Францией, начатую этим принцем и возобновленную его преемницей, ныне царствующей королевой, — войну, в которую вовлечены были величайшие христианские державы и которая продолжается и до сих пор. По просьбе моего хозяина я вычислил, что в течение этой войны было убито, должно быть, около миллиона *еху*, взято около ста городов и в три раза более этого сожжено или затоплено кораблей.

Хозяин спросил меня, что же служит обыкновенно причиной или поводом, побуждающим одно государство воевать с другим. Я отвечал, что их несчетное количество, но я ограничусь

перечислением немногих, наиболее важных. Иногда таким поводом является честолюбие монархов, которым все бывает мало земель или людей, находящихся под их властью; иногда — испорченность министров, вовлекающих своих государей в войну, чтобы заглушить и отвлечь жалобы подданных на их дурное управление. Различие мнений стоило многих миллионов жизней; например, является ли тело хлебом или хлеб телом; является ли сок некоторых ягод кровью или вином; нужно ли считать свист грехом или добродетелью; что лучше: целовать кусок дерева или бросать его в огонь; какого цвета должна быть верхняя одежда: черного, белого, красного или серого; какова она должна быть: короткая или длинная, широкая или узкая, грязная или чистая, и т. д. и т. д. Я прибавил, что войны наши бывают наиболее ожесточенными, кровавыми и продолжительными именно в тех случаях, когда они обусловлены различием мнений, особенно если это различие касается вещей несущественных.

Иногда ссора между двумя государями разгорается из-за решения вопроса, кому из них надлежит низложить третьего, хотя ни один из них не имеет на то никакого права. Иногда один госу-

дарь нападает на другого из страха, как бы тот не напал на него первым; иногда война начинается потому, что неприятель слишком силен, а иногда, наоборот, потому, что он слишком слаб. Нередко у наших соседей нет того, что есть у нас, или же есть то, чего нет у нас; тогда мы деремся, пока они не отберут у нас наше или не отдадут нам свое. Вполне извинительным считается нападение на страну, если население ее изнурено голодом, истреблено чумою или втянуто во внутренние раздоры. Точно так же признается справедливой война с самым близким союзником, если какой-нибудь его город расположен удобно для нас или кусок его территории округлит и завершит наши владения. Если какой-нибудь монарх посылает свои войска в страну, население которой бедно и невежественно, то половину его он может законным образом истребить, а другую половину обратить в рабство, чтобы вывести этот народ из варварства и приобщить к благам цивилизации. Весьма распространен также следующий очень царственный и благородный образ действия: государь, приглашенный соседом помочь ему против вторгшегося в его пределы неприятеля, по благополучном изгнании последнего захватывает владения союзника, на помощь которому

пришел, а его самого убивает, заключает в тюрьму или изгоняет. Кровное родство или брачные союзы являются весьма частой причиной войн между государями, и чем ближе это родство, тем больше они склонны к вражде. Бедные нации алчны, богатые — надменны, а надменность и алчность всегда не в ладах. По всем этим причинам ремесло солдата считается у нас самым почетным, так как солдат есть *еху,* нанимающийся хладнокровно убивать возможно большее число подобных себе существ, не причинивших ему никакого зла.

Кроме того, в Европе существует особый вид нищих государей, неспособных вести войну самостоятельно и отдающих свои войска внаем богатым государствам за определенную поденную плату с каждого солдата, из каковой платы они удерживают в свою пользу три четверти, что составляет существеннейшую статью их доходов; таковы государи Германии и других северных стран Европы.

Все, что вы сообщили мне (сказал мой хозяин) по поводу войн, как нельзя лучше доказывает действия того разума, на обладание которым вы притязаете; к счастью, однако, ваше поведение не столько опасно, сколько постыдно, ибо приро-

да создала вас так, что вы не можете причинить особенно много зла.

В самом деле, ваш рот расположен в одной плоскости с остальными частями лица, так что вы вряд ли можете кусать друг друга, разве что по обоюдному согласию. Затем ваши когти на передних и задних ногах так коротки и нежны, что каждый наш *ehy* легко справится с дюжиной ваших собратьев. Поэтому что касается приведенных вами чисел убитых в боях, то мне кажется, простите, вы говорите то, чего нет.

При этих словах я покачал головой и не мог удержаться от улыбки. Военное искусство было мне не чуждо, и потому я обстоятельно описал ему, что такое пушки, кулеврины, мушкеты, карабины, пистолеты, пули, порох, сабли, штыки, сражения, осады, отступления, атаки, мины и контрмины, бомбардировки, морские сражения, потопление кораблей с тысячью матросов, десятки тысяч убитых с каждой стороны; стоны умирающих, взлетающие в воздух члены, дым, шум, смятение, смерть под лошадиными копытами; бегство, преследование, победа; поля, покрытые трупами, брошенными на съедение собакам, волкам и хищным птицам; разбой, грабежи, изнасилования, пожары, разорение.

И, желая похвастаться перед ним храбростью моих дорогих соотечественников, я сказал, что сам был свидетелем, как при осаде одного города они взорвали на воздух сотню неприятельских солдат и столько же в одном морском сражении, так что куски человеческих тел падали точно с неба к великому удовольствию всех зрителей.

Я хотел было пуститься в дальнейшие подробности, но хозяин приказал мне замолчать. Всякий, кто знает природу *еху*, сказал он, без труда поверит, что такое гнусное животное способно на все описанные мною действия, если его сила и хитрость окажутся равными его злобе. Но мой рассказ увеличил его отвращение ко всей этой породе и поселил в уме его беспокойство, которого он никогда раньше не испытывал. Он боялся, что, привыкнув слушать подобные гнусные слова, он со временем станет относиться к ним с меньшим отвращением. Хотя он гнушался *еху*, населяющими эту страну, все же он не больше порицал их за их противные качества, чем *гинэйх* (хищную птицу) за ее жестокость, или острый камень за то, что он повредил ему копыто. Но, узнав, что существа, притязающие на обладание разумом, способны совершать подобные ужасы, он опасается, что развращенный разум, пожалуй,

хуже какой угодно звериной тупости. Поэтому он склонен думать, что мы одарены не разумом, а какой-то особенной способностью, содействующей росту наших природных пороков, подобно тому как волнующийся поток, отражая уродливое тело, не только увеличивает его, но еще более обезображивает.

Тут он заявил, что уже достаточно наслушался о войне как в этот наш разговор, так и раньше. Теперь его немного смущал другой вопрос. Я сообщил ему, что некоторые матросы моего бывшего экипажа покинули свою родину, потому что были разорены законом; хотя я уже объяснил ему смысл этого слова, однако он недоумевал, каким образом закон, назначение которого охранять интересы каждого, может привести кого-нибудь к разорению. Поэтому он желал услышать от меня более обстоятельные разъяснения относительно того, что я разумею под законом и его блюстителями согласно практике, существующей в настоящее время у меня на родине: ибо, по его мнению, природа и разум являются достаточными руководителями разумных существ, какими мы считаем себя, и ясно показывают нам, что мы должны делать и чего должны избегать.

Я ответил его милости, что закон есть наука,

в которой я мало сведущ, так как все мое знакомство с ней ограничивается безуспешным обращением к помощи стряпчих по поводу некоторых причиненных мне несправедливостей; все же по мере сил я постараюсь удовлетворить его любопытство. Я сказал, что у нас есть сословие людей, смолоду обученных искусству доказывать при помощи пространных речей, что белое — черно, а черное — бело, соответственно деньгам, которые им за это платят. Это сословие держит в рабстве весь народ. Например, если моему соседу понравилась моя корова, то он нанимает стряпчего с целью доказать, что он вправе отнять у меня корову. Со своей стороны, для защиты моих прав мне необходимо нанять другого стряпчего, так как закон никому не позволяет защищаться в суде самостоятельно. Кроме того, мое положение законного собственника оказывается в двух отношениях невыгодным. Во-первых, мой стряпчий, привыкнув почти с колыбели защищать ложь, чувствует себя не в своей стихии, когда ему приходится отстаивать правое дело, и, оказавшись в положении неестественном, всегда действует крайне неуклюже и подчас даже злонамеренно. Невыгодно для меня также и то, что мой стряпчий должен проявить крайнюю осмотрительность,

иначе он рискует получить замечание со стороны судей и навлечь неприязнь своих собратьев за унижение профессионального достоинства. Таким образом, у меня есть только два способа сохранить свою корову. Либо я подкупаю двойным гонораром стряпчего противной стороны, который предает своего клиента, намекнув суду, что справедливость на его стороне. Либо мой защитник изображает мои претензии как явно несправедливые, высказывая предположение, что корова принадлежит моему противнику; если он сделает это достаточно искусно, то расположение судей в мою пользу обеспечено.

Ваша милость должна знать, что судьями у нас называются лица, на которых возложена обязанность решать всякого рода имущественные тяжбы, а также уголовные дела; выбираются они из числа самых искусных стряпчих, состарившихся и обленившихся. Выступая всю свою жизнь против истины и справедливости, судьи эти с роковой необходимостью потворствуют обману, клятвопреступлению и насилию, и я знаю, что сплошь и рядом они отказываются от крупных взяток, предлагаемых им правой стороной, лишь бы только не подорвать авторитет сословия совершением поступка, не соответствующего его

природе и достоинству.

В этом судейском сословии установилось правило, что все однажды совершенное может быть законным образом совершено вновь; на этом основании судьи с великою заботливостью сохраняют все старые решения, попирающие справедливость и здравый человеческий смысл. Эти решения известны у них под именем прецедентов; на них ссылаются как на авторитет для оправдания самых несправедливых мнений, и судьи никогда не упускают случая руководствоваться этими прецедентами.

При разборе тяжеб они тщательно избегают входить в существо дела; зато кричат, горячатся и говорят до изнеможения, останавливаясь на обстоятельствах, не имеющих к делу никакого отношения. Так, в упомянутом уже случае они никогда не выразят желания узнать, какое право имеет мой противник на мою корову и какие доказательства этого права он может представить; но проявят величайший интерес к тому, рыжая ли корова или черная; длинные у нее рога или короткие; круглое ли то поле, на котором она паслась, или четырехугольное; дома ли ее доят или на пастбище; каким болезням она подвержена и т. п.; после этого они начнут справляться с преце-

дентами, будут откладывать дело с одного срока на другой и через десять, двадцать или тридцать лет придут наконец к какому-нибудь решению.

Следует также принять во внимание, что это судейское сословие имеет свой собственный язык, особый жаргон, недоступный пониманию обыкновенных смертных, на котором пишутся все их законы. Законы эти умножаются с таким усердием, что ими совершенно затемнена подлинная сущность истины и лжи, справедливости или несправедливости; поэтому потребовалось бы не меньше тридцати лет, чтобы разрешить вопрос, мне ли принадлежит поле, доставшееся мне от моих предков, владевших им в шести поколениях, или какому-либо чужеземцу, живущему за триста миль от меня.

Судопроизводство над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, отличается несравненно большей быстротой, и метод его гораздо похвальнее: судья первым делом осведомляется о расположении власть имущих, после чего без труда приговаривает обвиняемого к повешению или оправдывает, строго соблюдая при этом букву закона.

Тут мой хозяин прервал меня, выразив сожаление, что существа, одаренные такими пора-

зительными способностями, как эти судейские, если судить по моему описанию, не поощряются к наставлению других в мудрости и добродетели. В ответ на это я уверил его милость, что во всем, не имеющем отношения к их профессии, они являются обыкновенно самыми невежественными и глупыми из всех нас, неспособными вести самый простой разговор, заклятыми врагами всякого знания и всякой науки, так же склонными извращать здравый человеческий смысл во всех других областях, как они извращают его в своей профессии.

Глава VI

Продолжение описания Англии.

Характеристика первого или главного министра при европейских дворах

Мой хозяин все же был совершенно не способен понять, что заставляет это племя законников тревожиться, беспокоиться, утруждать себя и вступать в союз с несправедливостью только ради причинения вреда своим ближним; он не мог также постичь, что я разумею, говоря, что они делают это за наемную плату. В ответ на это мне пришлось с большими затруднениями описать ему употребление денег, материал, из которого они изготовляются, и цену благородных металлов; я сказал ему, что когда еху собирает большой запас этого драгоценного вещества, то он может приобрести все, что ему вздумается: красивые платья, великолепные дома, большие пространства земли, самые дорогие яства и напитки; ему открыт выбор самых красивых самок. И так как одни только деньги способны доставить все эти штуки, то нашим еху все кажется,

что денег у них недостаточно на расходы или на сбережения, в зависимости от того, к чему они больше предрасположены: к мотовству или к скупости. Я сказал также, что богатые пожинают плоды работы бедных, которых приходится по тысяче на одного богача, и что громадное большинство нашего народа принуждено влачить жалкое существование, работая изо дня в день за скудную плату, чтобы меньшинство могло жить в изобилии. Я подробно остановился на этом вопросе и разных связанных с ним частностях, но его милость плохо схватывал мою мысль, ибо он исходил из положения, что все животные имеют право на свою долю земных плодов, особенно те, которые господствуют над остальными. Поэтому он выразил желание знать, каковы же эти дорогие яства и почему некоторые из нас нуждаются в них. Тогда я перечислил все самые изысканные кушанья, какие я только мог припомнить, и описал различные способы их приготовления, заметив, что за приправами к ним, за напитками и бесчисленными пряностями приходится посылать корабли за море во все страны света. Я сказал ему, что нужно, по крайней мере, трижды объехать весь земной шар, прежде чем удастся достать провизию для завтрака какой-нибудь

знатной самки наших еху или чашку, в которой он должен быть подан. Бедна же, однако, страна, сказал мой собеседник, которая не может прокормить своего населения! Но особенно его поразило то, что описанные мной обширные территории совершенно лишены пресной воды и население их вынуждено посылать в заморские земли за питьем. Я ответил ему на это, что Англия (дорогая моя родина), по самому скромному подсчету, производит разного рода съестных припасов в три раза больше, чем способно потребить ее население, а что касается питья, то из зерна некоторых злаков и из плодов некоторых растений мы извлекаем или выжимаем сок и получаем, таким образом, превосходные напитки; в такой же пропорции у нас производится все вообще необходимое для жизни. Но для утоления сластолюбия и неумеренности самцов и суетности самок мы посылаем большую часть необходимых нам предметов в другие страны, откуда взамен вывозим материалы для питания наших болезней, пороков и прихотей. Отсюда неизбежно следует, что огромное количество моих соотечественников вынуждено добывать себе пропитание нищенством, грабежом, воровством, мошенничеством, сводничеством, клятвопреступлением, лестью,

подкупами, подлогами, игрой, ложью, холопством, бахвальством, торговлей избирательными голосами, бумагомаранием, звездочетством, отравлением, развратом, ханжеством, клеветой, вольнодумством и тому подобными занятиями; читатель может себе представить, сколько труда мне понадобилось, чтобы растолковать гуигнгнму каждое из этих слов.

Я объяснил ему, что *вино*, привозимое к нам из чужих стран, служит не для восполнения недостатка в воде и в других напитках, но влага эта веселит нас, одурманивает, рассеивает грустные мысли, наполняет мозг фантастическими образами, убаюкивает несбыточными надеждами, прогоняет страх, приостанавливает на некоторое время деятельность разума, лишает нас способности управлять движениями нашего тела и в заключение погружает в глубокий сон; правда, нужно признать, что от такого сна мы просыпаемся всегда больными и удрученными и что употребление этой влаги рождает в нас всякие недуги, делает нашу жизнь несчастной и сокращает ее.

Кроме всего этого, большинство населения добывает у нас средства к существованию снабжением богачей и вообще друг друга предметами

первой необходимости и роскоши. Например, когда я нахожусь у себя дома и одеваюсь как мне полагается, я ношу на своем теле работу сотни ремесленников; постройка и обстановка моего дома требуют еще большего количества рабочих, а чтобы нарядить мою жену, нужно увеличить это число еще в пять раз.

Я собрался было рассказать ему еще об одном разряде людей, добывающих себе средства к жизни уходом за больными, ибо не раз уже упоминал его милости, что много матросов на моем корабле погибло от болезней; но тут мне пришлось затратить много времени на то, чтобы растолковать ему мои намерения. Для него было вполне понятно, что каждый *гуигнгнм* слабеет и отяжелевает за несколько дней до смерти или может случайно поранить себя. Но он не мог допустить, чтобы природа, все произведения которой совершенны, способна была взращивать в нашем теле болезни, и пожелал узнать причину этого непостижимого бедствия. Я рассказал ему, что мы употребляем в пищу тысячу различных веществ, которые часто оказывают на наш организм самые противоположные действия; что мы едим, когда мы не голодны, и пьем, не чувствуя никакой жажды; что целые ночи напролет мы

поглощаем крепкие напитки и ничего при этом не едим, что располагает нас к лени, воспаляет наши внутренности, расстраивает желудок или препятствует пищеварению; что занимающиеся проституцией самки *ехуу* наживают особую болезнь, от которой гниют кости, и заражают этой болезнью каждого, кто попадает в их объятия; что эта болезнь, как и многие другие, передается от отца к сыну, так что многие из нас уже при рождении на свет носят в себе зачатки недугов; что понадобилось бы слишком много времени для перечисления всех болезней, которым подвержено человеческое тело, так как не менее пяти- или шестисот их поражают каждый его член и сустав; словом, всякая часть нашего тела, как внешняя, так и внутренняя, подвержена множеству свойственных ей болезней. Для борьбы с этим злом у нас существует особый род людей, обученных искусству лечить или морочить больных. И так как я обладал некоторыми сведениями в этом искусстве, то в знак благодарности к его милости изъявил готовность посвятить его в тайны и методы их действий.

Основное положение их науки гласит, что все болезни происходят от переполнения, откуда они заключают, что прежде всего необходимо начи-

сто опорожнить тело или через естественный проход, или верхом, через рот. Для достижения этого они берут разные травы, минералы, смолы, масла, раковины, соли, соки, водоросли, экскременты, древесную кору, змей, жаб, лягушек, пауков, мясо и кости мертвецов, птиц, животных и рыб и изготовляют из всего этого микстуру, на запах и на вкус омерзительную, какую только возможно себе представить, так что желудок немедленно с отвращением извергает ее вон; они называют ее рвотным. Или же, приготовя из тех же веществ с придачей некоторых ядов столь же пакостное и непереносимое для кишок лекарство, заставляют принимать его (смотря по расположению медика) то через верхнее, то через нижнее отверстия; лекарство это, расслабляя брюхо, гонит из него все его содержимое и называется слабительным или промывательным. В самом деле, так как природа (рассуждают медики) назначила человеку верхнее переднее отверстие только для введения внутрь твердых и жидких веществ, а нижнее заднее для извержения, а при всех болезнях природа, по остроумной теории этих ловкачей, как бы выбивается из седла, то для водворения ее на место с телом больного нужно обращаться прямо противоположным образом и

заставить оба отверстия поменяться ролями: вводить твердые и жидкие вещества через задний проход, а опорожнения производить через рот.

Но, кроме действительных болезней, мы подвержены множеству мнимых, против которых врачи изобрели мнимое лечение; эти болезни имеют свои названия и соответствующие лекарства; ими всегда страдают самки наших *еху*.

Особенно отличается это племя в искусстве прогноза; тут они редко совершают промах; действительно, в случае настоящей болезни, более или менее злокачественной, медики обыкновенно предсказывают смерть, которая всегда в их власти, между тем как излечение от них не зависит; поэтому при неожиданных признаках улучшения, после того как ими уже был произнесен приговор, они, не желая прослыть лжепророками, умеют доказать свою мудрость своевременно данной дозой лекарства.

Равным образом они бывают весьма полезны мужьям и женам, если те надоели друг другу, старшим сыновьям, министрам и часто государям.

Мне уже раньше приходилось беседовать с моим хозяином о природе *правительства* вообще и в частности о нашей *превосходной консти-*

туции, вызывающей заслуженное удивление и зависть всего света. Но когда я случайно при этом упомянул *государственного министра*, то мой хозяин спустя некоторое время попросил меня объяснить ему, какую именно разновидность *еху* обозначаю я этим словом.

Я ответил ему, что *первый* или *главный государственный министр*, особу которого я намереваюсь описать, является существом, совершенно не подверженным радости и горю, любви и ненависти, жалости и гневу; по крайней мере, он не проявляет никаких страстей, кроме неистовой жажды богатства, власти и титулов; что он пользуется словами для самых различных целей, но только не для выражения своих мыслей; что он никогда не говорит *правды* иначе как с намерением, чтобы ее приняли за *ложь*, и лжет только в тех случаях, когда хочет выдать свою ложь за правду; что люди, о которых он дурно отзывается за глаза, могут быть уверены, что они находятся на пути к почестям; если же он начинает хвалить вас перед другими или в глаза, с того самого дня вы человек пропащий. Наихудшим предзнаменованием для вас бывает *обещание*, особенно когда оно подтверждается клятвой; после этого каждый благоразумный человек удаляется и оставляет

всякую надежду.

Есть три способа, при помощи которых можно достигнуть поста главного министра. Первый способ — умение благоразумно распорядиться женой, дочерью или сестрой; второй — предательство своего предшественника или подкоп под него; и, наконец, третий — *яростное обличение* в общественных собраниях испорченности двора. Однако мудрый государь обыкновенно отдает предпочтение тем, кто применяет последний способ, ибо эти фанатики всегда с наибольшим раболепием будут потакать прихотям и страстям своего господина. Достигнув власти, министр, в распоряжении которого все должности, укрепляет свое положение путем подкупа большинства сенаторов или членов большого совета; в заключение, оградив себя от всякой ответственности особым актом, называемым амнистией (я изложил его милости сущность этого акта), он удаляется от общественной деятельности, отягченный награбленным у народа богатством.

Дворец первого министра служит питомником для выращивания других подобных ему людей: пажи, лакеи, швейцары, подражая своему господину, становятся такими же министрами в своей сфере и в совершенстве изучают три главных

составных части его искусства: наглость, ложь и подкуп. Вследствие этого у каждого из них есть свой маленький двор, образуемый людьми высшего круга. Подчас благодаря ловкости и бесстыдству им удается, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, стать преемниками своего господина. Первым министром управляет обыкновенно какая-нибудь старая распутница или лакей-фаворит, они являются каналами, по которым разливаются все милости министра, и по справедливости могут быть названы в последнем счете правителями государства.

Однажды, услышав мое упоминание о знати нашей страны, хозяин удостоил меня комплиментом, которого я совсем не заслужил. Он сказал, что я, наверное, родился в благородной семье, так как по сложению, цвету кожи и чистоплотности я значительно превосхожу всех *ehu* его родины, хотя, по-видимому, и уступаю последним в силе и ловкости, что, по его мнению, обусловлено моим образом жизни, отличающимся от образа жизни этих животных; кроме того, я не только одарен способностью речи, но также некоторыми зачатками разума в такой степени, что все его знакомые почитают меня за чудо.

Он обратил мое внимание на то, что среди

гуигнгнмов белые, гнедые и темно-серые хуже сложены, чем *серые в яблоках, караковые* и *вороные*; они не обладают такими природными дарованиями и в меньшей степени поддаются развитию; поэтому всю свою жизнь они остаются в положении слуг, даже и не мечтая о лучшей участи, ибо все их притязания были бы признаны здесь противоестественными и чудовищными.

Я выразил его милости мою нижайшую благодарность за доброе мнение, которое ему угодно было составить обо мне, но уверил его в то же время, что происхождение мое очень невысокое, так как мои родители были скромные честные люди, которые едва имели возможность дать мне сносное образование; я сказал ему, что наша *знать* совсем не похожа на то представление, какое он составил о ней; что молодые ее представители с самого детства воспитываются в праздности и роскоши и, как только им позволяет возраст, сжигают свои силы в обществе распутных женщин, от которых заражаются дурными болезнями; промотав, таким образом, почти все свое состояние, они женятся ради денег на женщинах низкого происхождения, не отличающихся ни красотой, ни здоровьем, которых они ненавидят и презирают; что плодом таких браков

обыкновенно являются золотушные, рахитичные или уродливые дети, вследствие чего знатные фамилии редко сохраняются долее трех поколений, разве только жены предусмотрительно выбирают среди соседей и прислуги здоровых отцов в целях улучшения и продолжения рода; что слабое болезненное тело, худоба и землистый цвет лица служат верными признаками благородной крови, здоровое и крепкое сложение считается даже бесчестием для человека знатного, ибо при виде такого здоровяка все тотчас заключают, что его настоящим отцом был *конюх* или *кучер*. Недостатки физические находятся в полном соответствии с недостатками умственными и нравственными, так что люди эти представляют собой смесь хандры, тупоумия, невежества, самодурства, чувственности и спеси.

И вот без согласия этого *блестящего класса* не может быть издан, отменен или изменен ни один закон; эти же люди безапелляционно решают все наши имущественные отношения.

Глава VII

Великая любовь автора к своей родной стране.

Замечания хозяина относительно описанных автором английской конституции и английского правления, с приведением параллелей и сравнений.

Наблюдения хозяина над человеческой природой

Читатель будет, пожалуй, удивлен, каким образом я мог решиться изобразить наше племя в столь неприкрытом виде перед породой существ, и без того очень склонявшихся к самому неблагоприятному мнению о человеческом роде благодаря моему полному сходству с тамошними еху. Но я должен чистосердечно признаться, что сопоставление множества добродетелей этих прекрасных четвероногих с человеческой испорченностью до такой степени раскрыло мне глаза и расширило мой кругозор, что поступки и страсти человека предстали мне в совершенно новом свете, и я пришел к заключению, что не

стоит щадить честь моего племени; впрочем, мне бы это и не удалось в присутствии лица со столь проницательным умом, как мой хозяин, ежедневно изобличавший меня в тысяче пороков, которых я вовсе не замечал до сих пор и которые у нас, людей, не считались бы даже легкими недостатками. Равным образом, следуя его примеру, я воспитал в себе глубокую ненависть ко всякой лжи и притворству, и истина стала мне столь любезной, что ради нее я решил пожертвовать всем.

Но я хочу быть вполне откровенным с читателем и сознаюсь, что у меня было еще более могущественное побуждение не церемониться, изображая положение вещей у нас. Не прожив в этой стране даже года, я проникся такой любовью и уважением к ее обитателям, что принял твердое решение никогда больше не возвращаться к людям и провести остаток дней своих среди этих удивительных *гуигнгнмов*, созерцая всяческую добродетель и упражняясь в ней; в стране, где передо мной вовсе не было дурных примеров и поощрений к пороку. Но судьба, мой вечный враг, постановила не отпускать на мою долю столь великого счастья. Однако я не без удовольствия думаю сейчас, что в рассказах о моих соотече-

ственниках я тягчил их недостатки, насколько это было возможно в присутствии столь проницательного ума, и каждый пункт оборачивал так, чтобы представить его в наиболее выгодном освещении. Ибо есть разве живое существо, которое не питало бы слабости и не относилось бы пристрастно к месту своего рождения?

Я передал только самое существенное из моих многочисленных бесед с хозяином, продолжавшихся почти все время, пока я имел честь состоять у него на службе, и для краткости опустил гораздо больше, чем приведено мной здесь.

Когда я ответил на все вопросы хозяина и его любопытство было, по-видимому, вполне удовлетворено, он послал однажды рано утром за мной и, пригласив меня сесть на некотором от него расстоянии (честь, которой раньше я никогда не удостаивался), сказал, что он серьезно размышлял по поводу рассказанного мной как о себе, так и о моей родине, и пришел к заключению, что мы являемся особенной породой животных, наделенных благодаря какой-то непонятной для него случайности крохотной частицей разума, каковым мы пользуемся лишь для усугубления прирожденных нам пороков и для приобретения новых, от природы нам несвойственных.

Заглушая в себе многие дарования, которыми наделила нас она, мы необыкновенно искусны по части умножения наших первоначальных потребностей и, по-видимому, проводим всю свою жизнь в суетных стараниях удовлетворить их при помощи изобретенных нами средств. Что касается меня самого, то я, очевидно, не обладаю ни силой, ни ловкостью среднего *еху*; нетвердо хожу на задних ногах; ухитрился сделать свои когти совершенно бесполезными и непригодными для защиты и удалить с подбородка волосы, предназначенные служить прикрытием от солнца и непогоды. Наконец, я не могу ни быстро бегать, ни взбираться на деревья, подобно моим братьям (как он все время называл их), местным *еху*.

Существование у нас правительства и законов, очевидно, обусловлено большим несовершенством нашего разума, а следовательно, и добродетели; ибо для управления разумным существом достаточно одного разума; таким образом, мы, по-видимому, вовсе не притязаем на обладание им, даже если судить по моему рассказу, хотя он ясно заметил, что я стараюсь утаить многие подробности для более благоприятного представления о моих соотечественниках и часто говорю то, чего нет.

Еще более укрепился он в этом мнении, когда заметил, что — подобно полному сходству моего тела с телом *ehy*, кроме немногих отличий не в мою пользу: меньшей силы, ловкости и быстроты, коротких когтей и еще некоторых особенностей искусственного происхождения — образ нашей жизни, наши нравы и наши поступки, согласно нарисованной мной картине, обнаруживают такое же сходство между нами и *ehy* и в умственном отношении. *Ehy*, сказал он, ненавидят друг друга больше, чем животных других видов; причину этого явления обыкновенно усматривают в их внешнем безобразии, которое они видят у других представителей своей породы, но не замечают у себя самих. Поэтому он склонен считать не таким уж неразумным наш обычай покрывать тело и при помощи этого изобретения прятать друг от друга телесные недостатки, которые иначе были бы невыносимы. Но теперь он находит, что им была допущена ошибка и что причины раздоров среди этих скотов здесь, у него на родине, те же самые, что и описанные мной причины раздоров среди моих соплеменников. В самом деле (сказал он), если вы даете пятерым *ehy* корму, которого хватило бы для пятидесяти, то они, вместо того чтобы спокойно приступить к еде, затевают

драку, и каждый старается захватить все для себя. Поэтому, когда *еху* кормят вне дома, то к ним обыкновенно приставляют слугу; дома же их держат на привязи на некотором расстоянии друг от друга. Если падает корова от старости или от болезни и *гуигнгнм* не успеет вовремя взять ее труп для своих *еху*, то к ней стадами сбегаются окрестные *еху* и набрасываются на добычу; тут между ними завязываются целые сражения, вроде описанных мной; они наносят когтями страшные раны друг другу, но убивать противника им удается редко, потому что у них нет изобретенных нами смертоносных орудий. Иногда подобные сражения между *еху* соседних местностей начинаются без всякой видимой причины; *еху* одной местности всячески стараются напасть на соседей врасплох, прежде чем те успели приготовиться. Но если они терпят почему-либо неудачу, то возвращаются домой и, за отсутствием неприятеля, завязывают между собой то, что я назвал гражданской войной.

В некоторых местах этой страны попадаются разноцветные блестящие камни, к которым *еху* питают настоящую страсть; и если камни эти крепко сидят в земле, как это иногда случается, они роют когтями с утра до ночи, чтобы вырвать

их, после чего уносят свою добычу и кучами зарывают ее у себя в логовищах; они действуют при этом с крайней осторожностью, беспрестанно оглядываясь по сторонам из боязни, как бы товарищи не открыли их сокровищ. Мой хозяин никак не мог понять причину столь неестественного влечения и узнать, для чего нужны *ехи* эти камни; но теперь ему кажется, что влечение это проистекает от той самой скупости, которую я приписываю человеческому роду. Однажды, ради опыта, он потихоньку убрал кучу этих камней с места, куда один из его *ехи* зарыл их; скаредное животное, заметив исчезновение своего сокровища, подняло такой громкий и жалобный вой, что сбежалось целое стадо *ехи* и стало подвывать ему; ограбленный с яростью набросился на товарищей, стал кусать и царапать их, потом затосковал, не хотел ни есть, ни спать, ни работать, пока хозяин не приказал слуге потихоньку положить камни на прежнее место; обнаружив свои драгоценности, *ехи* сразу же оживился и повеселел, но заботливо спрятал сокровище в более укромное место и с тех пор всегда был скотиной покорной и работящей.

Хозяин утверждал также, — да я и сам это наблюдал, — что наиболее ожесточенные сраже-

ния между *еху* происходят чаще всего на полях, изобилующих блестящими камнями, потому что поля эти подвергаются постоянным нашествиям окрестных *еху*.

Когда два *еху*, продолжал хозяин, находят в поле такой камень и вступают в борьбу за обладание им, то сплошь и рядом он достается третьему, который, пользуясь случаем, схватывает и уносит его. Мой хозяин усматривал тут некоторое сходство с нашими тяжбами; щадя наше доброе имя, я не стал разубеждать его, ибо упомянутое им разрешение спора было гораздо справедливее многих наших судебных постановлений. В самом деле, здесь тяжущиеся не теряют ничего, кроме оспариваемого ими друг у друга камня, между тем как наши совестные суды никогда не прекращают дела, пока вконец не разорят обеих сторон.

Продолжая свою речь, мой хозяин сказал, что ничто так не отвратительно в *еху*, как их прожорливость, благодаря которой они набрасываются без разбора на все, что попадается им под ноги: травы, коренья, ягоды, протухшее мясо или все это вместе; и замечательной их особенностью является то, что пищу, похищенную ими или добытую грабежом где-нибудь вдали, они предпочитают гораздо лучшей пищей, приготовленной

для них дома. Если добыча их велика, они едят ее до тех пор, пока вмещает брюхо, после чего инстинкт указывает им особый корень, вызывающий радикальное очищение желудка.

Здесь попадается еще один очень сочный корень, правда, очень редко, и найти его нелегко; *еху* старательно разыскивают этот корень и с большим наслаждением его сосут; он производит на них то же действие, какое на нас производит вино. Под его влиянием они то целуются, то дерутся, ревут, гримасничают, что-то лопочут, выписывают кренделя, спотыкаются, падают в грязь и засыпают.

Я обратил внимание, что в этой стране *еху* являются единственными животными, которые подвержены болезням; однако этих болезней у них гораздо меньше, чем у наших лошадей. Все они обусловлены не дурным обращением с ними, а нечистоплотностью и обжорством этих гнусных скотов. Язык *гуигнгнмов* знает только одно общее название для всех этих болезней, образованное от имени самого животного: *гниеху*, то есть болезнь *еху*; средством от этой болезни является микстура из *кала* и *мочи* этих животных, насильно вливаемая больному *еху* в глотку. По моим наблюдениям, лекарство это приносит большую

пользу, и в интересах общественного блага я смело рекомендую его моим соотечественникам как превосходное средство против всех недомоганий, вызванных пресыщением.

Что касается науки, системы управления, искусства, промышленности и тому подобных вещей, то мой хозяин признался, что в этом отношении он не находит почти никакого сходства между *еху* его страны и нашей. А его интересовали только те черты, в которых обнаруживается сходство нашей природы. Правда, он слышал от некоторых любознательных *гуигнгнмов*, что в большинстве стад *еху* бывают своего рода правители (подобно тому как в наших парках стада оленей имеют обыкновенно своих вожаков), которые всегда являются самыми *безобразными* и *злобными* во всем стаде. У каждого такого *вожака* бывает обыкновенно фаворит, имеющий чрезвычайное с ним *сходство*, обязанность которого заключается в том, что *он лижет ноги и задницу своего господина и поставляет самок в его логовище*; в благодарность за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Этого *фаворита* ненавидит все стадо, и потому для безопасности он всегда держится возле *своего господина*. Обыкновенно он остается у власти до

тех пор, пока не найдется еще худшего; и едва только он получает отставку, как все *еху* этой области, молодые и старые, самцы и самки, во главе с его преемником, плотно обступают его и обдают с головы до ног своими испражнениями. Насколько все это приложимо к нашим *дворам, фаворитам* и *министрам*, хозяин предложил определить мне самому.

Я не осмелился возразить что-нибудь на эту злобную инсинуацию, ставившую человеческий разум ниже чутья любой охотничьей собаки, которая обладает достаточной сообразительностью, чтобы различить лай *наиболее опытного кобеля в своре* и следовать за ним, никогда при этом не ошибаясь.

Хозяин мой заметил мне, что у *еху* есть еще несколько замечательных особенностей, о которых я или не упомянул вовсе в своих рассказах о человеческой породе, или коснулся их только вскользь.

У этих животных, продолжал он, как и у прочих зверей, самки общие; но особенностью их является то, что самка *еху* подпускает к себе самца даже во время беременности и что самцы ссорятся и дерутся с самками так же свирепо, как и друг с другом. Оба эти обыкновения свидетельствуют о

таком гнусном озверении, до какого никогда не доходило ни одно одушевленное существо.

Другой особенностью *еху*, не менее поражавшей моего хозяина, было непонятное их пристрастие к нечистоплотности и грязи, в то время как у всех других животных так естественна любовь к чистоте. Что касается двух первых обвинений, то я должен был оставить их без ответа, так как, несмотря на все мое расположение к себе подобным, я не мог найти ни слова в их оправдание. Зато мне было бы нетрудно снять с моих соплеменников обвинение, будто они одни отличаются нечистоплотностью, если бы в стране *гуигнгнмов* существовали свиньи, но, к моему несчастью, их там не было. Хотя эти четвероногие более *благообразны*, чем *еху*, они, однако, по справедливости не могут, как я скромно полагаю, похвастаться большей чистоплотностью; его милость, наверное, согласился бы со мной, если бы увидел, как противно они едят и как любят валяться и спать в грязи.

Мой хозяин упомянул еще об одной особенности, которая была обнаружена его слугами у некоторых *еху* и осталась для него совершенно необъяснимой. По его словам, иногда *еху* приходит фантазия забиться в угол, лечь на землю,

выть, стонать и гнать от себя каждого, кто подойдет, несмотря на то что такие *еху* молоды, упитаны и не нуждаются ни в пище, ни в питье; слуги никак не могут взять в толк, что с ними такое. Единственным лекарством против этого недуга является тяжелая работа, которая неизменно приводит пораженного им *еху* в нормальное состояние. На этот рассказ я ответил молчанием из любви к моим соотечественникам, хотя для меня очевидно, что описанное состояние есть зачаток *хандры* — болезни, которою страдают обыкновенно только *лентяи, сластолюбцы* и *богачи* и от которой я взялся бы их вылечить, подвергнув *режиму*, применяемому в таких случаях *гуигнгнмами*.

Далее его милость сказал, что ему часто случалось наблюдать, как самка *еху*, желая поглазеть на проходящих молодых самцов, прячется за бугорок или за куст, откуда по временам выглядывает со смешными жестами и гримасами; было подмечено, что в такие минуты от нее распространяется весьма неприятный запах. Если некоторые из самцов подходят ближе, она медленно удаляется, поминутно оглядываясь, затем в притворном страхе убегает в удобное место, прекрасно зная, что самец последует туда за ней.

Если в стадо забегает чужая самка, то три или четыре представительницы ее пола окружают ее, таращат на нее глаза, что-то лепечут, скалят зубы, все ее обнюхивают и отворачиваются с жестами презрения и отвращения.

Быть может, мой хозяин немного пересолил в этих выводах из собственных наблюдений или из рассказов, слышанных от других; однако я не мог не прийти к несколько курьезному и очень прискорбному заключению, что зачатки *разврата, кокетства, придирчивости* и *злословия* прирождены всему женскому полу.

Я все ожидал услышать от моего хозяина обвинение *еху* в противоестественных наклонностях, которые так распространены у нас среди обоих полов. Однако природа, по-видимому, малоопытный наставник в этих утонченных наслаждениях, и они целиком порождены искусством и разумом на нашей части земного шара.

Глава VIII

Автор описывает некоторые особенности еху.

Великие добродетели гуигнгнмов.

Воспитание и упражнения их молодого поколения.

Их генеральное собрание

Так как я понимал природу человеческую лучше, чем, по моим предположениям, мог понимать ее мой хозяин, то мне было нетрудно приложить изображенный им характер еху к себе самому и к моим соотечественникам, и я полагал, что при помощи самостоятельных наблюдений мне удастся сделать дальнейшие открытия. Поэтому я часто просил его милость позволения посещать окрестные стада еху, на что он всегда любезно соглашался, будучи вполне уверен, что отвращение, питаемое мной к этим скотам, предохранит меня от всякого дурного влияния с их стороны; но его милость приказал одному из своих слуг, сильному гнедому лошаку, очень славному и

добродушному созданию, сопровождать меня. Без его охраны я не отважился бы предпринимать такие экскурсии: я уже рассказал читателю, какой прием оказали мне эти противные животные по прибытии моем в страну. Впоследствии я три или четыре раза чуть было не попал в их лапы, когда удалялся на некоторое расстояние от дома, не захватив с собой тесака. У меня есть основание думать, что животные эти подозревали во мне одного из себе подобных, чему я сам часто содействовал, засучивая рукава и показывая им мои обнаженные руки и грудь, когда мой охранитель находился подле меня. В таких случаях они старались подойти как можно ближе и подражали моим движениям на манер обезьян, но всегда с выражением величайшей ненависти; так дикие галки преследуют прирученную, одетую в колпачок и чулочки, если она случайно залетает в их стаю.

Еху с детства отличаются удивительным проворством. Однако раз мне удалось поймать трехлетнего самца; я всячески старался успокоить его ласками, но чертенок начал так отчаянно орать, царапаться и кусаться, что я вынужден был отпустить его, и хорошо сделал, потому что на шум сбежалось все стадо; но видя, что детеныш

невредим (он в это время удрал), а мой гнедой подле меня, *еху* не посмели подойти к нам. Я заметил, что тело молодого *еху* издает резкий кислый запах, нечто среднее между запахом хорька и лисицы, но гораздо более неприятный. Я забыл упомянуть еще об одной подробности (хотя, вероятно, читатель извинил бы меня, если бы я опустил ее совсем): когда я держал этого паршивца в руках, он загадил мне все платье своими жидкими желтыми испражнениями; к счастью, мы находились подле небольшого ручья, в котором я тщательно вымылся; однако же я не решился показаться на глаза своему хозяину до тех пор, пока платье совершенно не проветрилось.

По моим наблюдениям, *еху* являются самыми невосприимчивыми к обучению животными и не способны ни к чему больше, как только к тасканию тяжестей. Однако я думаю, что этот недостаток объясняется главным образом упрямым и недоверчивым характером этих животных. Ибо они хитры, злобны, вероломны и мстительны; они сильны и дерзки, но вместе с тем трусливы, что делает их наглыми, низкими и жестокими. Замечено, что *рыжеволосые* обоих полов более похотливы и злобны, чем остальные,

которых они значительно превосходят силой и ловкостью.

Гуигнгнмы держат *еху*, которыми они пользуются в качестве рабочего скота, в хлевах недалеко от дома; остальных же выгоняют на поля, где те роют коренья, едят различные травы, разыскивают падаль, а иногда ловят *хорьков* и *люхимухс* (вид полевой крысы), которых с жадностью пожирают. Природа научила этих животных рыть когтями глубокие норы на склонах холмов, в которых они живут поодиночке; только логовища самок побольше, так что в них могут поместиться еще два или три детеныша.

Они с детства плавают, как лягушки, и могут долго держаться под водой, где часто ловят рыбу, которую самки носят своим детенышам. Надеюсь, читатель извинит меня, если я расскажу ему в связи с этим одно странное приключение.

В одну из моих прогулок день выдался такой жаркий, что я попросил у своего гнедого провожатого позволения выкупаться в речке. Получив согласие, я тотчас разделся догола и спокойно вошел в воду. Случилось, что за мной все время наблюдала стоявшая за пригорком молодая самка *еху*. Воспламененная похотью (так объяснили мы, гнедой и я, ее действия), она стремительно подбе-

жала и прыгнула в воду на расстоянии пяти ярдов от того места, где я купался. Никогда в жизни я не был так перепуган. Гнедой щипал траву поодаль, не подозревая никакой беды. Самка обняла меня самым непристойным образом; я закричал во всю глотку, и гнедой галопом примчался ко мне на выручку; тогда она с величайшей неохотой выпустила меня из своих объятий и выскочила на противоположный берег, где стояла и выла, не спуская с меня глаз все время, пока я одевался.

Это приключение очень позабавило моего хозяина и его семью, но для меня оно было глубоко оскорбительно. Ибо теперь я не мог более отрицать, что был настоящим *ehu*, с головы до ног, раз их самки чувствовали естественное влечение ко мне как к представителю той же породы. Вдобавок эта самка не была рыжая (что могло бы служить некоторым оправданием ее несколько беспорядочных инстинктов), но смуглая, как ягода терновника, и не отличалась таким безобразием, как большинство самок *ehu*; на вид ей было не более одиннадцати лет.

Так как я прожил в этой стране целых три года, то читатель, наверное, ожидает, что, по примеру других путешественников, я дам ему подробное описание нравов и обычаев туземцев, которые

действительно были главным предметом моего изучения.

Так как благородные *гуигнгнмы* от природы одарены общим предрасположением ко всем добродетелям и не имеют ни малейшего понятия о том, что такое зло в разумном существе, то основным правилом их жизни является совершенствование *разума* и полное подчинение его руководству. Для них разум не является, как для нас, инстанцией проблематической, снабжающей одинаково правдоподобными доводами за и против; наоборот, он действует на мысль с непосредственной убедительностью, как это и должно быть, когда он не осложнен, не затемнен и не обесцвечен страстью и интересом. Я помню, какого труда стоило мне растолковать моему хозяину значение слова *мнение* или каким образом утверждение может быть спорным; ведь разум учит нас утверждать или отрицать только то, в чем мы уверены, а чего не знаем, того не вправе ни утверждать, ни отрицать. Таким образом, споры, пререкания, прения и упорное отстаивание ложных или сомнительных положений суть пороки, неизвестные *гуигнгнмам*. Равным образом, когда я попытался разъяснить ему наши различные системы *естественной философии*,

он засмеялся и выразил недоумение, каким образом существо, притязающее на разумность, может вменять себе в заслугу знание домыслов других существ, притом относительно вещей, где это знание, даже если бы оно было достоверно, не могло бы иметь никакого практического значения. В этом отношении мысли его вполне согласовались с изречениями Сократа, как они переданы Платоном, и мне кажется, что, упоминая об этом, я оказываю величайшую честь царю философов. С тех пор я часто думал, какие опустошения произвела бы эта доктрина в библиотеках Европы и сколько путей к славе было бы закрыто для ученого мира.

Дружба и *доброжелательство* являются двумя главными добродетелями *гуигнгнмов*, и они не ограничиваются отдельными особями, но простираются на всю расу. Таким образом, чужестранец из самых далеких мест встречает здесь такой же прием, как и самый близкий сосед, и, куда бы он ни пришел, везде чувствует себя как дома. *Гуигнгнмы* строго соблюдают приличия и учтивость, но они совершенно незнакомы с тем, что мы называем *этикетом*. Они не балуют своих жеребят, но заботы, проявляемые родителями по отношению к воспитанию детей, диктуются

исключительно разумом. И я заметил, что мой хозяин так же ласково относится к детям соседа, как и к своим собственным. *Гуигнгнмы* думают, что *природа* учит их одинаково любить всех подобных им и один только разум устанавливает различие между индивидуумами соответственно высоте их добродетели.

Мать семейства *гуигнгнмов*, произведя на свет по одному ребенку обоего пола, прекращает супружеские отношения, — кроме тех случаев, когда почему-либо теряет одного из своих питомцев, что бывает очень редко; но в подобных случаях супруги возобновляют отношения, или, если супруга больше не способна к деторождению, другая пара дает осиротелым родителям одного из своих жеребят, а сама снова сходится, пока мать не забеременеет. Такая предосторожность является необходимою, чтобы предохранить страну от перенаселения. Но *гуигнгнмы* низшей породы не так строго ограничены в этом отношении; им разрешается производить по три детеныша обоего пола, которые становятся потом слугами в благородных семьях.

При заключении браков *гуигнгнмы* тщательно заботятся о таком подборе мастей супругов, чтобы были предотвращены неприятные сочетания

красок у потомства. У самца ценится по преимуществу сила, а у самки *миловидность* — ценится не в интересах любви, а ради предохранения расы от вырождения; поэтому, если случится, что самка отличается силой, то при выборе ей супруга обращают внимание прежде всего на красоту. Волокитство, любовь, подарки, приданое, вдовьи доли совершенно неизвестны *гуигнгнмам*, и на языке вовсе не существует слов для выражения этих понятий. Молодая пара встречается и сочетается браком просто для исполнения воли родителей и друзей; подобные браки совершаются на ее глазах ежедневно, и молодые смотрят на них как на необходимое действие всякого разумного существа. Такие вещи, как развод или прелюбодеяние, там неслыханны, и супружеская чета проходит свой жизненный путь с теми же дружескими чувствами и взаимным доброжелательством, какие она питает ко всем представителям своего племени, встречающемся на ее пути; им неизвестны ревность, припадки нежности, ссоры и досада друг на друга.

Их система воспитания юношества обоего пола поистине удивительна и вполне заслуживает нашего подражания. Молодым *гуигнгнмам* не дают ни зернышка овса, кроме некоторых дней,

пока они не достигнут восемнадцати лет; им позволяют пить молоко только в самых редких случаях. Летом они пасутся два часа утром и два часа вечером, подобно своим родителям; но слугам разрешается пастись только половину этого времени, и большая часть корма приносится им домой, где они и поедают его в свободные от работы часы.

Умеренность, трудолюбие, физические упражнения и *опрятность* суть вещи, равно обязательные для молодежи обоего пола; и мой хозяин находил уродливым наш обычай давать самкам воспитание, отличное от воспитания самцов, исключая только ведение домашнего хозяйства; вследствие этого, по его справедливому замечанию, половина нашего населения годна только на то, чтобы рожать детей; доверять же заботу о наших детях таким никчемным животным — значит, прибавил он, давать лишнее свидетельство нашей дикости.

Гуигнгнмы развивают в молодежи силу, прыткость и смелость, упражняя жеребят в бегании по крутым подъемам и твердой каменистой почве; затем, когда они бывают в мыле, их заставляют окунуться с головой в пруду или в реке. Четыре раза в год молодежь определенного округа со-

бирается, чтобы показать свои успехи в беганье, прыганье и других упражнениях, требующих силы и ловкости. Победитель или победительница награждаются сочиненным в честь их гимном. В день такого празднества слуги пригоняют на арену стадо *еху*, нагруженных сеном, овсом и молоком для угощения *гуигнгнмов*, после чего эти животные немедленно прогоняются, чтобы вид их не вызывал отвращения у собрания.

Через каждые четыре года в *весеннее равноденствие* здесь происходит совет представителей всей нации, собирающийся на равнине в двадцати милях от дома моего хозяина и продолжающийся пять или шесть дней. На этом совете обсуждается положение различных округов: достаточно ли они снабжены сеном, овсом, коровами и *еху*. И если в этом отношении оказывается недостаток (что случается очень редко), он тотчас пополняется общими взносами, которые всегда принимаются единодушно. На этом же совете производится распределение детей. Например, если у какого-нибудь *гуигнгнма* два самца, то он меняется с другим, у которого две самки; и если какая-нибудь семья лишилась ребенка, а мать его не может больше рожать детей, то собрание решает, какая другая семья в округе должна

произвести на свет нового ребенка, чтобы восполнить потерю.

Глава IX

Большие прения в генеральном собрании гуигнгнмов и как они окончились.

Знания гуигнгнмов. Их постройки.

Обряды погребения. Недостатки их языка

Одно из таких больших собраний происходило во время моего пребывания в стране, месяца за три до моего отъезда; мой хозяин участвовал в нем в качестве представителя от нашего округа. На этом собрании обсуждался давнишний больной вопрос, можно сказать, единственный вопрос, вызывавший разногласия у гуигнгнмов. По возвращении домой мой хозяин подробно рассказал мне обо всем, что там происходило.

Вопрос, поставленный на обсуждение, был: не следует ли стереть *еху* с лица земли? Один из членов собрания, высказывавшийся за положительное решение вопроса, привел ряд сильных и веских доводов в защиту своего мнения. Он утверждал, что *еху* являются не только самыми грязными, гнусными и безобразными животны-

ми, каких когда-либо производила природа, но отличаются также крайним упрямством, непослушанием, злобой и мстительностью; что, не будь за ними постоянного надзора, они тайком сосали бы молоко у коров, принадлежащих *гуигнгнмам*, убивали бы и пожирали их кошек, вытаптывали бы овес и траву и совершали тысячу других безобразий. Он напомнил собранию общераспространенное предание, гласившее, что *еху* не всегда существовали в стране, но много лет тому назад на одной горе завелась пара этих животных, и были ли они порождены действием солнечного тепла на разлагающуюся тину или грязь или образовались из ила и морской пены — осталось навсегда неизвестно; что эта пара начала размножаться, и ее потомство скоро стало так многочисленно, что наводнило и загадило всю страну; что для избавления от этого бедствия *гуигнгнмы* устроили генеральную облаву, в результате которой им удалось оцепить все стадо этих тварей; истребив взрослых, *гуигнгнмы* забрали каждый по два детеныша, поместили их в хлевах и приручили, насколько вообще может быть приручено столь дикое животное; им удалось научить их таскать и возить тяжести. В означенном предании есть, по-видимому, много

правды, так как нельзя себе представить, чтобы эти создания могли быть *илнгниамши* (или *аборигенами* страны), — так велика ненависть к ним не только *гуигнгнмов*, но и всех вообще животных, населяющих страну; и хотя эта ненависть вполне заслужена их злобными наклонностями, все же она никогда бы не достигла таких размеров, если бы *еху* были исконными обитателями, иначе они давно бы уже были истреблены. Оратор заявил, что *гуигнгнмы* поступили крайне неблагоразумно, задумав приручить *еху* и оставив в пренебрежении ослов, красивых, нетребовательных животных, более смирных и добронравных, не издающих дурного запаха и вместе с тем достаточно сильных, хотя и уступающих *еху* в ловкости; правда, крик их не очень приятен, но все же он гораздо выносимее ужасного воя *еху*.

После того как еще несколько членов собрания высказали свои мнения по этому поводу, мой хозяин внес предложение, основная мысль которого была внушена ему мной. Он считал достоверным предание, приведенное выступавшим здесь почтенным членом собрания, но утверждал, что двое *еху*, впервые появившиеся в их стране, прибыли к ним из-за моря; что они были покинуты товарищами и, высадившись на берег, укрылись

в горах; затем, из поколения в поколение, потомки их вырождались и с течением времени сильно одичали по сравнению со своими одноплеменниками, живущими в стране, откуда прибыли двое их прародителей. В подкрепление своего мнения он сослался на то, что с некоторого времени у него живет один удивительный *еху* (он подразумевал меня), о котором большинство собрания слышало и которого многие даже видели. Тут хозяин рассказал, как он нашел меня; он сообщил, что все мое тело покрыто искусственным изделием, состоящим из кожи и шерсти других животных; что я владею даром речи и в совершенстве изучил язык *гуигнгнмов*; что я изложил ему события, которые привели меня сюда; что он видел меня без покровов и нашел, что я вылитый *еху*, только кожа моя побелее, волос меньше да когти покороче. Он передал далее собранию, как я пытался убедить его, будто на моей родине и в других странах *еху* являются господствующими разумными животными и держат *гуигнгнмов* в рабстве; как он наблюдал у меня все качества *еху*, хотя я и являюсь существом немного более цивилизованным благодаря слабым проблескам разума; впрочем, в этом отношении я стою настолько же ниже *гуигнгнмов*, насколько возвышаюсь

над здешними *еху*. Он упомянул о рассказанном ему мной нашем обычае холощения молодых *гуигнгнмов* с целью сделать их более смирными и заявил, что операция эта легкая и безопасная и что нет ничего постыдного учиться мудрости у животных, например, трудолюбию у муравья, а строительному искусству у ласточки (так я передаю слово *лиханнх*, хотя это гораздо более крупная птица); что операцию эту можно применить здесь к молодым *еху* и она не только сделает их более послушными и пригодными для работ, но и положит конец в течение одного поколения целому племени, так что не придется прибегать к лишению их жизни; а тем временем хорошо бы *гуигнгнмам* заняться воспитанием ослов, которые не только являются животными во всех отношениях более ценными, но обладают еще тем преимуществом, что могут работать с пяти лет, тогда как *еху* ни к чему не пригодны раньше двенадцати.

Вот все, что в тот раз счел уместным сообщить мне хозяин относительно прений в Большом совете. Но ему угодно было утаить одну частность, касавшуюся лично меня, пагубные последствия которой я вскоре почувствовал, как об этом узнает читатель в свое время. Тот день я считаю началом

всех последующих несчастий моей жизни.

У *гуигнгнмов* нет письменности, и поэтому все их знания сохраняются путем предания. Но так как в жизни народа, столь согласного, от природы расположенного ко всяческой добродетели, управляемого исключительно разумом и отрезанного от всякого общения с другими нациями, происходит мало сколько-нибудь важных событий, то его история легко удерживается в памяти, не обременяя ее. Я уже заметил, что *гуигнгнмы* не подвержены никаким болезням и поэтому не нуждаются во врачах; однако у них есть отличные лекарства, составленные из трав, которыми они лечат случайные ушибы и порезы бабки и стрелки об острые камни, равно как повреждения и поранения других частей тела.

Они считают годы и месяцы по обращениям солнца и луны, но у них нет подразделения времени на недели. Они достаточно хорошо знакомы с движением этих двух светил и понимают природу затмений; это — предельное достижение их астрономии.

Зато нужно признать, что в поэзии они превосходят всех остальных смертных: меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Стихи их изоби-

луют обоими качествами, и темой их является либо возвышенное изображение дружбы и доброжелательства, либо восхваление победителей на бегах или в других телесных упражнениях. Постройки их, несмотря на свою большую грубость и незатейливость, не лишены удобства и отлично приспособлены для защиты от зноя и стужи. У них растет одно дерево, которое, достигнув сорока лет, делается шатким у корня и рушится с первой бурей; заострив совершенно прямой ствол этого дерева отточенным камнем (употребление железа им неизвестно), *гуигнгнмы* втыкают полученные таким образом колья в землю на расстоянии десяти дюймов друг от друга и переплетают их овсяной соломой или прутьями. Крыша и двери делаются таким же способом.

Гуигнгнмы пользуются углублением между бабкой и копытом передних ног так же, как мы пользуемся руками, и проявляют при этом ловкость, которая сначала казалась мне совершенно невероятной. Я видел, как белая кобыла из нашего дома вдела таким образом нитку в иголку (которую я дал ей, чтобы произвести опыт). Они доят коров, жнут овес и исполняют всю работу, которую мы делаем руками. При помощи особенного твердого кремня они обтачивают другие

камни и выделывают клинья, топоры и молотки. Орудиями, изготовленными из этих кремней, они косят также сено и жнут овес, который растет здесь на полях, как трава. *Еху* привозят снопы с поля в телегах, а слуги топчут их ногами в особых крытых помещениях, вымолачивая зерно, которое хранится в амбарах. Они выделывают грубую глиняную и деревянную посуду и обжигают первую на солнце.

Если не происходит несчастного случая, *гуигнгнмы* умирают только от старости, и их хоронят в самых глухих и укромных местах, какие только можно найти. Друзья и родственники покойного не выражают ни радости, ни горя, а сам умирающий не обнаруживает ни малейшего сожаления, покидая этот мир, словно он возвращается домой из гостей от какого-нибудь соседа. Помню, как однажды мой хозяин пригласил к себе своего друга с семьей по одному важному делу: в назначенный день явилась только жена друга с двумя детьми, притом поздно вечером; она извинилась прежде всего за мужа, который, по ее словам, сегодня утром *схнувнх*. Слово это очень выразительно на тамошнем языке, но нелегко поддается переводу; буквально оно означает *возвратиться к своей праматери*. Потом она извинилась за

себя, сказав, что муж ее умер утром и она долго совещалась со слугами относительно того, где бы удобнее положить его тело; и я заметал, что она была такая же веселая, как и все остальные. Через три месяца она умерла.

Гуигнгнмы живут обыкновенно до семидесяти или семидесяти пяти лет, очень редко до восьмидесяти. За несколько недель до смерти они чувствуют постепенный упадок сил, но он не сопровождается у них страданиями. В течение этого времени их часто навещают друзья, потому что они не могут больше выходить из дому с обычной своей легкостью и непринужденностью. Однако за десять дней до смерти — срок, в исчислении которого они редко ошибаются, — *гуигнгнмы* возвращают визиты, сделанные им ближайшими соседями; они садятся при этом в удобные сани, запряженные *еху*. Кроме этого случая, они пользуются такими санями только в глубокой старости, при далеких путешествиях или когда им случается повредить ноги. И вот, отдавая последние визиты, умирающие *гуигнгнмы* торжественно прощаются со своими друзьями, словно отправляясь в далекую страну, где они решили провести остаток своей жизни.

Не знаю, стоит ли отметить, что в языке *гуигнгн-*

мов нет слов, выражающих что-либо относящееся ко злу, исключая тех, что обозначают уродливые черты или дурные качества *еху*. Таким образом, рассеянность слуги, проступок ребенка, камень, порезавший ногу, ненастную погоду и тому подобные вещи они обозначают прибавлением к слову эпитета *еху*. А именно: *гхнм еху, гвнаголъм еху, инлхмндвиглма еху*, а плохо построенный дом называют *инголмгнмроглнв еху*.

Я с большим удовольствием дал бы более обстоятельное описание нравов и добродетелей этого превосходного народа; но, намереваясь опубликовать в близком будущем отдельную книгу, посвященную исключительно этому предмету, я отсылаю читателя к ней. Теперь же перехожу к изложению постигшей меня печальной катастрофы.

Глава X

Домашнее хозяйство автора и его счастливая жизнь среди гуигнгнмов. Он совершенствуется в добродетели благодаря общению с ними. Их беседы.

Хозяин объявляет автору, что он должен покинуть страну.

От горя он лишается чувств, но подчиняется.

С помощью товарища-слуги ему удается смастерить лодку; он пускается в море наудачу

Я устроил мое маленькое хозяйство по своему вкусу. Хозяин велел отделать для меня помещение по тамошнему образцу в шести ярдах от дома. Стены и пол моей комнаты я обмазал глиной и покрыл камышовыми матами собственного изготовления. Я набрал конопли, которая растет там в диком состоянии, натрепал ее и смастерил что-то вроде чехла для матраса. Я наполнил его перьями птиц, пойманных мною в силки из волос еху и очень приятных на вкус. Я соорудил

себе два стула при деятельной помощи гнедого лошака, взявшего на себя всю более тяжелую часть работы. Когда платье мое износилось и превратилось в лохмотья, я сшил себе новое из шкурок кроликов и других красивых зверьков приблизительно такой же величины, называемых ннухнях и покрытых очень нежным пухом. Из таких же шкурок я сделал себе очень сносные чулки. Я снабдил свои башмаки деревянными подошвами, подвязав их к верхам, а когда износились верхи, я заменил их подсушенной на солнце кожей еху. В дуплах деревьев я часто находил мед, который разводил водой или ел его со своим овсяным хлебом. Никто лучше меня не познал истинности двух афоризмов: природа довольствуется немногим, и нужда — мать изобретательности. Я наслаждался прекрасным телесным здоровьем и полным душевным спокойствием; мне нечего было бояться предательства или непостоянства друга и обид тайного или явного врага. Мне не приходилось прибегать к подкупу, лести и сводничеству, чтобы снискать милости великих мира и их фаворитов. Мне не нужно было ограждать себя от обмана и насилия; здесь не было ни врачей, чтобы разрушить мое тело, ни юристов, чтобы разорить меня, ни

доносчиков, чтобы подслушивать мои слова, или подглядывать мои действия, или возводить на меня ложные обвинения за плату; здесь не было зубоскалов, пересудчиков, клеветников, карманных воров, разбойников, взломщиков, стряпчих, сводников, шутов, игроков, политиканов, остряков, ипохондриков, скучных болтунов, спорщиков, насильников, убийц, мошенников, виртуозов; не было лидеров и членов политических партий и кружков; не было пособников порока соблазнами и примером; не было тюрем, топоров, виселиц, наказания кнутом и позорным столбом; не было обманщиков-купцов и плутов-ремесленников; не было чванства, тщеславия, притворной дружбы; не было франтов, буянов, пьяниц, проституток и венерических болезней; не было сварливых, бесстыдных, расточительных жен; не было тупых, спесивых педантов; не было назойливых, вздорных, шумливых, крикливых, пустых, самомнящих, бранчливых сквернословов-приятелей; не было негодяев, поднявшихся из грязи благодаря своим порокам, и благородных людей, брошенных в грязь за свои добродетели; не было вельмож, скрипачей, судей и учителей танцев.

Я имел честь быть допущенным к *гуигнгнмам*,

приходившим в гости к моему хозяину; и его милость любезно позволял мне присутствовать в комнате и слушать их беседу. И он и его гости часто снисходительно задавали мне вопросы и выслушивали мои ответы. Иногда я удостаивался чести сопровождать моего хозяина при его визитах. Я никогда не позволял себе выступать с речью и только отвечал на задаваемые вопросы, притом с искренним сожалением, что приходится терять много времени, которое я мог бы с пользой употребить на свое совершенствование: но мне доставляла бесконечное наслаждение роль скромного слушателя при этих беседах, где говорилось только о деле и мысли выражались в очень немногих, но весьма полновесных словах; где (как я сказал уже) соблюдалась величайшая пристойность без малейшей церемонности; где речи говорящего всегда доставляли удовольствие как ему самому, так и его собеседникам; где не перебивали друг друга, не скучали, не горячились, где не было расхождения мнений. *Гуигнгнмы* полагают, что разговор в обществе хорошо прерывать краткими паузами, и я нахожу, что они совершенно правы, ибо во время этих небольших перерывов в умах их рождались новые мысли, которые очень оживляли беседу. Обычными те-

мами ее являлись дружба и доброжелательство, порядок и благоустройство; иногда — видимые явления природы или преданья старины; пределы и границы добродетели, непогрешимые законы разума или какие-либо постановления, которые предстояло принять на ближайшем большом собрании; часто также различные красоты поэзии. Могу прибавить без тщеславия, что достаточный материал для разговора часто давало им мое присутствие, которое служило для хозяина поводом рассказать друзьям повесть моей жизни и описать мою родину; выслушав его, они изволили отзываться не очень почтительно о человеческом роде; по этой причине я не буду повторять, что они говорили.

Я лишь позволю себе заметить, что его милость, к великому моему удивлению, постиг природу *еху* всех стран, по-видимому, гораздо лучше, чем я сам. Он перечислял все наши пороки и безрассудства и открывал много таких, о которых я никогда не упоминал ему; для этого ему достаточно бывало предположить, на что оказались бы способны *еху* его родины, если бы были наделены малой частицей разума; и он заключал с весьма большим правдоподобием, сколь презренным и жалким должно быть такое создание.

Я чистосердечно сознаюсь, что все мои скудные знания, имеющие какую-нибудь ценность, я почерпнул из мудрых речей моего хозяина и из его бесед с друзьями; и я бы с большей гордостью внимал им, чем приковывал к себе внимание величайшего и мудрейшего парламента Европы. Я удивлялся силе, красоте и быстроте обитателей этой страны; и столь редкое соединение добродетелей в столь обходительных существах наполняло меня глубочайшим уважением. Сначала я, правда, не испытывал того естественного благоговения, которым проникнуты к ним *ehu* и все другие животные, но постепенно это чувство овладело мной, притом гораздо скорее, чем я предполагал; оно соединилось с почтительной любовью и живой признательностью за то, что они удостоили выделить меня из остальных представителей моей породы.

Когда я думал о моей семье, моих друзьях и моих соотечественниках или о человеческом роде вообще, то видел в людях, в их внешности и душевном складе то, чем они были на самом деле, — *ehu*, может быть, несколько более цивилизованных и наделенных даром слова, но употребляющих свой разум только на развитие и умножение пороков, которые присущи

их братьям из этой страны лишь в той степени, в какой их наделила ими природа. Когда мне случалось видеть свое отражение в озере или в ручье, я с ужасом отворачивался и наполнялся ненавистью к себе; вид обыкновенного *еху* был для меня выносимее, чем вид моей собственной особы. Благодаря постоянному общению с *гуигнгнмами* и восторженному отношению к ним я стал подражать их походке и телодвижениям, которые вошли у меня теперь в привычку, так что друзья часто без церемонии говорят мне, что я *бегаю как лошадь*, но я принимаю эти слова как очень лестный для себя комплимент. Не стану также отрицать, что в разговоре я склонен подражать интонациям и манерам *гуигнгнмов* и без малейшей обиды слушаю насмешки над собой по этому поводу.

Посреди всего этого благоденствия, когда я считал себя устроившимся на всю жизнь, мой хозяин прислал за мной однажды утром немного раньше, чем обыкновенно. По лицу его я заметил, что он был в некотором смущении и раздумывал, как приступить к своей речи. После непродолжительного молчания он сказал мне, что не знает, как я отнесусь к тому, что он собирается сказать. На последнем генеральном собрании, когда был

поставлен вопрос об *еху*, представители нации сочли за оскорбление то, что он держит в своем доме *еху* (они подразумевали меня) и обращается с ним скорее как с *гуигнгнмом*, чем как с диким животным. Им известно, что он часто разговаривает со мной, словно находя какую-нибудь пользу или удовольствие в моем обществе. Такое поведение противно разуму и природе и является вещью, никогда раньше неслыханной у них. Поэтому собрание увещевает его либо обходиться со мной, как с остальными представителями моей породы, либо приказать мне отплыть туда, откуда я прибыл. Первое предложение было решительно отвергнуто всеми *гуигнгнмами*, когда-либо видевшими меня и разговаривавшими со мной, на том основании, что, обладая некоторыми зачатками разума и природной порочностью этих животных, я вполне способен сманить *еху* в покрытую лесом горную часть страны и стаями приводить их ночью для нападения на домашний скот *гуигнгнмов*, что так естественно для породы прожорливой и питающей отвращение к труду.

Мой хозяин добавил, что окрестные *гуигнгнмы* ежедневно побуждают его привести в исполнение увещание собрания и он не может больше откладывать. Он сомневался, чтобы я был в си-

лах доплыть до какой-нибудь другой страны, и выражал поэтому желание, чтобы я соорудил себе повозку, вроде тех, что я ему описывал, на которой мог бы ехать по морю; в этой работе мне окажут помощь как его собственные слуги, так и слуги его соседей. Что же касается его самого, заключил свою речь хозяин, то он был бы согласен держать меня у себя на службе всю мою жизнь, ибо он находит, что я излечился от некоторых дурных привычек и наклонностей, всячески стараясь подражать *гуигнгнмам*, насколько это по силам моей низменной природе.

Я должен обратить внимание читателя, что постановления генерального собрания этой страны называются здесь *гнглоайн*, что в буквальном переводе обозначает увещание, ибо *гуигнгнмы* не понимают, каким образом разумное существо можно принудить к чему-нибудь; можно только советовать ему, увещевать его; и кто не повинуется разуму, тот не вправе притязать на звание разумного существа.

Речь его милости крайне меня огорчила и повергла в полное отчаяние; не будучи в силах вынести постигшее меня горе, я упал в обморок у ног хозяина, который подумал, что я умер, как он признался мне, когда я очнулся (ибо *гуигнгн-*

мы не подвержены таким слабостям). Я отвечал еле слышным голосом, что смерть была бы для меня слишком большим счастьем; что, хотя я нисколько не осуждаю увещание собрания и настойчивость его друзей, все же, как мне кажется, по слабому моему и порочному разумению, решение могло бы быть и менее суровым, оставаясь совместимым с разумом; что я не мог бы проплыть и лиги, между тем как до ближайшего материка или острова, вероятно, больше ста лиг; что многих материалов, необходимых для сооружения маленького судна, на котором я мог бы отправиться в путь, вовсе нет в этой стране; но что я все же сделаю попытку в знак повиновения и благодарности его милости, хотя считаю предприятие безнадежным и, следовательно, смотрю на себя как на человека, обреченного гибели; что перспектива верной смерти является наименьшим из зол, которым я подвергаюсь, ибо — если даже допустить, что каким-либо чудом мне удастся спасти свою жизнь — каким образом могу я примириться с мыслью проводить дни свои среди *еху* и снова впасть в свои старые пороки, не имея перед глазами примеров, наставляющих меня и удерживающих на путях добродетели. Однако я прекрасно знаю, что все решения муд-

рых *гуигнгнмов* покоятся на очень прочных основаниях, и не мне, жалкому *еху*, поколебать их своими доводами; поэтому, выразив хозяину мою нижайшую благодарность за предложение дать мне в помощь своих слуг при сооружении судна и испросив достаточное время для такой трудной работы, я сказал ему, что постараюсь сохранить постылую жизнь, и если возвращусь в Англию, то питаю надежду принести пользу своим соотечественникам, восхваляя достославных *гуигнгнмов* и выставляя их добродетели как образец для подражания человеческого рода.

Его милость в немногих словах очень любезно ответил мне и предоставил два месяца на постройку лодки; он приказал гнедому лошаку, моему товарищу-слуге (ибо на столь далеком расстоянии я вправе называть его так), исполнять мои распоряжения, так как я сказал хозяину, что помощи одного работника мне будет достаточно и я знаю, что гнедой очень расположен ко мне.

Я начал с того, что отправился с ним на берег, где мой взбунтовавшийся экипаж приказал мне высадиться. Я взошел на холм и, осмотрев кругом море, как будто заметил на северо-востоке небольшой остров; я вынул тогда подзорную трубу и мог ясно различить его; по моим пред-

положениям, он находился на расстоянии около пяти лиг. Однако для гнедого остров был просто синеватым облаком: не имея никакого понятия о существовании других стран, он не мог различать отдаленные предметы на море с таким искусством, как мы, люди, так много общающиеся с этой стихией.

Открыв остров, я не делал дальнейших изысканий и решил, что он будет, если возможно, первым пристанищем в моем изгнании, предоставляя дальнейшее судьбе.

Я вернулся домой и, посоветовавшись с гнедым лошаком, отправился с ним в близлежащую рощу, где я своим ножом, а он острым кремнем, очень искусно прикрепленным по тамошнему способу к деревянной рукоятке, нарезали много дубовых веток толщиной с обыкновенную палку и несколько более крупных. Но я не буду утомлять читателя подробным описанием моих работ; достаточно будет сказать, что в течение шести недель с помощью гнедого лошака, выполнившего более тяжелую часть работы, я соорудил нечто вроде индейской пироги, только гораздо более крупных размеров, и покрыл ее шкурками *еху*, крепко сшитыми одна с другой пеньковыми нитками моего собственного изготовления. Парус

точно так же я сделал из шкур упомянутых животных, выбрав для этого те, что принадлежали самым молодым из них, так как шкуры старых *еху* были слишком грубыми и толстыми: я заготовил также четыре ветла, сделал запас вареного мяса кроликов и домашней птицы и взял с собой два сосуда — один наполненный молоком, а другой — пресной водой.

Я испытал свою пирогу в большом пруду подле дома моего хозяина и исправил все обнаружившиеся в ней изъяны, замазав щели жиром *еху* и приведя ее в такое состояние, чтобы она могла вынести меня и мой груз. Сделав все, что было в моих силах, я погрузил лодку на телегу, и она очень осторожно была отвезена *еху* на морской берег, под наблюдением гнедого лошака и еще одного слуги.

Когда все было готово и наступил день отъезда, я простился с моим хозяином, его супругой и всем семейством; глаза мои были наполнены слезами и сердце изнывало от горя. Но его милость, отчасти из любопытства, а отчасти, может быть, из доброжелательства (если только я вправе сказать так без тщеславия), пожелал увидеть меня в моей пироге и попросил нескольких своих соседей сопровождать его. Около часа мне пришлось

подождать прилива; заметив, что ветер очень благоприятно дует по направлению к острову, куда я решил держать путь, я вторично простился с моим хозяином; но когда я собирался пасть ниц, чтобы поцеловать его копыто, он оказал мне честь, осторожно подняв его к моим губам. Мне известны нападки, которым я подвергся за упоминание этой подробности. Моим клеветникам угодно считать невероятным, чтобы столь знатная особа снизошла до оказания подобного благоволения такому ничтожному существу, как я. Мне памятна также наклонность некоторых путешественников хвастаться оказанными им необыкновенными милостями. Но если бы эти критики были больше знакомы с благородством и учтивостью *гуигнгнмов*, они скоро переменили бы свое мнение.

Засвидетельствовав свое почтение остальным *гуигнгнмам*, сопровождавшим его милость, я сел в пирогу и отчалил от берега.

Глава XI

Опасное путешествие автора.

Он прибывает в Новую Голландию, рассчитывая поселиться там. Один из туземцев ранит его стрелой из лука.

Его схватывают и насильно сажают на португальский корабль.

Очень любезное обращение с ним капитана.

Автор возвращается в Англию

Я начал это безнадежное путешествие 15 февраля 1714 года в девять часов утра. Ветер был попутный; тем не менее сначала я пользовался только веслами; но, рассудив, что гребля скоро меня утомит, а ветер может измениться, я отважился поставить свой маленький парус; таким образом, при содействии отлива, я шел, по моим предположениям, со скоростью полутора лиг в час. Мой хозяин и его друзья оставались на берегу, пока я совсем почти не скрылся из виду; и до меня часто доносились возгласы гнедого лошака (кото-

рый всегда любил меня): гнуй илла ниха мэйджах еху (береги себя хорошенько, милый еху).

Намерением моим было открыть, если удастся, какой-нибудь необитаемый островок, где бы я мог добывать средства к существованию собственным трудом; подобная жизнь больше прельщала меня, чем пост первого министра при самом лощеном европейском дворе: столь ужасной казалась мне мысль возвратиться в общество *еху* и жить под их властью. Ибо в желанном мною уединении я мог, по крайней мере, размышлять о добродетелях неподражаемых *гуигнгнмов*, не подвергаясь опасности снова погрязнуть в пороках и разврате моего племени.

Читатель, может быть, помнит рассказ мой о том, как матросы составили против меня заговор и заключили меня в капитанской каюте; как я оставался там несколько недель, не зная, в каком направлении мы едем, и как матросы, высадившие меня на берег, с клятвами, искренними или притворными, уверяли меня, что они и сами не знают, в какой части света мы находимся. Однако я считал тогда, что мы плывем градусах в десяти к югу от мыса Доброй Надежды или под 45° южной широты. Я заключил об этом на основании случайно подслушанных нескольких слов между

матросами об их намерении идти на Мадагаскар и о том, что мы находимся к юго-западу от этого острова. Хотя это было простой догадкой, все же я решил держать курс на восток, надеясь достигнуть юго-западных берегов Новой Голландии, а может быть, желанного мной острова к западу от этих берегов. Ветер все время был западный, и в шесть часов вечера, когда, по моим расчетам, мной было пройдено на восток, по крайней мере, восемнадцать лиг, я заметил в полумиле от себя маленький островок, которого вскоре достиг.

Это был голый утес с бухточкой, размытой в нем бурями. Поставив в ней свою пирогу, я взобрался на утес и ясно различил на востоке землю, тянувшуюся с юга на север. Ночь я провел в пироге, а рано поутру снова отправился в путь и в семь часов достиг юго-восточного берега Новой Голландии. Это утвердило меня в давнишнем моем мнении, что карты помещают эту страну, по крайней мере, градуса на три восточнее, чем она лежит в действительности; много лет тому назад я высказал это предположение моему уважаемому другу мистеру Герману Моллю, подкрепив его рядом доводов, но он предпочел следовать мнению других авторитетов.

Я не заметил туземцев у места, где я высадился,

и так как со мной не было оружия, то не решался углубляться внутрь материка. На берегу я нашел несколько ракушек и съел их сырыми, не рискнув развести огонь из боязни привлечь к себе внимание туземцев. Три дня питался я устрицами и другими ракушками, чтобы сберечь надольше мою провизию; к счастью, я нашел ручеек с пресной водой, которая сильно подкрепила меня.

На четвертый день, отважившись пройти немножко дальше в глубь материка, я увидел на возвышенности двадцать или тридцать туземцев, приблизительно в пятистах ярдах от меня. Все они — мужчины, женщины и дети — были совершенно голые и сидели, должно быть, около костра, насколько я мог заключить по густому дыму. Один из них заметил меня и указал другим; тогда пятеро мужчин направились ко мне, оставив женщин и детей у костра. Я со всех ног пустился наутек к берегу, бросился в лодку и отчалил. Дикари, увидя, что я убегаю, помчались за мной и, прежде чем я успел отъехать на достаточно далекое расстояние, пустили мне вдогонку стрелу, которая глубоко вонзилась мне в левое колено (шрам от раны останется у меня до могилы). Я испугался, как бы стрела не оказалась отравленной; поэтому, усиленно заработав весла-

ми и оказавшись за пределами досягаемости их выстрелов (день был очень тихий), я старательно высосал рану и кое-как перевязал ее.

Я был в нерешительности, что мне предпринять, опасаясь вернуться к месту, где я высадился, и взял курс на север, причем был вынужден идти на веслах, потому что ветер был хотя и незначительный, но встречный, северо-западный. Осматриваясь кругом в поисках удобного места для высадки, я заметил на северо-северо-востоке парус, который с каждой минутой обрисовывался все явственнее; я был в некотором сомнении, поджидать ли его или нет; однако в конце концов моя ненависть к породе *еху* превозмогла, и, повернув пирогу, я на парусе и веслах направился к югу и вошел в ту же бухточку, откуда отправился поутру, предпочитая лучше отдаться в руки варваров, чем жить среди европейских *еху*. Я подвез свою пирогу к самому берегу, а сам спрятался за камнем у упомянутого мной ручейка с пресной водой.

Корабль подошел к этой бухточке на расстояние полулиги и отправил к берегу шлюпку с бочками за пресной водой (место было, по-видимому, хорошо ему известно); однако я заметил шлюпку, лишь когда она подходила к самому

берегу, и было слишком поздно искать другого убежища. При высадке на берег матросы заметили мою пирогу и, внимательно осмотрев ее, легко догадались, что хозяин ее находится где-нибудь недалеко. Четверо из них, хорошо вооруженные, стали обшаривать каждую щелочку, каждый кустик и наконец нашли меня, лежащего ничком за камнем. Некоторое время они с удивлением смотрели на мой странный неуклюжий наряд: кафтан из кроличьих шкурок, башмаки с деревянными подошвами и меховые чулки; наряд этот показал им, однако, что я не туземец, так как все туземцы ходили голые. Один из матросов приказал мне по-португальски встать и спросил меня, кто я. Я отлично его понял (так как знаю этот язык) и, поднявшись на ноги, сказал, что я несчастный *еху*, изгнанный из страны *гуигнгнмов*, и умоляю позволить мне удалиться. Матросы были удивлены, услышав ответ на своем родном языке, и по цвету моего лица признали во мне европейца; но они не могли понять, что я разумел под словами *еху* и *гуигнгнмы*, и в то же время смеялись над странными интонациями моей речи, напоминавшими конское ржание. Все время я дрожал от страха и ненависти и снова стал просить позволения удалиться, тихонько отступая

по направлению к моей пироге, но они удержали меня, пожелав узнать, из какой страны я родом, откуда я прибыл, и задавая множество других вопросов. Я ответил им, что я родом из Англии, откуда я уехал около пяти лет тому назад, когда их страна и моя были в мире между собой. Поэтому я надеюсь, что они не будут обращаться со мной враждебно, тем более что я не хочу им никакого зла; я просто бедный *еху*, ищущий какого-нибудь пустынного места, где бы провести остаток моей несчастной жизни.

Когда они заговорили, мне показалось, что я никогда не слышал и не видел ничего более противоестественного; это было для меня так же чудовищно, как если бы в Англии заговорили собака или корова или в стране *гуигнгнмов — еху*. Почтенные португальцы были не менее поражены моим странным костюмом и чудной манерой произношения, хотя они прекрасно меня понимали. Они говорили со мной очень любезно и заявили, что их капитан, наверное, перевезет меня даром в Лиссабон, откуда я могу вернуться к себе на родину; что двое матросов отправятся обратно на корабль уведомить капитана о том, что они видели, и получить его распоряжения; а тем временем, если я не дам им торжественного

обещания не убегать, они удержат меня силой. Я счел за лучшее согласиться с их предложением. Они очень любопытствовали узнать мои приключения, но я проявил большую сдержанность; тогда они решили, что несчастья повредили мой рассудок. Через два часа шлюпка, которая ушла нагруженная бочками с пресной водой, возвратилась с приказанием капитана доставить меня на борт. Я упал на колени и умолял оставить меня на свободе, но все было напрасно, и матросы, связав меня веревками, бросили в лодку; откуда я был перенесен на корабль и доставлен в каюту капитана.

Капитан назывался Педро де Мендес и был человек очень учтивый и благородный; он попросил меня дать какие-нибудь сведения о себе и пожелал узнать, что я хочу есть или пить, поручился, что со мной будут обращаться на корабле, как с ним самим, наговорил мне кучу любезностей, так что я был поражен, встретив такую обходительность у *еху*. Однако я оставался молчаливым и угрюмым и чуть не упал в обморок от одного только запаха этого капитана и его матросов. Наконец я попросил, чтобы мне принесли чего-нибудь поесть из запасов, находившихся в моей пироге. Но капитан приказал подать мне

цыпленка и отличного вина и распорядился, чтобы мне приготовили постель в очень чистой каюте. Я не захотел раздеваться и лег в постель, как был; через полчаса, когда по моим предположениям экипаж обедал, я украдкой выскользнул из своей каюты и, пробравшись к борту корабля, намеревался броситься в море и спастись вплавь, лишь бы только не оставаться среди *еху*. Но один из матросов помешал мне и доложил о моем покушении капитану, который велел заковать меня в моей каюте.

После обеда дон Педро пришел ко мне и пожелал узнать причины, побудившие меня решиться на такой отчаянный поступок. Он уверил меня, что его единственное желание оказать мне всяческие услуги, какие в его силах; он говорил так трогательно и убедительно, что мало-помалу я согласился обращаться с ним как с животным, наделенным малыми крупицами разума. В немногих словах я рассказал ему о своем путешествии, о бунте экипажа на моем корабле, о стране, куда меня высадили бунтовщики, и о моем трехлетием пребывании в ней. Капитан принял мой рассказ за бред или галлюцинацию, что меня крайне оскорбило, так как я совсем отучился от лжи, так свойственной *еху* во всех

странах, где они господствуют, и позабыл об их всегдашней склонности относиться недоверчиво к словам себе подобных. Я спросил его, разве у него на родине существует обычай говорить то, чего нет, уверив его при этом, что я почти забыл значение слова ложь и что, проживи я в *Гуигнгнмии* хотя бы тысячу лет, я никогда бы не услышал там лжи даже от самого последнего слуги; что мне совершенно безразлично, верит он мне или нет, однако в благодарность за его любезность я готов отнестись снисходительно к его природной порочности и отвечать на все возражения, какие ему угодно будет сделать мне, так что он сам легко обнаружит истину.

Капитан, человек умный, после множества попыток уличить меня в противоречии на какой-нибудь части моего рассказа, в заключение составил себе лучшее мнение о моей правдивости. Но он заявил, что раз я питаю такую глубокую привязанность к истине, то должен дать ему честное слово не покушаться больше на свою жизнь во время этого путешествия, иначе он будет держать меня под замком до самого Лиссабона. Я дал требуемое им обещание, но заявил при этом, что готов претерпеть самые тяжкие бедствия, лишь бы только не возвращаться в общество *еху*.

Во время нашего путешествия не произошло ничего замечательного. В благодарность капитану я иногда уступал его настоятельным просьбам и соглашался посидеть с ним, стараясь не обнаруживать неприязни к человеческому роду; все же она часто прорывалась у меня, но капитан делал вид, что ничего не замечает. Бóльшую же часть дня я проводил в своей каюте, чтобы не встречаться ни с кем из матросов. Капитан не раз уговаривал меня снять мое дикарское одеяние, предлагая лучший свой костюм, но я все отказывался, гнушаясь покрыть себя вещью, прикасавшейся к телу *ehy*. Я попросил его только дать мне две чистые рубашки, которые, будучи выстираны после того как он носил их, не могли, казалось мне, особенно сильно замарать меня. Я менял их каждый день и стирал собственноручно. Мы прибыли в Лиссабон 15 ноября 1715 года. Перед высадкой на берег капитан накинул мне на плечи свой плащ, чтобы вокруг меня не собралась уличная толпа. Он провел меня к своему дому и, по настойчивой моей просьбе, поместил в самом верхнем этаже в комнате, выходящей окнами во двор. Я заклинал его никому не говорить то, что я сообщил ему о *гуигнгнмах*, потому что малейший намек на мое пребывание у них не только

привлечет ко мне толпы любопытных, но, вероятно, подвергнет даже опасности заключения в тюрьму или сожжения на костре по приговору инквизиции. Капитан уговорил меня заказать себе новое платье, однако я ни за что не соглашался, чтобы портной снял с меня мерку; но так как дон Педро был почти одного со мной роста, то платья, сшитые для него, были мне как раз впору. Он снабдил меня также другими необходимыми для меня вещами, совершенно новыми, которые я, впрочем, перед употреблением проветривал целые сутки.

Капитан был не женат, и прислуга его состояла всего из трех человек, ни одному из которых он не позволял прислуживать за столом; вообще все его обращение было таким предупредительным, он проявлял столько подлинной человечности и понимания, что я постепенно примирился с его обществом. Под влиянием его увещаний я решил даже посмотреть в заднее окошко. Потом я начал переходить в другую комнату, откуда выглянул было на улицу, но сейчас же в испуге отшатнулся. Через неделю капитан уговорил меня сойти вниз посидеть у выходной двери. Страх мой постепенно уменьшался, но ненависть и презрение к людям как будто возрастали. Наконец я набрался

храбрости выйти с капитаном на улицу, но плотно затыкал при этом нос табаком или рутой.

Через десять дней по моем приезде дон Педро, которому я рассказал кое-что о своей семье и домашних делах, заявил мне, что долг моей чести и совести требует, чтобы я вернулся на родину и жил дома с женой и детьми. Он сказал, что в порту стоит готовый к отплытию английский корабль, и выразил готовность снабдить меня всем необходимым для дороги. Было бы скучно повторять его доводы и мои возражения. Он говорил, что совершенно невозможно найти такой пустынный остров, на каком я мечтал поселиться; в собственном же доме я хозяин и могу проводить время каким угодно затворником.

В конце концов я покорился, находя, что ничего лучшего мне не остается. Я покинул Лиссабон 24 ноября на английском коммерческом корабле, но кто был его хозяином, я так и не спросил. Дон Педро проводил меня на корабль и дал в долг двадцать фунтов. Он любезно со мной распрощался и, расставаясь, обнял меня, но при этой ласке я едва сдержал свое отвращение. В пути я не разговаривал ни с капитаном, ни с матросами и, сказавшись больным, заперся у себя в каюте. 5 декабря 1715 года мы бросили якорь в Даунсе

около девяти часов утра, и в три часа пополудни я благополучно прибыл к себе домой в Росергайс.

Жена и дети встретили меня с большим удивлением и радостью, так как они давно считали меня погибшим; но я должен откровенно сознаться, что вид их наполнил меня только ненавистью, отвращением и презрением, особенно когда я подумал о близкой связи, существовавшей между нами. Ибо хотя со времени моего злополучного изгнания из страны *гуигнгнмов* я принудил себя выносить вид *ehy* и иметь общение с доном Педро де Мендес, все же моя память и воображение были постоянно наполнены добродетелями и идеями возвышенных *гуигнгнмов*. И мысль, что благодаря соединению с одной из самок *ehy* я стал отцом еще нескольких этих животных, наполняла меня величайшим стыдом, смущением и отвращением.

Как только я вошел в дом, жена заключила меня в объятия и поцеловала меня; за эти годы я настолько отвык от прикосновения этого гнусного животного, что не выдержал и упал в обморок, продолжавшийся больше часу. Когда я пишу эти строки, прошло уже пять лет со времени моего возвращения в Англию. В течение первого года я не мог выносить вида моей жены и детей; даже

их запах был для меня нестерпим; тем более я не в силах был садиться с ними за стол в одной комнате. И до сих пор они не смеют прикасаться к моему хлебу или пить из моей чашки, до сих пор я не могу позволить им брать меня за руку. Первые же свободные деньги я истратил на покупку двух жеребцов, которых держу в прекрасной конюшне; после них моим наибольшим любимцем является конюх, так как запах, который он приносит из конюшни, действует на меня самым оживляющим образом. Лошади достаточно хорошо понимают меня; я разговариваю с ними, по крайней мере, четыре часа ежедневно. Они не знают, что такое узда или седло, очень ко мне привязаны и дружны между собою.

Глава XII

Правдивость автора. С каким намерением опубликовал он этот труд.

Он порицает путешественников, отклоняющихся от истины.

Автор доказывает отсутствие у него дурных целей при писании этой книги.

Ответ на одно возражение. Метод насаждения колоний. Похвала родине.

Бесспорное право короны на страны, описанные автором. Трудность завоевать их.

Автор окончательно расстается с читателем; он излагает планы своего образа жизни в будущем, дает добрые советы и заканчивает книгу

Итак, любезный читатель, я дал тебе правдивое описание моих путешествий, продолжавшихся шестнадцать лет и свыше семи месяцев, в котором я заботился не столько о прикрасах, сколько об истине. Может быть, подобно другим путеше-

ственникам, я мог бы удивить тебя странными и невероятными рассказами, но я предпочел излагать голые факты наипростейшими способом и слогом, ибо главным моим намерением было осведомлять тебя, а не забавлять.

Нам, путешественникам в далекие страны, редко посещаемые англичанами или другими европейцами, нетрудно сочинить описание диковинных животных, морских и сухопутных. Между тем главная цель путешественника — просвещать людей и делать их лучшими, совершенствовать их умы как дурными, так и хорошими примерами того, что они передают касательно чужих стран.

От всей души я желал бы издания закона, который обязывал бы каждого путешественника перед получением им разрешения на опубликование своих путешествий давать перед лордом верховным канцлером клятву, что все, что он собирается печатать, есть безусловная истина по его добросовестному мнению. Тогда публика не вводилась бы больше в обман, как это обыкновенно бывает оттого, что некоторые писатели, желая сделать свои сочинения более занимательными, угощают доверчивого читателя самой грубой ложью. В юности я с огромным

наслаждением прочел немало путешествий; но, объехав с тех пор почти весь земной шар и убедившись в несостоятельности многих басен на основании собственных наблюдений, я проникся большим отвращением к такого рода чтению и с негодованием смотрю на столь бесстыдное злоупотребление человеческим легковерием. И так как моим знакомым угодно было признать скромные мои усилия небесполезными для моей родины, то я поставил своим правилом, которому неуклонно следую, строжайше придерживаться истины: да у меня и не может возникнуть ни малейшего искушения отступить от этого правила, пока я храню в своей памяти наставления и пример моего благородного хозяина и других достопочтенных *гуигнгнмов*, скромным слушателем которых я так долго имел честь состоять.

Nec, si miserum Fortuna Sinonem Finixit, vanum etiam, menclacemque improba finget[2].

Я отлично знаю, что сочинения, не требующие ни таланта, ни знаний и никаких вообще дарований, кроме хорошей памяти или аккуратного дневника, не могут особенно прославить их автора. Мне известно также, что авторы пу-

---

[2] Примечания: 2

Если судьба сделала Синота несчастным, она никогда не сделает его лжецом и бесчестным (*лат.*).

тешествий, подобно составителям словарей, погружаются в забвение тяжестью и величиной тех, кто приходит им на смену и, следовательно, ложится поверх. И весьма вероятно, что путешественники, которые посетят впоследствии страны, описанные в этом моем сочинении, обнаружив мои ошибки (если только я их совершил) и прибавив много новых открытий, оттеснят меня на второй план и сами займут мое место, так что мир позабудет, что был когда-то такой писатель. Это доставило бы мне большое огорчение, если бы я писал ради славы; но так как моей единственной заботой является *общественное благо*, то у меня нет никаких оснований испытывать разочарование. В самом деле, кто способен читать описанные мной добродетели славных *гуигнгнмов*, не испытывая стыда за свои пороки, особенно если он рассматривает себя как разумное, господствующее животное своей страны? Я ничего не скажу о тех далеких народах, где первенствуют *еху*, среди которых наименее испорченными являются бробдингнежцы; соблюдать мудрые правила поведения и управления было бы для нас большим счастьем. Но я не буду больше распространяться на эту тему и предоставлю рассудительному читателю

самому делать заключения и выводы.

Немалое удовольствие доставляет мне уверенность, что это произведение не может встретить никаких упреков. В самом деле, какие возражения можно сделать писателю, который излагает одни только голые факты, имевшие место в таких отдаленных странах, не представляющих для нас ни малейшего интереса ни в торговом, ни в политическом отношении? Я всячески старался избегать промахов, в которых так часто справедливо упрекают авторов путешествий. Кроме того, я не смотрю на вещи с точки зрения какой-нибудь партии, но пишу беспристрастно, без предубеждений, без зложелательства к какому-нибудь лицу или к какой-нибудь группе лиц. Я пишу с благороднейшей целью просветить и наставить человечество, над которым, не нарушая скромности, я вправе притязать на некоторое превосходство благодаря преимуществам, приобретенным мной от долгого пребывания среди таких нравственно совершенных существ, как гуигнгнмы. Я не рассчитываю ни на какие выгоды и ни на какие похвалы. Я не допускаю ни одного слова, которое могло бы быть сочтено за насмешку или причинить малейшее оскорбление даже самым обидчивым людям. Таким образом, я на-

деюсь, что с полным правом могу объявить себя писателем совершенно безупречным, у которого никогда не найдут материала для упражнения своих талантов племена возражателей, обозревателей, наблюдателей, порицателей, ищеек и соглядатаев.

Признаюсь, что мне нашептывали, будто мой долг английского подданного обязывает меня сейчас же по возвращении на родину представить одному из министров докладную записку, так как все земли, открытые подданным, принадлежат его королю. Но я сомневаюсь, чтобы завоевание стран, о которых я говорю, далось нам так легко, как завоевание Фердинандом Кортесом беззащитных американцев. Лилипуты, по моему мнению, едва ли стоят того, чтобы для покорения их снаряжать армию и флот, и я не думаю, чтобы было благоразумно или безопасно произвести нападение на бробдингнежцев или чтобы английская армия хорошо себя чувствовала, когда над нею покажется Летучий Остров. Правда, *гуигнгнмы* как будто не так хорошо подготовлены к войне — искусство, которое совершению для них чуждо, особенно что касается обращения с огнестрельным оружием. Однако, будь я министром, я никогда не посоветовал бы нападать на них. Их

благоразумие, единодушие, бесстрашие и любовь к отечеству с избытком возместили бы все их невежество в военном искусстве. Представьте себе двадцать тысяч *гуигнгнмов*, врезавшихся в середину европейской армии, смешавших строй, опрокинувших обозы, превращающих в котлету лица солдат страшными ударами своих задних копыт. Ибо они вполне заслуживают характеристику, данную Августу: recalcitrat undique tutus[3]. Но вместо предложения планов завоевания этой великодушной нации я предпочел бы, чтобы они нашли возможность и согласились послать достаточное количество своих сограждан для цивилизации Европы путем научения нас первоосновам чести, справедливости, правдивости, воздержания, солидарности, мужества, целомудрия, дружбы, доброжелательства и верности. Имена этих добродетелей содержались еще в большинстве европейских языков, и их можно встретить как у современных, так и у древних писателей. Я могу это утверждать на основании скромных моих чтений.

Но существует еще и другая причина, удерживающая меня от содействия расширению владе-

---

[3] Примечания: 3
Всех лягает, а сам неуязвим (*лат.*).

ний его величества открытыми мной странами. Правду говоря, меня берет некоторое сомнение насчет справедливости, проявляемой государями в таких случаях. Например: буря несет шайку пиратов в неизвестном им направлении; наконец юнга открывает с верхушки мачты землю; пираты выходят на берег, чтобы заняться грабежом и разбойничеством; они находят безобидное население, оказывающее им хороший прием; дают стране новое название, именем короля завладевают ею, водружают гнилую доску или камень в качестве памятного знака, убивают две или три дюжины туземцев, насильно забирают на корабль несколько человек в качестве образца, возвращаются на родину и получают прощение. Так возникает новая колония, приобретенная по божественному праву. При первой возможности туда посылают корабли; туземцы либо изгоняются, либо истребляются, князей их подвергают пыткам, чтобы принудить их выдать свое золото; открыта полная свобода для совершения любых бесчеловечных поступков, для любого распутства, земля обагряется кровью своих сынов. И эта гнусная шайка мясников, занимающаяся столь благочестивыми делами, образует современную колонию, отправленную для обращения в хри-

стианство и насаждения цивилизации среди дикарей-идолопоклонников.

Но это описание, разумеется, не имеет никакого касательства к британской нации, которая может служить примером для всего мира благодаря своей мудрости, заботливости и справедливости в насаждении колоний; своим высоким духовным качествам, содействующим преуспеянию религии и просвещения; подбору набожных и способных священников для распространения христианства; осмотрительности в заселении своих провинций добропорядочными и воздержанными на язык жителями метрополии; строжайшему уважению к справедливости при замещении административных должностей во всех своих колониях чиновниками величайших дарований, совершенно чуждыми всякой порочности и продажности; и — в увенчание всего — благодаря назначению бдительных и добродетельных губернаторов, горячо пекущихся о благоденствии вверенного их управлению населения и блюдущих честь короля, своего государя.

Но так как население описанных мной стран, по-видимому, не имеет никакого желания быть завоеванным, обращенным в рабство, истребленным или изгнанным колонистами и так как

сами эти страны не изобилуют ни золотом, ни серебром, ни сахаром, ни табаком, то, по скромному моему мнению, они являются весьма мало подходящими объектами для нашего рвения, нашей доблести и наших интересов. Однако, если те, кого это ближе касается, считают нужным держаться другого мнения, то я готов засвидетельствовать под присягой, когда я буду призван к тому законом, что ни один европеец не посещал этих стран до меня, поскольку, по крайней мере, можно доверять показаниям туземцев; спор может возникнуть лишь по отношению к двум *еху*, которых, по преданию, видели много веков тому назад на одной горе в *Гуигнгнмии* и от которых, по тому же преданию, произошел весь род этих гнусных скотов: эти двое *еху* были, должно быть, англичане, как я очень склонен подозревать на основании черт лица их потомства, хотя и очень обезображенных. Но насколько факт этот может быть доказательным, — предоставляю судить знатокам колониальных законов.

Что же касается формального завладения открытыми странами именем моего государя, то такая мысль никогда не приходила мне в голову; да если бы и пришла, то, принимая во внимание мое тогдашнее положение, я, пожалуй, поступил

бы благоразумно и предусмотрительно, отложив осуществление этой формальности до более благоприятного случая.

Ответив, таким образом, на единственный упрек, который можно было бы сделать мне как путешественнику, я окончательно прощаюсь со всеми моими любезными читателями и удаляюсь в свой садик в Редрифе наслаждаться размышлениями, осуществлять на практике превосходные уроки добродетели, преподанные мне *гуигнгнмами*, просвещать *еху* моей семьи, насколько эти животные вообще поддаются воспитанию, почаще смотреть на свое отражение в зеркале и, таким образом, если возможно, постепенно приучить себя выносить вид человека; сокрушаться о дикости *гуигнгнмов* на моей родине, но всегда относиться к их личности с уважением ради моего благородного хозяина, его семьи, друзей и всего рода *гуигнгнмов*, на которых наши лошади имеют честь походить по своему строению, значительно уступая им по своим умственным способностям.

С прошлой недели я начал позволять моей жене садиться обедать вместе со мной на дальнем конце длинного стола и отвечать (как можно короче) на немногие задаваемые мной вопросы.

Все же запах *еху* по-прежнему очень противен мне, так что я всегда плотно затыкаю нос рутой, лавандой или листовым табаком. И хотя для человека пожилого трудно отучиться от старых привычек, однако я совсем не теряю надежды, что через некоторое время способен буду переносить общество *еху*-соседей и перестану страшиться их зубов и ногтей.

Мне было бы гораздо легче примириться со всем родом *еху*, если бы они довольствовались теми пороками и безрассудствами, которыми наделила их природа. Меня ничуть не раздражает вид судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможи, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя и им подобных: существование всех их в порядке вещей. Но когда я вижу кучу уродств и болезней как физических, так и духовных, да в придачу к ним еще гордость, — терпение мое немедленно истощается; я никогда не способен буду понять, как такое животное и такой порок могут сочетаться. У мудрых и добродетельных *гуигнгнмов*, в изобилии одаренных всеми совершенствами, какие только могут украшать разумное существо, нет даже слова для обозначения этого порока: да и вообще язык их не

содержит вовсе терминов, выражающих что-нибудь дурное, кроме тех, при помощи которых они описывают гнусные качества тамошних *еху*; среди них они, однако, не могли обнаружить гордости вследствие недостаточного знания человеческой природы, как она проявляется в других странах, где это животное занимает господствующее положение. Но я благодаря моему большому опыту ясно различал некоторые зачатки этого порока среди диких *еху*.

Однако *гуигнгнмы*, живущие под властью разума, так же мало гордятся своими хорошими качествами, как я горжусь тем, что у меня две руки; ни один человек, находясь в здравом уме, не станет кичиться этим, хотя и будет очень несчастен, если лишится одной из них. Я так долго останавливаюсь на этом предмете из желания сделать, по мере моих сил, общество английских *еху* более переносимым; поэтому я очень прошу лиц, в какой-нибудь степени запятнанных этим нелепым пороком, не отваживаться попадаться мне на глаза.